

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: О. Н. Вялкова

Корректурa: Л. Н. Подистова

12/2017

Содержание

ПРОЗА

Мария БУШУЕВА. Демон и Димон. Роман. Окончание.	3
Светлана МИХЕЕВА. Открытое море. Повесть.	60
Сергей ПРОКОПЬЕВ. Песня жизни бабушки Полин. Мини-повесть.	96
Ирина МИХАЙЛОВА. Подвиг. Рассказ.	116

ПОЭЗИЯ

Лариса МИЛЛЕР. «Пока способны дни меняться...» Стихи.	56
Елена ЕЛАГИНА. Радио для глухонемых. Цикл стихотворений.	93
Ирина РЫПКА. По ту сторону. Стихи.	112
Игорь КУНИЦЫН. Суп из яблок. Стихи.	121

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Александр ШАПОШНИКОВ. Записки старого театрала.	124
Татьяна КОНЬЯКОВА. Очарованные Сибирью. Фильм <i>«Вечный зов» в судьбе Анатолия Иванова и Владлена Бирюкова.</i>	139

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Михаил ГУНДАРИН. Игра в социальное. Опыт наблюдения <i>за художественной документальной прозой.</i>	152
Михаил ХЛЕБНИКОВ. Странные идеи доктора Югова.	158
Елена ПАПКОВА. О «Мемуарах ученой дамы» Л. П. Якимовой.	170

Из почты «Сибирских огней»

Сергей КУДРЯШЕВ. Почему?	174
---------------------------------------	-----

Картинная галерея «Сибирских огней»

Людмила БОГОМОЛОВА. Образы белой столицы в творчестве Николая Мамонтова.	176
---	-----

Содержание журнала за 2017 год	187
--------------------------------------	-----

Авторы номера	191
---------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор-руководитель ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Шукин.

Мария БУШУЕВА

ДЕМОН И ДИМОН

Р о м а н *

Часть третья. Муляж

*«Мне снилось, — говорит она, —
Зашла я в лес дремучий,
И было поздно; чуть луна
Светила из-за тучи...»*

А. С. Пушкин

Ноябрь стоял слякотный; все время капало, текло, холодные тонкие стрелы бились в стекла витрин и, разноцветно преломляясь, тут же сползали вниз, образуя на асфальте неровные подтеки, соединяющиеся в лужи, как блестящая ртуть; прохожие перешагивали через них и не расставались с зонтами: черные, красные, зеленые и синие круги — некоторые плавно, другие порывисто — двигались по городским улицам, создаваемый ими рисунок то и дело менялся, точно в детском kaleidoscope. У меня не было вдохновения, и я с трудом перетирала кисти, с трудом наносила на загрунтованный картон темперу, с трудом вымучивала из себя сюжеты новых картин... Меня беспокоило, что Аришка пребывает в сильнейшем унынии. По ЕГЭ баллов она не добрала, на бюджет на биофак даже педуниверситета не попала, и ее зачислили платно. А Димон сообщил по телефону, что предприятие наше сдыхает, в гостевом никаких гостей нет, а нужно еще платить Анатолию, иначе в деревне вообще все загнетса, и он не уверен, что со следующего года предприятие сможет оплачивать вуз.

— Это ведь ты со своими Люсями виноват, что Арина фактически не училась в десятом и одиннадцатом, — сказала я ему по телефону. — Ее нужно было поддерживать в такой трудный период, а ты травмировал ее своим распутством, ведь она все, что ты писал, читала в «Живом журнале»!

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2017, № 10, 11.

— Вы мне надоели! Чтоб вы все поумирали! — в ответ заорал он. — Иди в жопу! — И отключился.

Никогда ранее Димон не позволял себе даже в ссорах со мной грубых слов.

В ту же ночь он мне приснился. Выглядел Димон совершенно как в жизни. И если бы в своем сне я не знала, что он мне снится, — это было осознаваемое сновидение, — я бы решила, что все, что он мне сообщил, произнесено им в реальности. А произнес он только одну фразу: он знает, что переступил черту и скоро погибнет. И во сне я точно знала, какую черту Димон переступил: он предал меня и дочь. А еще через несколько дней мне приснилось, что Димон пытается запихнуть меня в печь — это снова был повторившийся ремейк триллера начала девяностых, — но я с огромным трудом вырываюсь из его рук, отпихиваю его, тут же оказываюсь у дверей какого-то округлого мрачного помещения и вижу, как молодая бойкая девушка с длинными светло-каштановыми волосами, собранными в хвост, с довольной ухмылкой запихивает в ту же самую печь Димона...

И еще был сон о новой квартире: будто в ней танцует Люся, а Димон смотрит на ее танец с восхищением, хотя даже во сне я знаю, что движения Люси почти неуклюжи и нет у нее танцевального дара, но Люся после танцев обнимает Димона, и он обещает отдать ей квартиру «под проект» — голос Димона был отчетлив, а лицо Люси размыто.

В декабре подморозило. Зонты закрылись. Аришка слегла. То есть ничем она вроде и не болела: терапевт, приглашенный из городской поликлиники, не нашел у нее никаких отклонений от нормы. Но в педагогический университет ходить перестала. Лежала, и все — вставала только в туалет и поесть, причем ела крайне мало, худея день ото дня.

Она любила Димона. Очень любила. И он, «хозяин жизни», был для нее авторитетом, а не я, не умеющая в этой капиталистической жизни пробиваться...

* * *

Сны я рассказала Юльке. У нее развивался уже бурный роман с Юрием — и я мысленно шутила, что, возможно, главным притягательным моментом для обоих служило созвучие их имен.

— Волосы каштановые у нее? Значит, точно, та с моря, которую он называл «шоколадкой».

— Она просто была очень загорелой. Мне кажется — другая.

— А Люся во сне при чем? Она же танцует в квартире?

— Наверное, она приснилась символически: Люсю хотели выдать замуж за Димона ради его денег и собственности, и эта, видимо, которая дубль два, прихватила его с теми же целями — и новая наша квартира для нее лакомый кусок.

— А почему ты думаешь, что не «шоколадка»?

— Девушка с высшим образованием, самостоятельная и неплохо зарабатывающая — помнишь, он же сам все о ней сообщил? — не для Димона. Такая годится только на короткий южный роман. Над ней нелегко ощутить превосходство.

— У него дебильный культ молодости!

— Сейчас он у всех — открой Интернет. Люди платят огромные деньги за подтяжки лица, омолаживающие кремы и прочее. Но у Димона еще и личное: именно в институте на филфаке он чувствовал полноту жизни — вокруг было столько девушек, а их, парней-студентов, всего двое или трое. И он был предметом воздыхания многих. И не одну первокурсницу-филологичку лишил девственности, он сам с гордостью об этом писал. Видимо, это был для него самый кайф. Ну, а во-вторых, такая модель сейчас в тренде: кошелек потолстел — покупай молодую любовницу. И Димон тоже готов за молодость платить. Я не о людях искусства, там все иначе: и юная может полюбить за талант. Ведь талантливый человек — это гиперколлайдер. От него черпают. От него исходит энергия. Я о самых обычных тугих кошельках.

— Да, — согласилась Юлька, — даже с талантливыми женщинами так бывает: немецкого режиссера Лину, забыла фамилию, полюбил оператор на сорок лет ее моложе и столько же прожил с ней.

— Именно.

— То есть ты не относишь Димона к одаренным людям?

— Я всегда считала его одаренным. Что-то было в нем самобытное, оригинальное. Есть ранний рассказ у него, который я считаю отличным. Но недавно я поняла: *тот* Димон исчез в девяностые. Писатель перестал быть для толпы уважаемым человеком, к тому же многие литераторы дошли до крайней степени нищеты, а Димон мог выбрать для себя только род деятельности, дающий ощущение социальной крутизны. Теперь это бизнес, а если литература, то исключительно коммерческая. И то с натяжкой. Как развлечение умов. А не управление ими. Серьезных писателей почти никто не знает. Вот Димон и превратился в писательницу пошлых женских эротических романов...

— Все так вульгарно у него... И эта Люся дубль два, я уверена, столь же примитивна, как Люся дубль один, считавшая, что матерная лексика украшает девушку, одетую во все блестящее и розовое...

— Но все-таки Люся была не так испорчена. В ней корысть победило живое, природное, женское.

— А эта?

— Ну, если судить по моим снам...

— Ты же всегда видишь вещи! — Юлька снова закурила. — Считаешь через сны информацию о будущем.

— Знаешь, — сказала я, разлив кофе по чашкам, — хватит о Димоне. Он меня утомил.



— И меня, — быстро согласилась она, поправляя рыжую челку (Юлька только позавчера сменила цвет волос, что Юрий одобрил), — твой Димон и мне надоел. Давай лучше поговорим обо мне!

— Давай. — Я улыбнулась.

— Закажи себе сон про меня и Юрия. Что нас с ним ждет?

— Поженитесь, — вдруг произнесла я — и удивилась: я ни разу не думала о такой возможности.

— Это ты говоришь? — шепотом спросила Юлька, которая по моей просьбе прочитала письмо деда Арсения и прониклась верой в магию нашего рода. — Или твоя покойная бабушка через тебя мне предсказывает?

— Понятия не имею.

Я засмеялась. Таким забавным мне показалось лицо Юльки, смотрящей на меня, как живущий в мифологическом мире язычник смотрит на всеильного шамана.

— Какая разница? Главное, что вам вместе будет хорошо.

— Точно — твоя бабушка. — Юлькины зрачки покрылись мечтательной дымкой. — Она ведь умела!

* * *

В деревню мы с Юлькой решили поехать не одни; Юрий согласился нас довезти на своей машине, но с одним условием: мы должны выехать ночью, ему рано утром по делам нужно было быть в Рязани. Что делать? Согласились. А переночуете вы где, все-таки поинтересовался он, мужа, понял я, там нет, вы с ключами?

— Нет, все ключи у Димона.

— А кто вам откроет?

— Там работник. И мы переночуем в гостевом доме.

— Большой?

— Нет. Десять комнат всего лишь, но все с удобствами. И внизу даже бар небольшой и магазинчик.

— Так что и позавтракать сумеете, — сказал Юрий.

Мы уже выехали на МКАД.

— Завтрак у нас с собой: четыре магазинных пирожка.

И мы все трое почему-то рассмеялись.

— Какой русский не любит быстрой езды? — чуть позже произнес Юрий, подмигнув мне в зеркало: я села на заднее сиденье, Юлька — впереди рядом с ним.

— Люблю, — сказала я.

— А я просто обожаю, — сказала Юлька. — Чем выше скорость, тем мне радостнее: душа словно вырывается за пределы тела и ликует на просторе. Такое чувство я испытывала только в самой ранней юности, когда начала танцевать на сцене!

— Ну тогда погнажи. Сейчас половина второго, к трем будем там, а я поеду дальше.

Шоссе было совсем черным, веселая переключка огоньков, которую я так люблю, уже закончилась: люди спали, погасив в своих домах свет. После холодов наступили теплые дни, и даже ночью не подмораживало, потому машина неслась сто двадцать без всякого риска заскользить и закружиться на льду. Однажды так случилось со мной: машину закрутило волчком, и мы — я, моя приятельница и ее муж — не были уверены, что все кончится благополучно. Предшествовал этой витально опасной карусели наш спор. Яростно спорил со мной муж приятельницы, журналист. Мы говорили о Пикассо. Он отрицал его, называл бездарным. Я — гением. Он кричал, что тот уродовал людей. Я доказывала, что в Пикассо просто не видят сатирика, Рабле от живописи. Он называл единственной стоящей картиной Пикассо портрет его жены Ольги Хохловой — я, наоборот, утверждала, что это единственная по-настоящему бездарная работа гения, написанная в угоду обывательскому вкусу модели... Когда водителю, усталому, грузному и пожилому, все-таки удалось остановить машину, муж приятельницы произнес мрачно:

— С тобой, значит, спорить мне нельзя. Опасно. Впрочем, — он хлопал себя зачем-то по колену, — пока не напишу роман о своей жизни, я не умру. Я должен в него вложить все: предков, убеждения, каждый шаг своей жизни — одним словом, все, что есть я! Вот поставлю последнюю точку...

— Он мечтает написать великий роман, — подала реплику его хорошенькая жена, оглянувшись.

Она села намеренно на переднее сиденье, чтобы мы с ее мужем оказались рядом. Намеренность ее выбора я почувствовала сразу: то ли чувства ее к нему уже к тому времени угасали и она использовала как самостимулятор — ревность, то ли они настолько угасли, что ей хотелось от мужа избавиться самым благородным для себя способом — чтобы его увела другая, и она рассчитывала, что, оказавшись рядом с ее мужем, я увлекусь им. Вскоре они развелись, она стала делать успешную карьеру, купила дом в одном из самых престижных подмосковных поселков, приобрела благодаря следующему мужу квартиру в центре, а бывший ее муж, продав городскую родительскую квартиру, уехал жить в деревню и там, нищенствуя, стал писать тот роман, о котором говорил на обледеневшем шоссе пятнадцать лет назад. Умер он рано утром на пороге своего деревенского дома — выпив крепко водки по поводу последней точки романа. После его смерти началась борьба жен и дочерей за права на текст. Но это уже, как говорится, другая история...

— Однажды я ехала на такси поздно вечером, — прервала мои размышления Юлька, — страху натерпелась — жуть. Засиделась у подруги на даче, а ночевать почему-то решила не оставаться, немного поддала вишишка, вот и рванула: мы вышли на шоссе и поймали машину, с шашечка-



ми такси, все путем, подруга мне помахала рукой, и мы поехали; смотрю, а таксист нерусский, с Кавказа, а это было как раз, когда в метро взрывали и каждый кавказец вызывал рефлекторный страх, он и говорил-то по-русски с трудом. И вот так, с трудом, вдруг предлагает: поехали ко мне домой, тут недалеко, я снимаю дом, а живу один — то есть так связно он, конечно, мысли свои не излагал, а все еле-еле выражал, но я поняла. И как вдруг остановит машину!

— Юля, — сказал Юрий, глянув на нее, — не думал я, что ты такая безбашенная!

— Это один раз со мной случилось, — тоненьким голоском провинившейся девочки сказала Юля, — один-единственный.

— То есть больше с представителями дружественного Кавказа у тебя секса не было?

— И тогда не было. — Голосок Юльки стал обиженным (а я тихо засмеялась). — Когда он остановил машину, я жутко перепугалась, аж ноги онемели, думаю, ну все, и никто не узнает, Сулико, где могилка твоя. И вот он положил руки на руль и смотрит на меня так страшно, ой, даже вспоминаю — мурашки по коже бегут. И тут вдруг моя подруга, от которой я уехала, мне звонит по мобильному — это было начало двухтысячных, но у нас уже были телефоны, к счастью! И я ей говорю, а все нормально, зачем ты позвонила в милицию? (Тогда ведь еще у нас не полиция была, помните?) Подруга сразу смекнула, что со мной что-то не так, и громко как закричит в мобильник: «Да, я позвонила в милицию, потому что ты должна была уже быть дома, а ты еще в дороге!» В общем, на слово «милиция» он отреагировал — и я с вами!

— Спасибо твоей подруге. — По голосу Юрия я догадалась, что он улыбается. — Познакомь!

— Она несколько лет назад уехала в Испанию.

— Какая жалость! — Юрий захохотал.

* * *

Фары пробивали нам дорогу в темноте, раздвигая мрак, который вскоре снова стягивался за спиной машины, и мне тоже вспомнилась одна ночная поездка, совсем не похожая, казалось бы, на ту, о которой только что рассказала Юля, но полная столь же сильного страха. Мы приехали с мамой в Киргизию; после развода с моим отцом она так и не вернулась к спокойной радостной жизни — стала пуглива, нервна, депрессивна. Сочувствуя, ей дали от Института культуры, где она преподавала на первом и втором курсах, путевку в дом отдыха на берегу озера Иссык-Куль: путевка захватывала одиннадцать дней августа и неделю сентября. Маме декан разрешил опоздать. Мне было семь, и я должна была пойти уже во второй класс. Тоже опоздав на неделю.

Поезд приехал ночью, плутать по городу в поисках гостиницы маме показалось опаснее, чем взять такси и сразу поехать в дом отдыха. Ин-

тернета и навигаторов еще не было — и представить маршрут полностью от вокзала до пункта назначения мама не могла. Нас повез крупноглазый киргиз, я помню этот путь и сейчас: дорога становилась все круче, мы забирались все выше, а вокруг был такой мрак, которого я, родившаяся и жившая в городе, полном разноцветных огней, зазывающих ярких витрин, моргающих уличных фонарей, желто-оранжевых сот многоэтажек, не видела никогда.

И мама вдруг впала в панику.

— Куда вы нас везете?! — спрашивала она тревожно. — Почему так долго?! Я чувствую, вы везете не по той дороге! Вы нас куда-нибудь завезете!

— Мама, — громко говорила я ей (мы сидели на заднем сиденье рядом), — дядя хороший, он нас никуда не завезет, мы едем в дом отдыха.

Я почему-то чувствовала, что говорить нужно громко, чтобы водитель слышал слова ребенка. Возможно, у него у самого была дочка, моя ровесница, и он потому не смог бы обидеть меня, а значит, и маму, которая насчет маршрута, как я сейчас понимаю, была права: водитель изменил его с личной целью. Внезапно в темноте показалась горная деревня, машина подъехала к одному из домов, в котором не светились ни одного окна, но горел крохотный фонарь у ворот, и остановилась.

— Куда вы нас привезли?! — запаниковала еще сильнее мама.

— Дом здесь, — сказал киргиз, до этого не проронивший ни слова.

Минут через пятнадцать (видимо, перекусив) он вышел и вынес мне целую кошелку прекрасных красных яблок.

— Спасибо, — поблагодарила я.

Мы поехали дальше. И через полтора часа были уже у ворот дома отдыха. Когда мама расплачивалась с водителем, я сказала, и снова громко, чтобы он слышал: «Я же тебе говорила, мама, дядя хороший!»

С тех пор, если мне снятся красные крупные яблоки, значит, опасность мнимая и все обойдется.

* * *

Озеро потрясло меня. Оно ведь огромное, как море. Днем стояла жара, мы загорали и купались, а вечером становилось так холодно, что мама вынуждена была купить мне в каком-то недалеким местном магазинчике демисезонное пальто: из теплых вещей с собой у меня была только легкая куртка с капюшоном. Такой контраст погоды в конце августа — начале сентября на высокогорье у Иссык-Куля никого не удивляет, кроме приезжих: днем жарко, ночью холодно!

Мама нашла тут же ровесницу с дочкой, которая была старше меня на два года, и бесконечно пересказывала ей историю испорченных отношений с мужем и последовавшего за этим развода. Та в свою очередь, видимо, делилась чем-то своим. Мне не нравилось, что обе они снимали бюстгалтеры и загорали топлес, слегка прикрываясь махровыми халата-

ми, когда мимо кто-нибудь проходил. Видимо, пуританство у меня в крови — но точно не по маминой линии!

Загорая и болтая, обе мамы абсолютно не обращали на своих дочерей — меня и Катю (так звали девочку) никакого внимания. В результате я обгорела до высокой температуры и сползающих слоев кожи, а главное, нас чуть не унесло с Катей в резиновой лодке. Когда мамы нас хватились, мы уже видели берег совсем не с близкого расстояния и обе сильно испугались. Нас быстро догнала моторная лодка спасателя и вернула на берег.

Но больше самого озера меня потрясло, что за ним вдалеке из-за линии горизонта синей неровной полосой вставали горы.

И мама сказала:

— Это Тянь-Шань.

Тянь-Шань, повторила я. И что-то древнее, из какой-то давней неведомой жизни наплыло на мое сознание, как наплыли облака на дальние вершины гор, мне почудилось, что я знаю Тянь-Шань, что когда-то я очень сильно любила эти горы, и странное видение мелькнуло передо мной, как мелькает в пустыне фата-моргана: в крохотных тувельках, в платье с зеленым драконом, извивающимся вдоль талии на шелковом поясе, стою у окна и смотрю на Тянь-Шань, и горы не так далеки, как сейчас, а возвышаются совсем-совсем близко.

Мамина подруга и Катя уехали раньше, и моей маме стало скучно. Она каждый вечер ходила в кино, иногда оставляя меня в нашем номере (когда фильм был, как сейчас пишут, «16+»), а иногда брала с собой. И третьим сильным потрясением после Иссык-Куля и Тянь-Шаня стал фильм «Иоланта», в котором не говорили, а пели. Когда мы вышли из кинотеатра дома отдыха и брели по центральной аллее, мне казалось, что поет каждый самый прозаический предмет, попадающийся нам по пути: скамейка, оставленная кем-то на ней газета, еще полная цветов клумба, и, конечно, каждый цветок, и даже столб с доской, на которой приклеены объявления. И сама я на вопрос мамы, хочу ли я спать или можно еще немного побродить, ответила пением: ко-о-онечно-о-о, мо-о-ожно-о-о еще-о-о погу-у-у-улять. Мама улыбнулась. Мой дед, бабушка рассказывала, часто играл с ней дома в оперу: он ведь учился в Московской консерватории. У тебя приятный голосок, спой какую-нибудь песенку.

Но я тут же замолчала испуганно, потому что вспомнила: я ведь Курганова, а всем Кургановым медведь на ухо наступил.

На следующий день, сразу после завтрака, мы поехали на машине с одним из отдыхающих и его женой в горное село покупать яблоки: бабушка наказывала, когда мы уезжали, чтобы мама привезла яблок с собой — и чтобы не меньше большой сумки! По пути нам встретился старый киргиз на сером ослике, он походил на Ходжу Насреддина, нарисованного на обложке одной из книг, которую я еще не читала, но уже успела пролистать; а в самом селе, утопающем в яблонево-садах, прямо на дороге, в пыли, какие-то оборванные чумазы дети во что-то играли

друг с другом; такая же оборванная старуха киргизка провела нас в сад, и мы набрали яблок прямо с деревьев. Ветви клонило к земле от тяжести красных и желтых плодов, а вдалеке за селом тонули в белых яблоневых цветах облаков синие вершины гор.

— У них даже баи сохранились высоко в горах, — сказал на обратном пути сосед по дому отдыха.

И я запомнила его слова. Баи? Кто это? Ну, богачи, ответила мама, когда вечером мы с ней ели яблоки, сочные и сладкие.

— Богачи? Как в сказках?

— Да.

— А почему они здесь сохранились?

— А разве эти места: горы, Иссык-Куль, такой свежий, пьянящий воздух — не похожи на сказку? Они и есть сказка!

Мамин ответ меня удовлетворил вполне.

* * *

Через два дня мы уезжали — сначала автобусом, потом поездом. На этот раз мы ехали днем и я видела горную дорогу, которая в конце концов меня усыпила. В автобусе с нами оказалась рядом молодая семейная пара: Таня и Коля. Черноволосые и черноглазые, они так хорошо и весело разговаривали со мной, что я уснула положив голову на колени не к маме, а к Тане и так проспала несколько часов. В ковыляющем по горной дороге стареньком автобусе судьба чуть приоткрыла ближайшее мое будущее: когда мама погибла, бабушка отправила меня к своей родной сестре, дочь которой, черноглазую Таню, студентку факультета журналистики, придумщицу сказок и талантливую рассказчицу, я очень полюбила. Через месяц моего пребывания у них в доме она вышла замуж — и мужа ее звали тоже Колей, и он был черноволос и кудряв. Это была любящая и счастливая семейная пара, любви которой хватало и на меня.

В поезде я ела яблоки и смотрела в окно.

И четвертым потрясением оказался увиденный мной караван верблюдов: он тянулся недалеко от железнодорожного полотна параллельно нашим вагонам.

— Мама! Смотри! Верблюды!

До этого я, конечно, видела верблюда, даже двух, в зоопарке, но там они почему-то не вызвали у меня никакой радости: две полублезлые особи скорбно смотрели на посетителей, бабушку, меня и двух мальчишек, которые не подходили близко к решетке клетки и, несмотря на запрет, кидали верблюдам огрызки булочек.

— Еще плюнет, — сказал один.

— А то! — ответил ему другой.

Но сейчас из окна поезда увиденный караван вдруг вызвал у меня сильнейший необъяснимый восторг, и снова возникло странное, вневре-

менное и внепространственное смещение в моем сознании — заколыхался передо мной прозрачным видением какой-то древний город, затерянный в песках, я смогла разглядеть мозаику на одной из желтых стен и даже услышать чье-то заунывное, но почему-то близкое моей душе пение: пел мужчина. Видение тут же проросло в сон, и во сне я видела бескрайнюю пустыню и мертвый город, затерянный в ее песках, город, в котором когда-то жила...

Димон все мои подобные рассказы выслушивал внимательно, то есть с некоторым писательским интересом, но — молча. Только однажды все-таки прокомментировал:

— Завидую твоей фантазии. Мой батя тоже фантаст.

— Я воспринимаю все это иначе.

— Как реинкарнации, конечно? Тебе вот, такой продвинутой, они открылись, а нам, простым смертным, нет! Я в эти сказки не верю. Все у нас от материального — от пейзажа и от того, что едим. Какие продукты употребляешь, таким и становишься и, соответственно, то и представляешь. Пейзаж, вообще, и есть единственная эманация Бога на земле. И я это ощущаю кожей. Когда путешествовал один по тундре — понял это. Лежишь ночью и смотришь в небо. Ты и Бог. Больше никого. И про еду я все чувствую. Вот завел скотину в деревне, ты, разумеется, против моей скотофермы, ты же, блин, вегетарианка. А для чего завел? Чтобы есть натуральное мясо тех животных, которых сам же и кормил, и знал, чем кормил, и, главное, которых любил. Только то полезно употреблять в пищу, что ты любишь. — Димон вдруг хмыкнул: — Что есть первая и самая основная заповедь вампира! — Он снова сделал серьезное лицо. — И овощи я ем только выращенные в своей усадьбе. А ты жрешь химию из магазина, лень приехать ко мне и овощей с грядок набрать для себя и Аришки, и от этой химии в голове у тебя рождаются всяческие фантазии.

— Так ты и привозил бы нам овощей. Я ведь без машины. Ты сам забрал «короллу» у меня и отдал своей бухгалтерше.

— Зато не разобьешься! А про овощи забываю все. Едешь обычно к вам, торопишься, ну и забудешь. — Лицо его выразило некоторое смущение, которое он быстро отогнал, как муху, и несколько сместил ракурс темы: — Вот мой батя — тот еще дальше пошел: мать уедет на дачу, а он летом, в жару, захлобучит все форточки, заварит себе крепкого чая — и пьет. И говорил, что именно так у него лучше работает воображение. То есть в организме под влиянием духоты и чая меняются химические процессы и какие-то из них способствуют усилению фантазии. И все ваши реинкарнации оттуда. Всё одна химия.

— А ты, Димон, был селькупом в одном воплощении, — сказала я, засмеявшись, — а мой прапрапрадедушка — священником, который тебя окрестил. И еще ты был инженером на заводе — и сдал моего прапрадеда, который этим заводом управлял, написал на него донос.

— Хорошего ты обо мне мнения. — Он прищурился. — Впрочем, тебя бы я, точно, в тридцать седьмом году сдал. А как иначе от тебя можно было бы избавиться?! — Димон делано захохотал. — А уж если кем я и был в прошлом воплощении, так собакой! И стану снова псом, когда содохну. А в гроб вы меня с Аришкой с вашими тонкими натурами скоро загоните.

— Не мы, — сказала я, и голос мой вдруг показался мне чужим, — она загонит.

— Кто?! Какая «она»?! У меня никого, кроме вас, нет! — И Димон, как всегда, начал врать, доказывая и бия себя в грудь, что он мне ни разу не изменил. — Я люблю тебя всю жизнь! Ты для меня плацента, в которой я плаваю... ты... ты... только ты... — И так вдохновился, что на глазах у него появились слезы умиления: его умилила собственная стойкая верность вечной любви.

Таки вот так, господа присяжные заседатели.

* * *

Двоюродная сестра моей мамы, настоящая красавица и натуральная блондинка, всю жизнь проработавшая на кафедре физики у знаменитого автора школьных учебников Перышкина, была одинокой: муж, преподаватель медицинского института, за которого она вышла замуж студенткой и который так же проникновенно, искренне и пламенно, со слезой в голосе клялся ей в любви и вечной верности, в один прекрасный день просто исчез. Уехал в командировку и не вернулся. Как говорится, вышел за сигаретами и скрылся за линией горизонта. Она звонила по телефону гостиницы, в которой он как бы остановился, но ей отвечали, что такой в ней не проживает, да, числился, но отбыл, куда, а мы и не обязаны этого знать. Тетка моя рыдала, бледнела, серела, теряла одну приятную округлость за другой, всем твердила, что ее милый Иличка, скорее всего, погиб и его бедное брэнное тело где-то затеряно в кустах, в тине, в камышах... И через месяца три вдруг получила письмо, правда, без обратного адреса, но по печати определялось, что письмо прислали из славного города Одессы, и в конверте с картинкой, изображающей летчика Чкалова, находилась фотография ее любимого верного Илички в гробу. «Ваш супруг, по несчастью, скончался, — сообщалось в приложенной записке. — Он любил вас больше жизни. Мир его праху». Тетка моя попала в больницу. Каждая клетка моего организма, жаловалась она навещающим, точно отрывается одна от другой — мука, мука, как все болит! Ночами она тихо выла от боли, а днем лежала словно мертвая, с закрытыми глазами, только из-под почерневших век медленно, безостановочно текли слезы. Как говорят в народе, все болезни от нервов и только некоторые от удовольствий. И ту, что от удовольствий, у тетки моей тоже обнаружили: ее верный Иля, которому она ни разу не из-



менила, оставил ей неприятный подарок. Слава богу, не самый неприятный, а так, легкий насморк. Но шок от обнаруженного мою тетушку внезапно излечил: все клетки ее снова сдружились и хором перестали болеть. А через два с половиной десятилетия приехавший из США знакомый сообщил ей, что видел ее Иличку! Живет он в Нью-Йорке с другой женой, взяв ее фамилию, неплохо зарабатывает публикуемыми рассказами про ужасы советской медицины и, в общем, вполне доволен. Такой вот упитанный американский гражданин предпенсионного возраста, о котором никто никогда не подумает, что он двадцать пять лет назад скончался...

Сколько в жизни трагического и смешного одновременно, думала я, рассказывая Юльке и Юрию эту поучительную историю по дороге в деревенский дом. Вот Димон тоже уехал в командировку, то есть по делам предприятия, в город Н. и увез туда новую любовницу. Не пришлют ли и мне скоро такую же фотографию, как прислали из любимого моим отцом города Одессы бедной тетушке?

— Подъезжаем! Сейчас через шлагбаум, потом направо — и среди домов будет высокая крыша с большой трубой. Ее будет видно на фоне неба. Видите ли, Димон хотел поставить на крыше будку для телескопа, чтобы наблюдать звезды, но не рассчитал — будка получилась такой, что протиснуться в нее можно только сложившись вдвое, согласитесь, в такой позе не очень удобно наблюдать за небесными чудесами. И теперь будку все называют трубой.

— С причудами он у вас, — усмехнулся Юрий.

— Он у себя с причудами, — ответила я. — А второй дом рядом, из толстых бревен, гостевой.

— О да, там вывеска какая большая и светится в темноте! — удивленно воскликнула Юлька. — Хостпис! Ой, то есть хостел!

— Ты хоть знаешь значение первого слова? — Юрий уже остановил свою «ауди» и, приоткрыв дверцу, внимательно смотрел на переливающиеся английские буквы.

— Знаю.

— Ну, вызывайте этого... как его... который работник... Мне ехать надо, но я должен сначала убедиться, что вам откроют. Вы когда обратно?

— Рано утром, — сказала я. — Попьем чаю — и домой.

Мы с Юлькой вышли из машины.

— Тогда автобусом в Москву или электричкой. Я в Рязань на два дня.

— Теперь куда? Поспать бы хоть часа два.

Юлька потянулась и зевнула. И сразу стала походить на грациозную кошечку. Человеческое в человеке все еще очень слабо, подумалось мне.

— У него комната здесь же, в гостевом, на первом этаже, его окна за окном магазина.

— То есть в этом самом хостеле?

— Это все Димон, — поморщилась я, — уговаривала его назвать гостевой дом «Спящий сом» или что-то в этом роде, ведь для семейного отдыха все задумывалось. А он вечно ругает Запад, но...

Мы обошли дом и в окно на первом этаже я несколько раз громко постучала. Юрий подъехал на своей машине ближе, чтобы Анатолий, который уже включил свет (видно было через стекло, как натягивает он белую простую майку на жилистое загорелое тело), его увидел. И, выйдя из дверей, Анатолий сразу посмотрел именно на него и на машину.

— Постояльцы? — спросил он. — Откуда? С Москвы?

— Нет, супруга вашего хозяина, — ответила за меня Юлька. — Мы проездом. Вот решили зарулить.

Из дверей вышла жена Анатолия — крупная женщина с грубыми, резкими чертами лица. Падающий свет искажал их — и лицо казалось кривоватым камнем, которому первобытный человек попытался придать человеческие черты.

— Надо, значит, чай поставить, Толя, да?

— Ставь. — Он вынул из пачки сигарету и закурил. — Раз такое дело, нужно познакомиться. Давно пора.

— Я поехал! — крикнул Юрий. — Позвоню потом.

— А чего не останетесь? — Анатолий глядел исподлобья, и в его маленьких серых глазах остро поблескивали искры подозрительности.

— Дела.

* * *

Надо сказать, место, в котором расположилась усадьба (воспользуюсь словом Димона) — два дома, баня, хозяйственные постройки, старый сад, — очень красивое. Ока течет на открытом просторе, над ней высокое долгое небо, и здесь, возле нескольких стоящих на берегу ее деревень, она широка, изгиб ее плавен и живописен, берег не такой крутой, а местами пологий и песчаный, хорошо подходящий для купания. Летней ночью в прибрежных камышах поют лягушки, клин журавлей проскользнет по осеннему прозрачному небу, созреют яблоки и заалеют в саду среди черных стволов и первой опавшей желтой листвы, а в январе порой засыплет берег таким щедрым пушистым снегом, что пейзаж и вправду покажется одним из отражений самого Создателя... И все это я чувствовала и, конечно, наслаждалась в первые дни пребывания в деревне красотой и тишиной. Но, признаюсь, все равно не могла никогда подолгу жить за пределами мегаполиса. И причина не только в Фаулзе. Но и не в благах цивилизации: в доме со всеми удобствами, с горячей водой, подогревом пола в ванной — что не жить? Если есть Интернет и вай-фай — в общем, наличествует все, что в городе? В загородном доме нашей с Юлькой общей приятельницы, укатившей в Испанию и оставившей Юльке ключи, есть даже бассейн, сауна, компьютеры, но я и там не вы-

держиваю долго. Через неделю-полторы бегу, повторяя слова из старой песни Высоцкого: «В суету городов и в потоки машин возвращаемся мы, просто некуда деться», вкладывая в них несколько иной смысл. Да, некуда мне деться от моей урбанистической природы: я обожаю смотреть с моста на потоки машин на МКАД, особенно вечером, когда тысячи зажженных фар движутся точно космическая река, мне нравятся современные летящие автострады и узкие небоскребы, я люблю запах метро и даже — вы будете смеяться! — солярки на дороге. Лет в тринадцать я влюбилась в архитектора Нимейера. Я вообще тогда постоянно творила себе кумиров. То восхищалась Абу Али ибн Синой, то Майклом Фарадеем, то советским физиком Николаем Николаевичем Семеновым... Параллельно лет с четырнадцати начался период художников: я плакала, жалея Саврасова (и потому до сих пор вполне терпимо отношусь к алкоголикам), влюблялась то в Крамского, то в Левитана, то в Моне, то в Поленова, а потом в Мунка, Гуттузо, Дали, Пикассо. Но более всего до сих пор люблю Тёрнера. И подолгу жить в деревне я могу, только если я там работаю — пишу пейзажи или портреты. Димон купил мне специально для деревни еще один мольберт и сразу поставил его в давно уже оборудованный подвал, в котором нет ни одного окна, но вдоль серой цементной стены тянутся полки разной ширины и высоты. К противоположной стене приставлен старенький узкий диван, давно ждущий свою Миранду.

Когда я перестала в деревню ездить, Димон стал хранить на полках подвала банки с соленьями, вареньями и другими заготовками, которыми занималась временная домоправительница Клавдия.

Но мольберт так до сих пор и пылится в подвале возле дивана, от которого идет неистребимый запах какой-то лекарственной травы, кажется тысячелистника; на диване несколько ночей спал приехавший из Керчи Димонов дядя Всеволод — высокий, умопомрачительно эффектный, несмотря на возраст, почти двухметровый пшеничный блондин, внук дипломата, сам всю жизнь проработавший простым рабочим сцены: хотел стать актером, не хватило дарования. Впрочем, это не сделало его менее счастливым: каждый день он проводил в любимом театре и женился на актрисе, а похоронив жену и ощутив вселенское одиночество, приехал к единственному племяннику навсегда, привезя ему за проживание дарственную на всю свою собственность — квартиру в Керчи и небольшую дачку там же.

В подвале, куда его сначала определил племянник, объяснив, что в остальных местах еще идет ремонт, дяде Всеволоду не понравилось, и Димону пришлось все-таки его переселить — как раз в ту комнату, в которой сейчас обосновался Анатолий. Дядя Всеволод был разговорчив и очень общителен (он нередко приезжал к нам с Аришкой: двоюродная внучка ему очень нравилась), кроме того, на него стали заглядываться сельские бабенки — Димон орал на дядю и загонял его в комнату, точно блудливого телка. Через полгода жизни в деревне дядя Всеволод заболел.

Проболел он недолго, Димон злился, что на него свалилась обуза, и орал на больного так, что тот, еле ворочая уже языком, сказал: «Если бы мог, все бы переписал на кого угодно: и дом, и дачу, да уже сил нет». Вскоре он умер.

* * *

На первом этаже гостевого дома располагалась кухня, большая комната с барной стойкой; противник всего западного, Димон сочетал импортные вина, стоящие на полках, со стилем а-ля рус: везде висели деревянные ковши, торчали из кадок подсолнухи, столы и лавки были простыми, деревянными, точно в бедной крестьянской избе XIX века. Однако наличествовал прикрепленный под потолком большой экран домашнего кинотеатра, в углу стоял на ножках синтезатор, возле которого было три полки с книгами и фотографиями, Димон взял их из альбома дяди Всеволода: респектабельные мужчины и одетые по моде начала XX века улыбающиеся дамы смотрели с удивлением на лавки и прялку, поставленную Димоном в углу. Получилась, так сказать, изба-читальня для крепостных крестьян, организованная барином-гуманистом.

Мы с Юлькой присели к столу на одну из деревянных лавок.

— Заболел там ваш, — разливая чай по чашкам, как бы между прочим сообщила жена Анатолия. — Вчера звонил, кашляет третью неделю, завтра должен пойти на флюорографию. Вы-то знаете?

Я не знала. И, не отвечая на вопрос, сказала:

— У них в роду потомственный туберкулез.

— Так кормили-то мы его на убой. — Анатолий глянул на меня хмуро. — Все здесь натуральное, ни одной картошины с магазина, туберкулез откуда бы?

— Простуда, — сказала его жена.

— А что за женщину он увез с собой? — спросила я.

— Женщину?

— Которая жила в доме.

Они переглянулись, и я поняла, что не просто переглянулись, а что-то важное сказали друг другу взглядами. Ложечка в руках жены Анатолия звякнула о блюде.

— Она от нас пряталась, — сказал он, — я в лицо ее ни разу не видел. Откуда-то с Севера она, вроде с Петрозаводска.

— Попили чай уже? — Жена Анатолия, поднявшись из-за стола, вытерла руки о фартук. — Пойдемте, я вас в комнату провожу, поспите.

— Ты словно чужая здесь, — сказала мне Юлька, когда мы остались в комнате одни. — Будто они тут полные хозяева. А ведь здесь все твое.

— Не будет это моим, чувствую.

— Знаешь, в первый же миг, когда я увидела Анатолия, я ощутила, что он здесь не случайно. И про любовницу твоего Димона они все



врут. Она к ним имеет прямое отношение, я уверена. Мне даже почему-то страшно свет гасить. И еду их я утром есть не буду. И тебе не советую.

— Не волнуйся, у меня с собой пирожки. — Я засмеялась.

И уже вскоре стала засыпать, но Юлька неожиданно прервала тонкую нить едва начавшегося моего сна вопросом:

— А ты когда-нибудь была счастлива с Димоном?

Она спросила и заснула, свернувшись клубком, точно красивая маленькая кошечка. И опять мне подумалось, что люди все-таки еще только на пути к человеческому. И уже не смогла заснуть. Фильм про нашу с Димоном совместную жизнь стал раскручиваться в обратную сторону.

* * *

Однажды, еще до семейной жизни с Димоном, я действительно ощутила настоящее счастье. Мне было восемнадцать, и приятельница, на десять лет старше меня, уже имевшая четырехлетнего сына, уговорила меня поехать с ней и ее мальчиком на море, в Крым. Мы ехали дикарями, то есть без путевок и даже без определенного маршрута — куда занесет судьба. С четырехлетним ребенком это было несколько рискованно, но подругу убедили ветераны крымского отдыха, что жилье в Крыму сдают все и даже в начале августа на улице там остаться невозможно. Долетев до Симферополя на крохотном самолетике с надписью синими буквами «Донбасс», вследствие чего сынишка подруги, которому я надпись прочитала, все пятнадцать дней нашего совместного отдыха, вспоминая перелет, называл самолет «донбасиком», — мы сели на первый попавшийся автобус и поехали к Черному морю. А потом пересели на пароход и вышли на берег возле небольшого приморского поселка. Но — о ужас! — галечный берег громко чавкал под ногами, а чуть поодаль от него лежали сваленные ураганом погибшие деревья: ночью, как нам объяснила первая встреченная на берегу немолодая женщина, прошла сильнейшая гроза. «Зря вы здесь вышли, да еще с дитем, — прибавила она, — несколько дней и купаться здесь будет плохо, да и, может, будет вторая гроза — у нас часто. А вот дальше, где Карадаг, почему-то почти не бывает гроз. Ехайте туда, к Феодосии поближе. Можно морем, а лучше сейчас автобусом».

Так мы оказались в Коктебеле, сняв комнату у старушки, которая точно ждала нас: было уже больше одиннадцати вечера, но она все стояла на остановке автобуса, высматривая припозднившихся приезжих. Звали ее тетя Глаша. У нее был сын лет тридцати пяти, почему-то неженатый — высокий усатый крымчанин, ходивший всегда в светлых парусиновых брюках, клетчатой рубашке и светлой шляпе с широкими полями. Он очень любил и уважал мать, которая заправляла домом и пристройками: в каждой комнате жили приезжие. Нам досталась просторная комната на первом этаже главного дома. Утром, позавтракав в летнем кафе, мы

спустились к морю (двор тети Глаши располагался высоко). Пляж был полон людей, и мне с моей застенчивостью и интровертностью он не понравился. И уже после обеда и легкого отдыха мы отправились пешком по берегу искать другое место и часам к пяти вечера добрались до Мертвой бухты, дальний берег которой охранял страж — знаменитый Хамелеон.

К моей радости, берег был пуст. Вода — теплой и прозрачной. Погода — ясной и безветренной. Мне показалось, когда я вошла в море и с восторгом посмотрела вокруг, что все былые века брошены на этот пустынный берег ниткой коралловых бус, которую я смогу найти среди плоских и округлых камней рядом с вытянувшимся застывшим Хамелеоном, и это чувство вечного моря, вечного, уже не жаркого сейчас солнца, вечного колыхания волн, так дружественно обнявших мое тело, и какого-то удивительного единения с природой и через нее с самой вечностью было тем счастьем, которое я помню всю жизнь...

А с Димоном? Я посмотрела на Юльку: подруга спала и ее рыжая челка закрывала красиво очерченные узкие веки; моя прама-терь — Азия, как-то сказала Юлька.

А моя?

Рано утром, только попив чаю со своими же пирожками, мы доехали до автовокзала соседнего областного центра, купили билеты и стали ждать автобуса до Москвы. И мне все время казалось, что кто-то за нами внимательно наблюдает.

— И тебе тоже? — потом спросила Юлька.

* * *

Вообще, Димону требовалась не семейная жизнь, а иллюзия семейной жизни. Душой и телом, на самом-то деле, он никогда ни с кем не объединялся, и ни одна из жен не стала продолжением его «я» — именно потому он не гордился своими женами (особенно второй, бывшей фигуристкой), а завидовал им, воспринимая как соперников. Ты не представляешь, как доводил я Илону, как-то признался он, ругал ее, оскорблял, пытался ее вывести из себя, но она спортсменка была с детства, выдержка, воля и все такое. Я потом ее сильно возненавидел именно за ее приоритетные черты. И ревновал ее, и завидовал ей. В общем, любил.

— Помню, — сказала я, — у тебя любовь — ведь это и ревность, и зависть. Но ведь это чушь. Любовь — это любовь.

— Расшифруй!

— Тепло, единение и чувство защищенности.

— Может, это у вас так, баб, а у меня иначе.

— У настоящего мужчины настоящая женщина вызывает желание защитить ее.

— Да сейчас бабы — первые конкуренты в бизнесе, — раздраженно сказал Димон, — от них нужно себя защищать. Твои взгляды устарели.



Мир теперь иной: все друг другу соперники, человек человеку волк. А настоящая женщина — миф.

— А твоя мама была разве не настоящей женщиной?

— Она была рыба... хотя... — Димон глянул на меня: — Говорить или не говорить? (Я молчала — и не спугнула просьбой продолжать его внезапную откровенность.) Хотя однажды я вернулся раньше из школы, не помню почему, то ли учитель заболел, то ли я, открыл ключом дверь и застал ее в комбинации, и не одну, а с другом моего отца. И с тех пор у меня иногда мелькают подозрения: не его ли я сын? Они ведь дружили с отцом еще до моего рождения: пока отец не стал писателем, он работал с дядей Гошей на одном заводе, а потом в ремонтных мастерских... Я похож на него, если честно, больше, чем на батю.

— Мне кажется, Ирэна не могла изменить твоему отцу. Это твоя паранойя.

— И мне так кажется, но... Но ты, конечно, как всегда, права, я параноик.

— Она что, была с тем мужчиной в одной комнате?

— Нет. В своей. Я заглянул, а мать была в комбинации, сказала, что собирается погулять и переодеться, и закрыла дверь, а он сидел в отцовом кабинете и ждал, пока она переоденется. Отец уезжал на Алтай. Наверное, все так и было. Они посидели, попили чай, и он предложил ей прогуляться, и она пошла в свою комнату сменить домашнюю одежду. Но как-то она странно выглядела... Раскрасневшаяся вся. Да ладно. Теперь уже все равно. Ни матери нет, ни отца. И дяди Гоши тоже нет, он пережил их, только недавно помер. К писательству он никакого отношения не имел — работал инженером. На его похоронах я не был. А вот в честь отца назвали улицу в новом районе. Пустячок, а приятно.

И я вдруг поняла, почему Димона охватывают подозрения, что он не сын своего отца: он ощущает себя в литературе бесталанным. Дядя Гоша-то никакого отношения к писательству не имел, и Димон порой думает, что просто пошел в него. Он даже институт почему-то выбрал технический... И тогда мне стало так жалко Димона, что я поспешила сказать: «Твой рассказ “Дрова” просто гениальный!»

— Ты так считаешь, — он скривил рот, и его нос вытянулся и повис, — а вот Шахматов, главный редактор издательства, когда я дал ему по старой дружбе прочитать все, что написал, чтобы издать у него за свой счет, и он честно все прочитал, два месяца, правда, держал, но ведь у него таких, как я, вагон, так вот, он прочитал и заявил мне с печальной улыбкой: «Ты бы, Дмитрий, лучше деньги не в свои книги вкладывал, а в живописный талант твоей жены, выставки ей устраивал и, глядишь, пристегнулся бы к ней и сам стал известным, пусть как куратор ее выставок, а так — что тебе сказать? Если честно, все это твое — напрасно потраченная жизнь».

Вот так взял и выстрелил мне прямо в висок.

В одну из январских суббот у Юрия с Юлией состоялась помолвка. То есть он ей предложил выйти за него замуж. И моя Юлька, преодолев свои комплексы вечной одиночки, согласилась.

— То есть ты теперь не свободная от любви?

— Теперь нет. — Она виновато улыбнулась. — И, по-моему, несвободная навсегда.

Такой жизненно важный момент они решили отметить. Кроме меня на помолвке присутствовал друг Юрия, преподаватель вуза со смешной фамилией Лепешкин. И мама Юрия — восьмидесятипятилетняя, в темно-зеленом платье с белым воротничком, очень изящная пожилая дама. Так вот почему Юрию понравилась худышка Юлька: она напомнила ему его собственную маму тридцать два года назад. Гость по фамилии Лепешкин в противовес русской классике свою фамилию внешним видом не подтверждал, то есть ни на какую лепешку не походил. Он более не появится в моем романе, хотя иногда я буду слышать о нем от Юльки, которая вот-вот вступит в свой первый законный брак с Юрием Юрьевичем, — и потому посвящу господину Лепешкину несколько строк. Во-первых, он был в дорогом костюме с галстуком-бабочкой, во-вторых, поджар, как натренированная гончая, в-третьих, жутко рассеян и неловок: на белую свою бабочку он умудрился накапать коричневого соуса, которым потом залил и мою коленку. Возможно, ты ему просто понравилась и он впал в застенчивость, шептала Юлька, помогая в ванной комнате оттирать мне соус, он лучший друг Юрия и сильно богатый, потому что у него техническая голова и он что-то все время изобретает, а продает его брат... Может, тебе быстро-быстро заключить с Димоном брачный договор и тут же развестись? Лепешкин, между прочим, Юра говорил, с женой в прошлом году расстался, она его сама покинула, отдыхая на Кипре, нашла какого-то грека. Я улыбнулась, представив смуглого усача с выпученными глазами и госпожу Лепешкину, конечно, искусственную блондинку с блефаропластикой и еженедельным фитнесом: на Кипре она, разумеется, ходила в рваных шортах, на груди у нее болтался говорящий вентилятор или... Да, в общем, какая мне разница? И что я привязалась к фамилии Лепешкин? Меня ведь никогда не забавлял, к примеру, философ Скворода? Правда, он не проливал на мои новые брюки соус... Впрочем, я ведь и к таким вещам отношусь легко: сама, если признаться честно, неловкая... Мы вернулись с Юлькой в комнату к столу, господин Лепешкин мне виновато улыбнулся. Худощавый, элегантно одетый мужчина с виноватой улыбкой. В общем-то, симпатичный человек. Но...

Идея развестись с Димоном только один раз пришла мне в голову, когда, гуляя со мной в зимнем парке, шестилетняя Аришка познакомилась с пятилетней девочкой Ниной, у которой был полноватый папа в очках, с уже поднимающейся со лба лысиной, по которой, точно крохотные





альпинисты, взбирались на еще курчавую вершину снежинки; но у Нины не было мамы: она умерла через год после рождения дочери. От чего — спрашивать было неудобно. Девочку стало мне жалко, она потянулась ко мне и к Аришке, и ее отцу мы тоже понравились, и уже через неделю совместных прогулок я легко представляла себя мамой сразу двоих дочек. Надо сказать, я вообще очень сочувствующая от природы. Если вижу в холодный день старушку, что-то продающую у метро, я это «что-то», совершенно мне не нужное, обязательно у нее куплю. Но кроме сочувствия здесь было еще и другое: я почему-то всегда, с детства, видела себя мамой двоих детей. И когда выяснилось, что Димон отцом уже быть не способен, более удивилась, чем огорчилась: как же так, ведь я представляла иначе? И маленькая Нина легко вписалась в образ моего второго ребенка, пусть не рожденного мной, а обретенного, точно в старинной сказке, в парке под снегом. И когда вечером Димон поужинал и улегся на ковер на полу, чтобы отдохнуть под очередной теледетектив, я подошла к нему и спросила, сможет ли он отнестись философски, если я приму решение с ним развестись.

Кинофильмы Димон обычно смотрел, как смотрят впервые мультики маленькие дети — раскрыв рот (в прямом смысле) и не отрываясь. И сейчас он не смог оторваться от острого сюжета — и, только махнув рукой, пробормотал: «Потом». Утром он уехал в деревню: там вовсю шло восстановление дома. Позвонил он ночью, нетрезвый. Это было странно: с того дня, когда Димон как бы получил «знак» через заболевшую руку, он фактически не выпивал. Ну, может быть, крайне редко — два глотка хорошего коньяка или бокал шампанского в новогоднюю ночь.

— Я тут в бане, — произнес он, спотыкаясь на каждом слове, — и вот звоню, чтобы сказать: я живу под крышей твоей удачи и, если ты меня бросишь, я жить не буду, что-нибудь с собой сотворю, поняла?!

— Поняла, — сказала я.

* * *

В новогоднюю дочь Димона с нами не было: он остался со своей новой любовницей в городе Н. И даже не позвонил. Аришка по-прежнему пребывала в полукоматозном состоянии: еле-еле удавалось ее покормить, с постели она уже почти не вставала, но согласия обследоваться в клинике никак получить у нее не удавалось. Она мотала головой и шептала: «Нет, в больницу не поеду ни за что». И в новогоднюю ночь ничего не изменилось. В доме точно повисло что-то темное, что, разрастаясь, как прозрачные водоросли, погружало нас с дочерью в какое-то пугающее отчуждение: Аришка со мной не разговаривала, молчала и я. Новый, 2014 год я встретила за компьютером, слушая поздравительный спич президента.

Димон не звонил больше месяца, но в конце января вдруг прорезался и сообщил, что вторую неделю опять болен, слабость, снова кашель,

но терапевт утверждает, что в легких чисто, а состояние все равно пре-паршивое. Инка договорилась со своими знакомыми врачами — придется лечь в начале месяца на обследование. Так что денег не ждите, прибавил он, выкручивайся как хочешь.

— Но Арина больна!

— Ерунда. Не верю!

— Приезжай — увидишь! Она в тяжелом положении, ей нужно питание, витамины, может быть, домашний врач и психотерапевт. У меня уже нет денег.

— Картинку свою какую-нибудь продай.

— Это не так быстро, а ей нужна экстренная помощь!

— Молодой организм сам справится. А вот я...

И связь прервалась.

В ту же ночь мне приснился Димон, собирающий вещи в дорогу и над каждой почему-то подолгу раздумывающий, подходит она ему или не подходит. Казалось, что он в каком-то сумеречном состоянии сознания: вот он завис над шерстяными черными носками, взял их в руки и выронил один; черный носок на светлом полу зашевелился, под ним оказалась мышь, она вынырнула из-под пушистой шерсти и тут же юркнула за тахту, на которой были разложены Димоновы рубашки. И, выбрав одну, он снова держал и держал ее в руках, потом повесил рубашку на спинку квадратного кресла, в котором обычно сидел, когда работал над книгами, его отец, и стал перебирать костюмы, сваленные прямо с плечиками на ту же тахту. Внезапно он обернулся и посмотрел на меня (хотя я точно знала, что меня не было в этом сне). Тут же в сон косою полосой врезалось прошлое: мы на берегу моря, это Димон, я и маленькая Аришка, я сижу с книгой, Аришка возится у воды, строит из влажного песка замок, а Димон, даже не глянув на меня и дочь, начинает идти по песчаной кромке берега, он идет все быстрее и уходит от нас все дальше, вот уже он в костюме, а не в купальных плавках, он идет теперь не вдоль моря, а по какой-то пустынной дороге, и еще отчетливо видна его спина, но я знаю во сне, что скоро мы его не увидим, меня охватывает жалость к нему, и Димон, приостановившись, оглядывается и спрашивает: пойдете с Аришкой со мной? Димон очень далеко, но его глаза отделяются от лица и приближаются ко мне: в них горит ледяная ненависть. Я в замешательстве, с усилием отвожу от его прозрачных ледяных глаз свой взгляд и с тревогой смотрю на ребенка. И в этот момент рядом с нами оказывается совершенно незнакомый мужчина, одетый по-городскому, а не по-пляжному, который, я точно знаю это во сне, появился, чтобы помочь, защитить, не дать нам отправиться за Димоном вслед, он смотрит на меня и, остановившись невдалеке, закрывает собой вид на пустынную дорогу, по которой Димон уходит, и когда я снова вижу берег — берег пуст, дороги нет.

И Димона больше нет.



Аришка плачет, я наклоняюсь и вытираю ей слезы пляжным полотенцем.

— Больно! — плачет она. — Жесткое! Оно жесткое!

Когда я распрямляюсь, я больше не вижу мужчины, закрывшего от нас уходящего Димона. Или нас от него. Мы на пляже одни. Пора домой.

* * *

И второй сон, через несколько дней. Мы заходим с маленькой Аришей в нашу квартиру: стены ее почернели, мебель сломана, двери болтаются, почти сорванные с петель.

— Ужас, мама, это не наш дом! — кричит Аришка.

— Наш, доченька, — отвечаю ей, — просто по нему пролетел смерч.

— Торнадо?

— Да.

— Как оно могло попасть в дом?

— Не знаю. Но мы все отремонтируем, все восстановим... А пока потерпи.

Юлька, которая раньше так любила вечерние разговоры со мной по телефону, погрузилась, как сом, на самое дно своей семейной жизни — и там дремала, округляясь, сонно улыбаясь, вполне счастливая. Теперь я как подруга не вызывала у нее желания теплой, почти симбиотической связи предвечерних часов, наоборот, она подсознательно отторгала меня, как отторгает здоровая клетка — больную, ведь Юлька была счастлива в своем семейном водоеме, а я в своем — несчастна, а несчастье — та же болезнь, и Юлька опасалась заразиться. Потому и свои сны мне стало рассказывать некому. Арина была неспособна ничего слышать, лежала или свесив голову с кровати, или отвернувшись к стене, на вопросы она отвечала, но односложно — «да» или «нет», лишь иногда произносила тихо «спасибо», и ко всему прочему в квартире стало пахнуть тяжелым потом больного человека: хронический нефрит был когда-то у меня, и Аришка тоже его наследственно прихватила, выбегая на школьных переменах зимой на улицу раздетой; теперь ее нефрит заалел пышным цветом, захватывая уже не только почки, но и все, что с ними соотносилось. Лечиться в больнице Ариша по-прежнему отказывалась. Все купленные лекарства я складывала рядом с ее кроватью, но вскоре находила их заброшенными в какой-нибудь угол комнаты. Это обнадеживало: если у девушки хватает сил забросить так далеко упаковку с таблетками, значит, она выздоровеет. Так успокаивала себя я. Встреченные на улице знакомые спрашивали, не больна ли я сама: я стала ужасно выглядеть — пришлось мешки под глазами, в которых таилась моя боль, скрывать под очками. Но самое тяжелое нас ждало впереди.

Инна Борисовна принадлежала к тому типу людей, которые, войдя в буржуазный слой общества, начинают жить по соответствующим их новому статусу социальным шаблонам. Ежегодное полное платное (желательно очень дорогое) медицинское обследование и дорогое медицинское страхование входит в джентльменский буржуазный набор как нечто обязательное. Димон очень уважал Инну Борисовну, ведь одно время она была коммерческим директором огромной ярмарки, и, когда она стала жаловаться, что предприятие, которым она владела совместно с Димонем, не дает денег, оборот падает, скоро придется влезать в долги, и предложила Димону за какие-то гроши переоформить учредительство на ее тридцатилетнюю дочь, глупый Димон согласился и передал Инне Борисовне свою половину без моего супружеского согласия, то есть нарушив закон. Зачем мне убыточный бизнес, кричал он, чтобы потом за Инку долги платить? Они с дочерью — несчастные, одинокие, безобразные, как жабы, тетки, кто их, окромя меня, полюбит?! Хотя какие-то копейки у них теперь будут!

Как вы, наверное, догадались, вскоре после переоформления бизнеса, который Инна Борисовна намеренно опустила, быстро вырос и предприимчивые мать и дочь стали расцветать и процветать, купили еще одну квартиру, сменили машины на новые, на их взгляд более крутые, и Димон, от которого расцвет предприятия Инны Борисовны, конечно, не укрылся, чтобы не страдать от зависти и не посчитать себя лохом и полным идиотом, объяснил причину успеха бывшей компаньонки собственной благородной помощью. Вот, говорил он, сделал я бабе фактически бескорыстно доброе дело — она ведь на мои деньги начала бизнес, помог ей, и считай, просто так, а теперь и все предприятие ей отдал и не жалею: ее отец с моим дружил, я чту память стариков, а сама Инка в меня еще в детстве была влюблена, а я таких страшных любить никогда не мог, а это дурно — любить надо за душу, Галка моя была сучка, но прелесть как хороша, Борисовна небось радовалась, что она померла, ведь ревновала с юности, так пусть хоть бизнес ее утешит, она и сейчас меня любит, кого ей еще любить?! Инка — умная баба, а счастья у нее личного нет. Может, я в том и виноват...

И когда «умная Инка» предложила Димону срочно обследоваться, причем в самой дорогой клинике, где работали ее, Инны Борисовны, друзья, которые за то, что она поставляла им буржуазных клиентов, лично ее обследовали и подлечивали бесплатно, Димон согласился. Мне о том, что ложится в клинику, сообщил эсэмэской. А через два дня я получила от него сообщение по электронной почте:

«Я не забыл про знак, о котором только ты одна знала, а теперь знает еще и Анатолий. Он надежный, честный мужик, хотя и отсидел пяток лет, говорит, по ошибке, я ему верю... (ты и своей Инне Борисовне веришь, подумала я) у него даже держу все наши документы на собствен-





ность, помру, получишь ведь ты свою законную половину, небось потому и желаешь, чтобы я сыграл в ящик как можно скорее, да нет, вру, ты смерти мне не желаешь, у тебя чувство собственности слабо представлено, в общем-то, по сути, ты бескорыстная идеалистка, таких сейчас уже нет, но вот твоя Антонина Плутарховна, за то что как бы я виноват перед тобой, вполне может мне *оттуда* насрать что угодно. А в чем я виноват? Ты сама способствовала тому, чтобы я последнее время жил не с вами, а в деревне. То есть фактически отказала мне в супружеской постели. Тебе-то, оторванной от реальности, с твоим вегетарианством, этого и не надо, ты же, как моя мать, рыба и выживаешь не за счет еды или секса, а за счет своей парапсихологии, другими словами, вашей родовой силы. И если она будет направлена против меня, мне каюк. А ведь подсчитай, мне *удалось* уже продлить себе жизнь на год: с больной руки прошло уже девять лет. Я даже решил сначала, когда подсчитал, и обрадовался, что это я тебе и Аришке нужен и ваша родовая сила мне и продлила жизнь, но потом подумал, что ты ведь несколько лет как разлюбила меня, выбросила из своей плаценты, лишила меня источника своей тонкой энергии. Я стал потому тебе изменять, наверное, чтобы получать на стороне пусть грубо-материальную и так выжить — и год себе уже выторговал! А тут я вспомнил, что Аришке-то нашей уже восемнадцать, то есть я ее вырастил — она сама может работать и помогать тебе, то есть я вам уже не нужен, долг я свой перед вами выполнил, и Анатолий, а мужик он очень умный, сказал мне: продлить тебе жизнь, Андреич, может только молодая жена, даже не она, а младенец, и он точно все понял: я могу жить только на чувстве долга, на ответственности, что нужно вырастить ребенка... И собственность — зло. Сам Анатолий знаешь как выжил? Когда я ему сказал по телефону, что обследуюсь в отделении онкологии, у Инки там все свои, лучшие медицинские кадры, он мне сразу рассказал, что, оказывается, у него рак был, он лечился, а, пока лечился, всю свою собственность отдал жене, а сам женился вот на этой, которая теперь с ним, они не зарегистрированы, у нее дочь от первого брака где-то на Севере, молоденькая, но уже одна с ребенком. И полностью выздоровел. А, говорит, если бы с женой остался, с которой у нас сын, давно бы помер. И от тебя мне нужно срочно бежать, он правильно советует! Если, говорит, у нее бабка была колдовка, тебе, Андреич, не выжить... И вообще он толковый мужик, хоть бизнесом никогда не занимался. Вояка бывший, но все верно думает: собственность — это зло, к ней привязываешься, а отдал все — и будешь жить как птица, и любая болезнь пройдет».

От сообщений Димона исходило тяжелое излучение страха и надежды — точно вблизи его ног уже чернела необъятная бездна, а он надеялся через нее перепрыгнуть. Но, может быть, мне все это кажется, успокоила я себя (мне было тяжело даже представить, что его на земле нет), и болезнь у него какая-нибудь пустячная, Димон который год одержим идеей собственного здоровья: живет на свежем воздухе, вдали от города, ест

все «экологически чистое», окружает себя молодыми девушками — чтобы от них черпать что? Энергию? Я улыбнулась. Ну, скажем так, их витальный оптимизм. А в последнее время еще и пьет понемногу самое дорогое красное вино, прочитав, что оно что-то там уничтожает и чему-то способствует.

Аришка, ну-ка объясни мне с точки зрения биохимии пользу красного вина.

Но дочь лежала лицом к стене и молчала.

* * *

Вечером я показала сообщение Димона Юрию и Юльке, приняв их приглашение на чай. В квартире пахло ванилью, кот Матроскин встретил меня у порога доброжелательным мурлыканьем. Чай был хорош, а бисквитный торт, который испекла Юлька, просто чудо как вкусен.

— Так, — прочитав, сказал Юрий, — похоже, Юлька права: Анатолий и подложил Димону девицу, он твоего Димона буквально зомбирует.

— Не дочка ли это его жены? — разволновалась Юлька. — И насколько мне помнится, Анатолий рассказывал Димону, что вообще никогда ничем не болел, а тут вдруг выясняется, что он излечился от рака. Помнишь, мы читали в его «Живом журнале» о знакомстве с новым работником? Все это отдает большим обманом. Если дочка жены — кто определит? Фамилии разные, отчество другое... Они утверждали, когда мы с тобой были в деревне, что она от них пряталась.

— Может, она такая робкая? — засмеялась я, хотя тревога уже подкралась ко мне и встала за спиной, как призрак. И я уже знала: теперь этот призрак будет сопровождать меня повсюду.

— Робкая не прихватила бы чужого пожилого мужа.

— Предположим, она дочь жены Анатолия, — заговорил Юрий. — Тогда, если бы она от них не пряталась, им бы пришлось Димону признаться в родстве, а так, когда он женится, получится как в старом анекдоте про браконьера и егеря. Егерь сурово спрашивает, что браконьер несет на плече, а тот, скосив глаза, вскрикивает: «Ой, кто это?!»

— Весьма убедительно, конечно. Однако есть одно но, — сказала я. — Анатолий косвенно подсказывает Димону, что тому нужно отказать от собственности и все отдать жене. Но ведь пока жена — я?

— Пока! — произнесли Юрий и Юлька одновременно.

Будут вместе всегда, подумала я, до конца.

* * *

И вдруг Димон исчез. Телефон его был или вне досягаемости, или мой звонок срывался — длинные гудки переходили в короткие, эсэмэски оставались непрочитанными, не отвечал он и на сообщения по электронной почте.



Как часто случается в феврале, начались метели, и пришедший в субботний день посмотреть на Аришку врач, войдя в двери квартиры, сбросил с себя целый сноп снега. В окно Аришкиной комнаты видна была стена соседнего дома — старого, но добротного, летом темно-серого под гирляндами вьющейся по нему зелени, а сейчас словно утыканного огромными клочками ваты. В здании располагалось учреждение, в субботу оно пустовало.

— Так и лежишь все время отвернувшись? — присев на стул рядом с тахтой, спросил Арину врач.

— Да, — ответила она очень тихо, но к нему не повернулась.

— Почему?

— Мне все равно, на какую стену смотреть.

— А если я хочу тебя прослушать?

— Нет, — сказала она чуть громче.

Больше он не смог добиться от нее ни одного слова.

Мы вышли с ним в кухню. Среднего роста, лет пятидесяти пяти, очень спокойный, он производил впечатление вдумчивого человека.

— Депрессия у вашей дочери, ее бы подлечить.

— Она выбрасывает таблетки.

— Ну, некоторая истеричность в ней присутствует, — он снял очки и потер правой рукой глаза, — это тонкое замечание про стены.

— Она просто очень чувствительная.

— А в больницу, конечно, отказывается?

— Конечно. Да и мне ее жалко туда отправлять.

— Тогда подождем... Молодой организм, куда денется, жизнь возьмет свое... Главное, чтобы не было никаких стрессов — покой, поддерживающее питание, эмоциональное тепло.

Поддерживающее питание, повторяла я про себя, когда врач ушел и я взялась за этюдник, а денег нет, мы жили все годы небогато, но и не бедствовали, наше маленькое предприятие, в которое сама вложила на этапе его становления все свои силы, даже в ущерб живописи, все-таки нас кормило, но второй месяц бухгалтерия мне ничего не посылает, а деньги отложенные — все у Димона... Ты же непрактичная, говорил он, а я могу скопить и Аришку обеспечить к свадьбе.

В одном художественном салоне купили мой натюрморт (продавец сказал, что приобрел смуглый иностранец), но ведь цена была мала и на эти деньги я живу уже четыре недели... Они кончаются.

Я оделась и пошла побродить по нашему району: особых архитектурных шедевров он не содержит, но летом зеленые, а сейчас заснеженные бульвары, белая церковь XIX века, купол которой видно издали, множество ярких, разноцветных детских площадок — все это нравится мне и смиряет с тем, что моя любимая Соборная площадь неблизко. Метель, ненадолго утихнув, расплясалась вновь, точно Василиса из сказки, разбрасывая из длинных белых рукавов белых лебедей. И район потому казался сейчас не современным многоэтажным, вполне усреднен-

ным, — дома просто скрылись в метели, — а удивительно прекрасным, воплощением сказочной красоты мира. И по снежной дорожке этой сказки мне было бы так легко и радостно идти, если бы сердце мое не помнило, что на дне снежного колодца лежит моя дочь...

* * *

Когда в 1997 году, через год после рождения Аришки, Димон прошел полное медицинское обследование, во время которого и определилось, что его мужские стрелки уже малоактивны и в цель вряд ли смогут попасть, у него вдруг обнаружилось экзотическое наследственное заболевание, передающееся по мужской линии. У Димона оно было в стертой форме и ничем не проявляло себя, кроме опухолевой активности, вследствие чего он сам называл себя «шишковитым»: действительно, под кожей рук и спины у него выступали округлые небольшие шишки, рентген тогда показал, что есть они и внутри его организма, например вдоль позвоночника, и, когда одна из шишек смещается, Димон мучается радикулитными болями, потом шишка встает на место — и боли проходят. Все это не так опасно, объяснил старый врач, верный друг моей бабушки и всей нашей семьи Аркадий Самуилович Ришец, жаль, что его уже нет, он бы помог Аришке, я уверена, организм к этим опухолевидным наростам приспособился, перерождения их в злокачественные фактически никогда не происходит, так что не волнуйтесь. И Димон про свою экзотическую болезнь, которая на нем и кончилась, поскольку он не сумел ее никому передать, забыл. Забыла и я.

Но внезапно увидела во сне Аркадия Самуиловича: предупредите Дмитрия срочно, что нельзя позвоночник трогать, сказал старый седой доктор, это ошибка, предупредите срочно! Вы уже поняли, наверное, что мои сны для меня источник информации, часто они предупреждают, порой прямо предсказывают. И конечно, я сразу, только проснувшись, стала снова пытаться дозвониться до Димона, телефон был вне досягаемости, тогда я тут же отправила ему эсмэску, что приснился мне доктор Ришец, который почему-то говорил о его позвоночнике и категорически не велел что-то с ним делать. Раньше Димон верил мне, думала я, но поверит ли сейчас? Тем более что информация нечеткая, а главное, охваченный страхом смерти и обработанный Анатолием, он создал из меня образ врага!

Мне не удалось предупредить Димона. Может быть, его телефоном уже завладела его любовница? Или, получив СМС, он просто не прислушался к словам старого скромного доктора, ведь я стала врагом, а вокруг суетились новые крутые ВИП-врачи Инны Борисовны. Обнаружив у Димона рак предстательной железы, они срочно произвели дорогую операцию; у Димона уже года два имелись небольшие урологические проблемы, когда ему сообщили диагноз, урология его дала мгновенный сбой (думаю, просто от страха), и ему удалили одну из шишек на позвоночнике, приняв ее за метастаз опухоли. Шишка располагалась в поясничном

отделе — та самая, что иногда давала ему радикулитного типа боли. После операции у Димона сразу отказали ноги. Больше он не встал.

Мне Димон прислал последнее сообщение, в котором сообщил, что его прооперировали, что нашли рак предстательной железы, удалили одну опухоль (Димон приложил две справки), а главное, что у него родился ребенок и, значит, его последний романчик — это не просто интрижка, не утешение старости, а ответственность, долг и он обязан теперь жить. Анатолий прав, только чувство долга может вытащить меня. То есть, как ты поняла, у меня уже теперь есть другая семья, и молодая моя любимая моет мне сама задницу, ведь я лежачий больной, а ты бы никогда этого делать не стала! А предприятие я передал дочери от первого брака, Ариной старшей сестре, вы ее не знаете, она толковая, экономист, не в пример тебе в бизнесе все понимает, к тому же муж у нее очень богатый человек, если предприятие будет хиреть, вольет в него свои средства, вас с Ариной дочь моя не бросит, все-таки родня, будет продолжать выплачивать твой законный процент, а вообще, можешь еще и подавать на развод и получишь через суд свою половину собственности, писал он, но не удержался и добавил зло: «Ума вам не хватит куда-то деньги вложить, все изведете на унитаз!» Завершалось сообщение так: «А тебя я отсекаю от себя полностью. Больше мне не звони, не пиши, твои письма для меня только стрессы, а стрессы мне противопоказаны, оттого и предприятие передал ничего тебе не сообщив, чтобы еще пожить, ты бы ведь согласия не дала, все нервы мне бы поистрепала, а мне нужно теперь жить. У меня новая семья. Не вздумай приезжать, моя жена тебя выгонит».

Вечером того же дня Димон позвонил Арине. Телефон валялся у нее на полу, рядом с постелью, она свесила руку и включила громкую связь: из-за сильнейшей слабости она уже не могла поднести телефон к уху. Она ждала звонка отца так долго!

— У меня родился другой ребенок и рак, — резко произнес Димон, и голос его заскрежетал, искаженный какими-то свистящими помехами. — Меня больше не ищи! У тебя больше нет отца!

Короткие гудки.

Я проснулась точно от толчка, сердце мое забилося так сильно, что я испугалась — что со мной? Нужно выпить валериановых капель. Нет, не со мной! Что с Ариной?!

Арина сползла с кровати, собрала все таблетки, которые ей прописал врач, — и выпила; вокруг валялись пустые коробки.

* * *

Ее спасли.

Она лежала в палате под капельницей, все время повторяя одну и ту же фразу: «У меня нет отца... У меня нет отца... У меня нет отца...» — и так бесконечное число раз. Через три дня терапевт предложила мне полечить

дочь от депрессии — уже не здесь. Арина категорически отказалась. Я забрала ее домой, надеясь, что возвращение к жизни хорошо скажется на ее душевном состоянии. Но — напрасно. Она снова легла лицом к стене. И я чувствовала, ее состояние — следствие сильнейшей телепатической связи с Димоном: он лежит там, она — здесь. Это называется конверсией. Видимо, X-хромосома, которую она получила от него, оказалась сильнее моей.

...Чем обреченней ощущал себя Димон, тем сильнее он ненавидел меня, считая виновной в его болезни мою родовую силу, и Аришка, ловя его сигналы, — а перестав сидеть за компьютером, читать и общаться, она как бы превратилась сама в вай-фай, который, к несчастью, передавал только чувства и состояние ее отца, — тоже начала ненавидеть меня. Уже много позже мне удалось восстановить и сравнить, что в те дни происходило с Димоном, а что параллельно — с Ариной. Лежал в городе Н. он, лежала в Москве она. Именно в тот день, когда Димон обрубил со мной и дочерью связь полностью, по своей уже кривой логике уверенный, что тем спасает свою жизнь, он сначала пережил — как нередко это бывает у тех, кому ставят роковой диагноз, — сильнейшее желание сразу уйти из жизни, до болей и мучений. Такой вот суицидальный драйв. И передал его Арише: она попыталась свести счеты с жизнью вместо него — так сработал ее телепатический вай-фай. Димон так и не узнал, какой страшной стороной обернулись его слова: «У тебя больше нет отца».

Больше он нам не звонил никогда, не отвечал на сообщения. Предприятие перестало посылать нам с Аришей деньги: его дочь от первого брака, став полноправной владелицей, выбросила нас, как балласт. Накоплений у меня не было, все деньги хранились у Димона; когда он поселился в деревне, я ежемесячно получала из бухгалтерии только прожиточный минимум, остальные деньги всегда снимал сам Димон. Как-то Аришка с долей презрительного осуждения сказала: «Ты так дешево продаешь свои картины, зачем вообще тогда этим занимаешься? И получаешь ты от предприятия тоже очень мало».

— Но он говорит, там всегда трудности.

— А сам подойдет к банкомату и сразу тысяч триста снимет, а то и побольше. Ты, мама, глупая у меня. Он тебя лохотронит всю жизнь. А ты ему веришь.

Теперь я с трудом набирала продажей своих небольших пейзажей на еду для дочери и для себя. Привыкшая к аскетическому образу жизни, никогда не поддававшаяся буржуазным соблазнам, я переносила ограничения в еде легко: гастарбайтерская лапша тоже лапша. Но дочь нельзя было держать на сухом пайке, и я писала и писала Димону то жалостливые, то гневные письма. Потом я стала писать его дочери. Я нашла ее на портале «ВКонтакте»: выглядела на фото она уже не как бывшая продавщица овощной палатки, а как успешная буржуазка, которой если дать поддержать шоколадку, она ее растопит в ладонях, превратит в грязную лужицу, но не вернет никогда.



Ваша сестра больна, кричала я в сообщениях новой владелице предприятия, помогите! Помогите!!!

— Не отвечает? — волновалась Юлька, в который раз сующая мне деньги на фрукты для Аришки.

— Нет.

— А «мыло» то?

— То. На предприятии мне дали ее адрес, в бухгалтерии.

— Эх, говорила я тебе, скорее разводишься! Почему ты не подала на развод?

Почему? Неужели я все-таки еще любила его, даже скрывая свое чувство к нему от самой себя?

Но Димон утверждал, что я еще несколько лет назад выбросила его из своей плаценты. То есть первая оторвала от себя.

— Если даже это так, никакой вины на тебе нет, ты все годы помогала ему всем, чем могла, была его личным психотерапевтом, доброй феей.

— А потом он превратил фею в прокурора, который вынес ему приговор.

— Но это было его воображение всего лишь! Точнее, его собственное отражение! Он страстно возжелал твоей смерти, смерти своей жены, которая стояла с ним рядом, когда основывалось предприятие, сэкономила на себе, не купила себе ни одного кольца с бриллиантом, никуда не ездила — чтобы шла стройка в деревне, чтобы у Ариши в наши трудные дни было то, что поможет ей встать на ноги. И получил он по заслугам!

— Ты права, Юля, — грустно сказала я, — в подвал, который он приготовил для Миранды, поставив туда новый мольберт, попал он сам.

* * *

Ариша, лежа в постели, по несколько раз в день набирала телефонный номер Димона. Ей отвечали только короткие гудки. Со мной разговаривать она перестала. И я понимала: Димон заболел, потому что отразился сам в себе, Юлька права, а дочь отражает его, и нужно отнестись к этому философски, но мне было больно это видеть... Неужели все оттого, печально думала я, что Димон был в ее глазах всегда крут: респектабельный, дорого одетый мэн на «кадиллаке», с кожаным кошельком, забытым банковскими картами и пятитысячными купюрами, а я? Кто в ее глазах я? Глупая, никому не известная художница, да, Ариша слышала, что те, кто в живописи понимают по-настоящему, меня ценят, но Димон, а не они, какие-то лохматые и бородатые полубомжи, был для нее авторитетом. А Димон ей — не постеснявшись моего присутствия! — как-то сказал: вот мать живет только за счет меня, если предприятие рухнет, ей только в уборщицы идти, картинку ее не прокормят, а устроиться в сорок с гаком на приличное место теперь невозможно. То есть для Арины я — это уборщица, а он — король. И пусть его королевство не такое большое,

а если сравнивать с прохоровыми-абрамовичами, и вовсе маленькое — но видимость-то есть! И пусть не миллионы, но приличные деньги у него в кармане тоже имелись, и крутая тачка, как говорят ровесники Арины, которая сама пошутила однажды, обидев меня: «Ты ни в салоны красоты не ходишь, ни в бассейн, скоро станешь выглядеть как бабка, а бабок у тебя нет!» И память мою пронзило, ведь Ариша с тринадцати лет стала запрещать мне приходиться к ней в школу: мой недорогой «художественный» стиль одежды казался ей позорным, я все себе покупала в магазинах секонд-хенд, а ее одевала только в новое, и в достаточно дорогие вещи. Только однажды она похвалила мой плащ: единственный раз мне удалось приобрести шмотки в бутике — с большой скидкой из-за наступления другого сезона. Но как радовалась Ариша, если Димон заезжал за ней в школу на шикарной черной машине! И вспомнив все это, я подошла к приоткрытой в комнату Арины двери и, глядя на нее, лежащую, отвернувшуюся, как обычно, к стене, подумала: «А ведь дочь впала в такое жуткое состояние, превратилась в зеркальную копию тяжелобольного Димона потому, что *предала* меня. Она выбрала его, с его престижным антуражем, его, продавшего все настоящее в себе, живущего по законам пошлым и пустым, стремящегося стать победителем не в том подлинном смысле, который никогда не будет начертан на обложках глянцевого журналов, а в самом толполитарном... Она предпочла его, с его фальшивыми ценностями, которым поклоняется толпа, своей терпеливой матери, оставшейся верной своему призванию, не приносящему ей ни славы, ни денег.

Димон говорил ей всегда, что все делает для нее: предприятие — ее будущее, дома в деревне — ей, дом на Алтае куплен им, чтобы она могла туда ездить и видела красоту этого горного края, однокомнатная квартира тоже ей, он обещал и машину, как только она получит права, и скорую постройку еще одного небольшого дома — на ее любимом Азовском море... А что могла обещать ей я? Что гарантировать? Я могла только призывать ее к труду, а она ленива, могла заставлять учиться, но она приняла от Димона другой идеал! Димон отравил ее полудетское сознание — и той девочки, которая в пятнадцать лет запоем читала книги по биологии, больше нет. Она потому и лежит, отвернувшись от меня, что ее охватывает отчаяние, ведь пропал ее крутой папашка и ей светит остаться с полунищей матерью, которую она относит к породе лохов.

И душа моя закрылась от Арины, как закрывается вечером цветок: солнце моей любви к ней скрылось за облаками.

Закатилось, закатилось солнце.

* * *

Во время очередной уборки я нашла тетрадь Арины, в которой она делала выписки из прочитанных статей по биологии, сопровождая их своими размышлениями. Ей было тогда пятнадцать, и она уверяла меня,



что получит когда-нибудь Нобелевскую премию. Я пролистала тетрадь, и вдруг мне в глаза бросилось словосочетание: «рак предстательной железы». Оно не было взято в кавычки, значит, принадлежало самой Арине, но ему предшествовала длинная цитата (источник Арина не указала): «В 1961 году ученый по фамилии Хейфлик установил, что клетка может делиться лишь строго определенное количество раз. Этот предел в дальнейшем получил название “лимит Хейфлика”. Клетку, которая перестала делиться, то есть стала сенесцентной (престарелой), ждет три варианта развития событий: первый — впасть в анабиотическое состояние, когда клетка и не живет и не умирает, выделяя продукты жизнедеятельности; второй вариант — это смерть, или апоптоз; и третий вариант — мутировать и переродиться в раковую. То есть, когда клетка становится старой, один из главных рисков — развитие ракового процесса. Есть, однако, способы вернуть коротким теломерам исходную длину. В 1971 году советский ученый Алексей Матвеевич Оловников предположил, что в организме человека есть фермент, который может концы теломер наращивать, — он и назвал фермент теломеразой. Трое американских ученых — Элизабет Блэкбёрн, Кэрол Грейдер и Джек Шостак к 2005 году обнаружили теломеразу и доказали, что она действительно способна наращивать теломеры. В 2009 году это открытие было удостоено Нобелевской премии. В половых клетках человека (сперматозоиды и яйцеклетки) высокая теломеразная активность наблюдается в течение всей его жизни. Аналогично и в стволовых клетках, которые способны делиться неограниченно долго. Более того, у стволовой клетки всегда есть возможность дать две дочерние клетки, одна из которых останется стволовой (“бессмертной”), а другая вступит в процесс дифференцировки (приобретет свое функциональное предназначение в организме). Именно поэтому они являются постоянным источником разнообразных клеток организма. Как только потомки половых или стволовых клеток начинают дифференцироваться, активность теломеразы падает и их теломеры начинают укорачиваться. В клетках, дифференцировка которых завершена, активность теломеразы падает до нуля, и с каждым клеточным делением они с неизбежностью приближаются к моменту, когда навсегда перестанут делиться. Вслед за этим наступает кризис и большинство клеток погибает. Длина теломер — это «клеточные часы», ограничивающие число возможных делений клетки, а значит, и продолжительность ее здоровой жизни. Нобелевский лауреат 2009 года Элизабет Блэкбёрн предположила, что теломераза, помимо удлинения концов теломер, защищает их структуру, нарушение которой также грозит гибелью клетки...» Ну вот, прокомментировала цитату Арина, наш гений, как всегда, в стороне! И дальше начала рассуждать уже сама: «Но я думаю, что есть и четвертый вариант развития сенесцентной (обреченной) клетки, на первый взгляд парадоксальный: при завершении дифференцировки стволовых клеток использование теломеразы... раковых клеток. К примеру, распространенный у лиц мужского

пола рак предстательной железы самый малоактивный, он может вяло течь долгие годы, а поскольку раковые клетки, так же как стволовые, потенциально бессмертны, то на первом этапе болезни, при критически укороченных теломерах, эти клетки могут выделять теломеразу и до-страивать или защищать обреченные клетки организма, то есть болезнь будет способствовать продлению жизни заболевшего на некоторый срок, наращивая теломеры, и на первом этапе мутация клетки может сыграть положительную роль, отодвинув смерть. А вообще, в идеале хромосомы должны были бы приобрести форму кольца, у которого нет ни начала, ни конца (здесь Арина нарисовала смайлик), но это пока сказочный вариант».

Я отложила тетрадь и заплакала.

В рассуждениях Арины меня поразила не ее фантастическая гипотеза, а только одно: она писала именно о той болезни, которая через три с половиной года была обнаружена у Димона, ее отца!

* * *

Бабушка моя Антонина Плутарховна вышла замуж за моего деда девятнадцатилетней, он был старше ее, успел закончить строительный институт и поработать инженером, и вот, едва он женился, его направили в Хакасию строить новый завод и назначили туда уже не простым инженером, а главным. Ехать пришлось через всю Сибирь. Дед купил билеты в мягкий вагон, так тогда назывался СВ, и до Абакана они добрались с комфортом...

Вообще, бабушка любила мне рассказывать истории из своей жизни. Я оказалась благодарной слушательницей, впитывающей все ее рассказы о ее собственной молодости, о великой ее любви и, конечно, семейные легенды и родовые предания: у каждого рода, сохраняющего свою историю, и своя мифология, но за ней вполне реальные события и реальные живые люди, просто штрихи прошедшего и черты ушедших лиц, стираясь, попадают в руки потомков-реставраторов, которые привносят в картину и образы своего воображения.

Строительство еще даже не началось, и деду с помощниками нужно было посмотреть несколько мест, чтобы выбрать под завод одно из них. Жена ездила вместе с ним. Дороги были неблизкие, и как-то им пришлось заночевать в незнакомом селе. Гостиницы в нем, разумеется, не было.

Шофер деда постучал в первый от дороги дом, хакаска, неплохо понимавшая по-русски, указала им на противоположный конец деревни:

— Там с краю пустой дом, комнат много, богатый жил раньше, убили его, сейчас одна старуха живет, она ему младшей сестрой приходилась, никого у нее не осталось, она вас и пустит, а болит что — вылечит, она всем помогает, правда, последнее время и сама еле ходит, ведь ей скоро сто лет.

Машина (я так и вижу ее — защитного цвета, с брезентовым верхом), проехав через все село, встала у большого дома: в темноте, даже при свете еще не выключенных фар, трудно было разглядеть, каков дом с виду, но узорчатое крыльцо, выхваченное желтыми фарами из тьмы, оказалось крепким и непокосившимся. На стук никто не ответил, но дверь была не заперта.

— Бабушка, — крикнул в темноту дома шофер, — нас с того края села послали, пустишь переночевать?

— Заходите, — слабый голос с хрипотцой откликнулся. — Начальника с женой ты привез?

— Угадала, бабушка, — развеселился шофер, проходя в дом первым. — Нам бы чаю.

В горнице оказалась печь, шофер принялся хозяйничать, а моя бабушка (не забывайте, ей тогда только исполнилось двадцать) решила полюбопытствовать и посмотреть на лежащую старушку: она всех в селе лечит, значит, знахарка, то есть колдунья!

— И стало мне страшно войти к ней, когда я так подумала, — встала на пороге ее комнаты и стою, а так и тянет войти.

— Так и войди, — вдруг говорит она мне, — боишься ведь, а зайти хочешь.

Мне стало стыдно, что мои глупые опасения старая знахарка угадала, и страх мой пропал, я вошла и увидела ее: видимо, она была хакаской только наполовину, а то и на четверть, ее морщинистое лицо не было луноподобным, кстати тебе скажу, внученька, есть поразительно красивые хакасские, и сохраняло, несмотря на пергаментную кожу, все черты четкими; зеленые глаза ее смотрели на меня даже молодо, в них мне почудился какой-то странный отсвет — точно блуждали искры, впрочем, скорее всего, так отразился свет высокой толстой свечи, стоявшей на комодике напротив ее кровати. Кровать была старинной, с черной гнутой спинкой, одеяло, которым старая знахарка была укрыта, — пестрым.

— Ладно, нагляделась?

Она шевельнула желто-смуглой рукой, лежавшей поверх одеяла, и мне почему-то вспомнилось, что не так далеко за Саянами Китай, и я увидела старика китайца, несущего мешок риса, он как бы мелькнул на заднем экране сознания, и рука старухи шевельнулась снова и смахнула его из моих глаз, как слезу.

— Ты умеешь видеть, — сказала она. — Иди поешь и попей чаю, а когда твой заснет, приди сюда, тебя я и ждала... — Ее губы сложились в добрую улыбку. — Только мужу сегодня своему откажи... да он и заснет сразу, устал.

Так и случилось.

Муж провалился в сон, а я шмыгнула тихонько в комнату старой знахарки. Глаза у нее были прикрыты, а по векам и длинноватому тонкому носу скользил лунный луч. Но едва я подошла к ее кровати, она открыла глаза.

— Случилась в моей жизни един-единственная любовь, — заговорила она. — Полюбила я китайца, жил он здесь в соседнем селе, а работал у моего брата, но, когда красные пришли, власть поменялась, брата моего убили... И он бежал в Китай... И пало на меня великое одиночество. Думала, не выдержу я, умру, но пришел ко мне во сне мой дед, самый сильный шаман рода чорос, и приказал мне жить сто лет и лечить людей. Каждую травку малую стала я знать, каждый недуг людской стал мне подвластен, но срок жизни моей, дедом назначенный, иссяк, как иссякает колодезь, и люди идут и начинают искать новое место для другого колодеца — так и я не могу уйти на тот свет не передав хоть части моих знаний, ведь мои знания как колодезная вода, они нужны людям. Но в селе нашем живут грубые люди, по всей округе не нашлось того, кто способен видеть дальше своего двора, и вот послал мне дед тебя, так слушай, деточка, что сможешь запоминать, но знай: нельзя то, что услышишь, доверить бумаге, только памяти можно.

Всю ночь до рассвета передавала мне старая ведунья (не ведьма, внученька, а ведунья) свои знания, запомнила я многое, да не все, конечно, но кое-кому смогла помочь. И высшее мое образование мне нисколько в этом не мешало. А вот врачи часто не верили и удивлялись внезапному и просто чудесному выздоровлению. У твоего отца тыльные стороны кистей и руки до локтей были в бородавках — некрасиво как-то, он смущался своего безобразия (бородавки в моем сознании выросли тут же в шишки Димона, выступавшие из-под кожи рук и спины). И мази твой отец самые дорогие втирал, и прижигать к специалисту-дерматологу ходил — одна бородавка исчезнет, вторая появится, а я взяла суровую нитку, как старая знахарка тогда в Хакасии меня научила, повязала над каждой бородавкой узелок...

— И что? — спросила я, вспомнив, что никогда не видела у отца ни одной бородавки.

— Ни одной не осталось.

— Здорово! А что ты еще знаешь и умеешь?

— Умею кровь останавливать, ты это видела, и не раз, пульс менять, давление без всяких лекарств приводить в норму... В общем, кое-что помню. И от смертельной болезни знаю рецепт. Помогла одному хорошему человеку. Женщина с мужем, отсидевшие в лагерях по десять лет по 58-й статье, это были невинные жертвы, политзаключенные, вышли на свободу, он уже был тяжелобольной, мы с ней когда-то работали вместе, а у них после лагерей ни дома, ни имущества, ни денег — все конфисковали и разграбили, они решили уехать в село, я их пустила к себе на два дня, чтобы они в городе собрали нужные документы и немного пришли в себя, а ведь были еще и те, кто руки им не подавал, шарахался от них точно от прокаженных, хотя Сталин уже умер. Вечером она и сказала, что у мужа рак, врачи дают ему три месяца жизни. Вот и научила я ее, как вылечить его тем средством, которое от старой знахарки узнала, опасное средство, яд, передозируешь — смерть, не доберешь — не насту-

пит выздоровление, она все запомнила, и они уехали с мужем в деревню. Через полтора года вернулись в город, он прошел обследование — рака у него не оказалось, он полностью выздоровел.

Бабушка назвала мне чудодейственное лекарство, которое помогло бывшему политзаключенному выжить. И сразу, как Димон сообщил свой диагноз, я оставила ему устное сообщение, рассказав об этом средстве и предупредив, что, если он его найдет, нужно, чтобы весь процесс лечения был под строгим контролем, желательнo врачебным, особенно необходимо следить за работой почек. Димон не ответил.

Почему?

Или черная тень страха смерти — ненависть закрыла от него путь к помощи? Или он не поверил и предпочел ВИП-лечение от Инны Борисовны? Или его любовница удаляла все мои сообщения?

Но с разводом Димон все тянул. Пока был в силах. Родившемуся ребенку было семь месяцев, когда по городскому телефону мне позвонили из районного суда города Н. и сообщили, что он на развод подал. Димон уже не вставал.

* * *

Перед разводом я много думала о Димоне, иногда вспоминая что-то совсем пустячное, такую вот пушинку ольховую... В пору наших с Димоном катаний иногда я просила его остановить машину перед тем домом, с которым у меня что-то было связано; порой я делилась всплывшим образом воспоминания с Димоном, порой нет, никогда он ничего из меня сам не выматывал, и не потому, что отличался тактичностью и деликатностью, к сожалению, таких черт в нем не было вовсе, а из-за эгоцентрического интереса, нарциссически замкнутого исключительно на самом себе. Впрочем, может быть, о себе я думаю слишком хорошо и моя вечная погруженность в себя воспринималась Димоном тоже как нарциссическое безразличие к нему, ждущему ярких проявлений чувств и утрированно подчеркнутой заботы?

В один из вечеров я легко уговорила его свернуть в расположенный всего в двадцати километрах от города дачный поселок, где в доме с мезонином мы дважды снимали дачу: первый раз — когда мне было три года, второй — через семь лет. Было начало ноября, дороги слегка подморозило, но выпавший неделю назад снег тогда же и растаял, а новый не спешил ему на смену. Кончалась вторая половина дня, как говорится, предзимнее солнце уже клонилось к закату, но было еще светло и очень тихо; поселок, почти полностью покинутый дачниками, почему-то грусти совсем не навевал, как навевают обычно опустевшие дачи, и казался умиротворенным, словно отдыхал.

Дом с бледно-синим мезонином сохранился, и я нашла его быстро: мы только свернули на третью улицу поселка, и я сразу узнала своего

старого знакомого. Помню прямую и крутую лестницу, ведущую на второй этаж, она была деревянной и скрипучей, а ее коричневые, местами изъеденные жучками перила — такими шаткими, что за них опасно было держаться, но хозяйка, круглолицая и ко всему равнодушная, кроме телевизора, не спешила уговаривать своего щуплого молчаливого мужа, мелькавшего порой во дворе, их подремонтировать. Но ни хозяин, ни его жена не были злы: когда в первый наш приезд ко двору прибилась черная щенка-дворняга с перебитой лапой, он постелил ему какое-то тряпье под лестницей, а хозяйка поставила миски для воды и еды, и мы с мамой по вечерам спускались по этой скрипучей крутой лестнице, чтобы налить Жучке в одну из мисок молока, а в другую положить остатки курицы или котлетку. Щенок медленно выздоравливал, одновременно превращаясь в юную, но уже взрослую дворнягу. Откуда взялось его имя, я не помню. Может быть, моя мама, любившая и знавшая наизусть и многие пушкинские стихи, и отрывки из его поэмы и сказок, назвала так собаку? Но кличка прижилась.

И когда Димон притормозил у старого дома, в котором, судя по дымку из трубы баньки, кто-то жил и сейчас, я вспомнила все это и ощутила теплую мягкую ладонь мамы, сжимавшей мою трехлетнюю ручку, опасаясь, как бы я случайно не упала, облокотившись о шаткие перила. Вечер, тихий оранжеватый свет над скрипучей лестницей, а под ней желтоватый и тусклый, мы спускаемся, чтобы покормить Жучку, и я чувствую себя такой счастливой: маленькая черная собачка мила мне, мама у меня добрая, и она со мной, летний вечер уютен, и его чудные запахи — легкого дымка, листвы, придорожной полыни, цветов, недалекого хвойного леса — проникают в дом... В то первое лето мы жили в доме с мезонином без бабушки: она работала, а мама готовилась к восстановлению в консерватории — и отдыхала. Отец тоже работал, но приезжал часто; когда его машина подруливала к дому, хозяйка на несколько минут отпадала от телевизора: отец привозил деньги и продукты из города, его заказанные.

Наше второе лето здесь было уже не таким: хозяева воспринимали нашу семью, оставшуюся без отца, совсем равнодушно, может быть даже с легким оттенком пренебрежения, и я, худенькая очкастая девочка, чувствовала их ухудшившееся отношение к нашей семье обостренно — не оно ли, запав мне в душу как горькое детское впечатление, и останавливало меня, не давая первой подать на развод с Димоном?

Бабушка, мужественно взвалившая на себя роль отца, справиться с этой ролью была не в силах: начитанная, артистически одаренная, она обладала полным техническим кретинизмом в быту — не понимала, как прилепляются шторы к карнизам, впадала в панику от капающего крана, а чтобы вернуть в патрон лампочку, вызывала электрика, щедро ему, по-барски, платила и звала Жулебиным, хотя фамилия его была то ли Петров, то ли Сидоров.

Понимая свои слабости, бабушка прятала их за авторитарным стилем руководства семьей и постоянно напоминала, что мы с мамой такие неприспособленные к жизни, что без бабушки, случись что с ней, обязательно погибнем. Так потом и Димон твердил нам с Аришкой. На самом деле и она и он просто обязательно должны были чувствовать себя нужными, и я глубоко убеждена: если теща или свекровь разваливает семью своей дочери или сына, чаще всего они делают это исключительно ради себя. Некоторых страшит одиночество, другим нужна власть над своим взрослым ребенком, третьи — как бабушка и Димон — продлевают себе жизнь убеждением: ныне они витально необходимы. И теперь на одной чаше весов Димона лежал смертельный диагноз, на второй — грудной ребенок, и Димон рассчитал, что чаша с младенцем, пусть и зачатый во все не от него, а от того парня, увиденного им на пляже Хургады рядом с показывающей упражнения гимнасткой, перетянет.

* * *

Первым догадался, что новая, еще не официальная жена Димона — девушка-гимнастка с пляжа Хургады, Юрий: он просто набрал имя-фамилию женщины, которая фигурировала в Димоновом заявлении о разводе, в поисковике Интернета. Димон просил развода, утверждая, что они с такой-то уже живут как муж и жена, потому-то у них родилась дочь. А дня через три после информации из суда мне позвонила какая-то незнакомая женщина, по голосу немолодая, и быстро сказала, что Дмитрий Андреевич просит не тянуть с согласием на развод, поскольку на него давят, и если я не дам ему сразу развод, то ускорю его конец. Я не хотела ускорять его конец. И развод дала сразу... Дочь Димона от первого брака, ставшая владелицей предприятия, уже выбросила нас с Аришкой, и, когда я позвонила в бухгалтерию, главный бухгалтер сообщила: ей приказано больше денег на мою банковскую карту не посылать.

— Мы Дмитрия Андреевича не видели с ноября, — добавила она. — Знаем, что он болен, руководит его дочь, но она в Москве, видим ее по скайпу, а тут приходила какая-то женщина с его запиской и вынула все деньги из оборота... Сказала, что она его жена, но вы же его жена!

— Он подал на развод, и я дала согласие.

— Предприятие делить будете? Ведь оно основано в браке?

— Не знаю, — сказала я.

А Юрий нашел в Интернете фирму — некий танцевальный клуб, в котором числилась и Алла Кирилловна Беднак (так звали Димонову невесту), двадцати семи лет, преподававшая там аэробику. На сайте клуба было размещено еще прошлогоднее объявление: клуб искал квартиру в Москве или Подмосковье, чтобы расширить горизонты своего нового проекта, которым должны были заниматься преподавательница аэробики Алла Беднак и некий Влад Киселев, танцор. Наличествовали и фотографии.

— Теперь мне понятно, почему она сообщила ему о своей беременности, узнав, что Димон для Аришки купил квартиру, — сказала я грустно. — Димон стал жертвой проекта. Может быть, и Анатолий ни при чем?

— Думаю, что очень даже при чем, — покачал головой Юрий. — Он ее навел на Димона. Но пока не было еще одной квартиры, они раздумывали, брать Димона за жабры или не брать, но эта новая московская квартира решила все — Димон тут же стал отцом!

— А Влад Киселев? — спросила Юлька, отвлекшись на минуту от приготовления пирогов. (Кулинарные способности у нее имелись всегда, а теперь расцвели всеми красками — ее любимой телепередачей стала «Едим дома».)

— Влад Киселев отцом еще не рожденного ребенка в тот же миг быть перестал, — Юрий усмехнулся в усы, — он бросил Аллу Беднак на прорыв.

— А дальше что? — спросила я, ощущая тревогу и усиленно пытаюсь ее от себя прогнать.

Но тревога подступила ко мне и, перейдя границу, которую я не успела защитить, начала медленно вползать в мое тело, неприятно сигналила о ждущих меня бедах убыстрившимся сердцебиением. Моя бабушка сейчас так легко бы привела пульс в норму, подумалось мне, а я...

— Дальше? — Юрий нахмурился. — Как только твой Димон заключит с ней брак, он будет им уже не нужен. Как вдова, она получит свою половину вашей семейной собственности. Дальше им нужно сделать так, чтобы ты не получила свою, а получила ее опять же она, Алла Беднак, а вот каким образом, трудно сказать. Но в том, что этот Анатолий имеет к ней прямое отношение, ты вот-вот убедишься: чем-то он себя выдаст.

* * *

Свадьба Димона с Аллой Беднак вполне была в духе Димона, любителя пошлых сентиментальных телесериалов: бедная девушка-гимнастка с грудным ребенком на руках выходила замуж за богатого, уболенного сединой умирающего, все вокруг — нянечки, медсестры и больные — рыдают; дело происходило в хосписе, клинике для обреченных, куда Димон попал после ВИП-лечения.

Димон и сам всегда плакал, когда герой и героиня соединялись в целующихся голубков. Я иногда подтрунивала над ним, что это уже возрастное слабодушие. Ему было за что меня возненавидеть.

На свадьбе присутствовала Клавдия. Помните домработницу, уехавшую в Молдавию? Она оказалась в городе Н., потому что там умерла ее тетка, уехавшая из Молдавии года три назад. Клавдия мне и позвонила и рассказала, как прошла свадьба прикованного к постели Димона с Аллой Беднак.



— Ваш обречен, — сказала Клавдия. — Пятого марта я к нему зашла, у него, врач сказала, второй месяц память отказывает, сознание путается, все от химии и облучения. А сейчас он уже не говорит, только губами еле шевелит. До апреля не доживет.

Сообщил мне о смерти Димона Анатолий. Он позвонил семнадцатого марта.

— Андреича похоронили вчера, — сказал он, — кремировали.

— Почему не сообщили ни мне, ни его дочери?! — вскрикнула я.

— Он не хотел. Не велел. А вы, Андреич говорил, — Анатолий сделал паузу, голос у него был простонародный, с каким-то северным выговором, — иск в суд будете подавать, чтобы супружескую долю свою получить, так вот, вы ничего не получите, Андреич сам иск в суд седьмого марта подал, что вы с ним не жили, — Анатолий усмехнулся, — и вся собственность лично его, Андреича. Кроме той квартиры, в которой вы с дочкой живете: он написал в заявлении, что она была куплена в браке...

— На деньги от продажи квартиры моего отца!

— ...и делится пополам.

— Как мог он подать иск за неделю до смерти, когда он уже был в полубессознательном состоянии, на морфине и ни ходить, ни говорить, ни диктовать не мог?! —

— Через представителя. Так что вы ему никто. Он вас женой до конца считал, знаю, но какая вы жена, если суп ему варила моя Зойка? И вы ничего не докажете. — Голос Анатолия стал жестким. — Инна Борисовна там постаралась, она и представителя Андреичу нашла, Андреич ей квартиру на Алтае завещал за лечение, рядом с Белокурихой. А вы, — Анатолий сделал паузу, и я услышала, как вдалеке прогудел поезд (железная дорога проходила недалеко от Голубиц), — того... лучше совсем ничего не затевайте! Опасайтесь!

— Кого я должна опасаться?! — спросила я и сразу поняла кого — конечно, его.

— Вообще опасайтесь. Будьте поосторожней. А квартиркой-то столичной поделитесь...

— Димон умер, — сказала я Аришке, почему-то назвав его по имени.

— Нет! Он жив!

Ее глаза смотрели куда-то в пространство. Точно там стоял Димон — и она его видела.

И в ту же ночь мне приснился Анатолий, будто стоит он около нашего деревенского дома, справа от него Алла Беднак и рядом с ней в штанах «Адидас» и спортивной майке мускулистый, молодой, коротко стриженный мужчина, почти парень, лет двадцати девяти, и я знаю во сне, что это Влад Киселев, и Анатолий говорит им: «Если она только получит, я ее убью. А с девчонкой потом разберемся». И от соседнего дома отделяется фигура — это криминального вида коротышка лет пятидесяти,

и я опять знаю, что именно он должен выполнить то, что пообещал Анатолий. Да я сам ее пристрелю, отвечает Владик Киселев. Пусть только попробует.

Через месяц мне прислали из города Н. повестку в суд и копию иска Аллы Кирилловны Беднак, получившей по завещанию, составленному Димоном за месяц до смерти, всю нашу семейную собственность, но на всякий случай требовавшей включения моей супружеской доли в наследственную массу в интересах годовалой Алисы... которая вырастет и станет такой же наглой и хитрой Аллой, прихватит чужого шестидесятилетнего мужа, разорит чужую семью. Представительницей Аллы Беднак была третья адвокатша Варвара Налимова, уже несколько лет обогащавшаяся путем защиты интересов полукриминальных бизнесменов, ловко опускавших своих конкурентов и отжимавших у них бизнес. Опустить и отжать — четкая формула нашего времени! Варвара — Варавва...

Неужели все до сих пор в мире так, печально думалось мне, Варавве дарят свободу, а Иисуса обрекают на распятие?

Старшей дочери он завещал предприятие. Инне Борисовне кроме квартиры — алтайский участок. Если бы жива была Галка, все было бы иначе! Она видела эту хищницу насквозь. Все остальное — Алле Кирилловне Беднак, требовавшей кроме полученного долю в той квартире, в которой сейчас лежала моя бедная больная дочь.

* * *

Однажды маленькая Аришка сильно заболела; у Димона были неприятности на производстве, он нервничал и, смотря вечером телевизор, прижимал девочку к себе; постепенно с его лица сошла краснота — признак повышенного давления, но пунцовым стало лицо Аришки, у нее поднялась температура выше тридцати девяти и держалась ровно неделю — пока на работе Димон улаживал конфликт.

У них всегда была сильная эмоциональная связь, и сейчас Аришка как бы умирала вслед за ним. Парапсихологи называют это некротической привязкой, психологи — индуцированной болезнью, а моя Юлька уверена, что, когда срок жизни Димона вышел и, говоря языком пятнадцатилетней Аришки, его теломеры уже потеряли свои окончания, Димон встал на путь черного колдуна, и если я пытаюсь возражать, она упирается и, вытирая свои крохотные изящные ручки о красивый цветной передник, достает тайно от Юрия одну сигарету, спрятанную наверху кухонного шкафа за мягкой игрушкой — смешным и милым медвежонком, закуривает и выдвигает свои доказательства.

— Я буду говорить отстраненно, как бы не о тебе: он надеялся жену отправить *туда* вместо себя. А сначала, зная, что у него уже исчерпан запас отпущенной ему психической энергии, стал подпитываться от жены, а когда она, чувствуя опасность, выставила его за пределы своей психи-



ческой сферы, стал подпитываться от молодых девах, причем сам же подтвердил это, рассказав в «Живом журнале», что ходил к экстрасенсу, чтобы узнать, какого качества энергия у его очередной любовницы; Аришка однажды — ты помнишь? — когда была лет одиннадцати (уже после того, как у него заболела рука и он получил свой мистический знак), сказала с гордостью: «Мой папа — черный маг!» — она тогда увлеклась готикой вслед за подружкой; когда у вас умерла морская свинка, он решил, что дух бабушки его жены помог и потому произошел «перевод болезни» жены на бедную свинку, а «перевод болезни» — прерогатива только черной магии, значит, он хорошо был об этом осведомлен; а главное, в одном из своих исповедальных очерков он признался, что ему самому нельзя кармически иметь много денег, если он переступит эту черту, то вскоре погибнет, и потому он заключил «дьявольский договор» с женой (это его собственные слова!), что зарабатывать, строить, покупать будет не для себя, а только для нее и дочери, — и порой его удивляло, что с ними еще ничего не случилось...

Мы не заметили, что в дверях кухни стоит Юрий. На Юлькин сигаретный дым он интеллигентно не отреагировал.

— Помнишь, ты рассказывала, как твой Димон сообщил тебе во сне, что переступил черту и теперь погибнет? — спросил он.

— Конечно.

— Так вот, он был уверен, что переступил черту отнюдь не нравственную — про нравственность свою он не думал в последние годы вообще, поскольку его единственной целью было выжить, продлить свое земное существование любой ценой, — черта была как раз та, о которой сказала сейчас Юля. Но гибель свою он не считал наказанием за то, что предал жену и дочь, а полагал следствием нарушения им самим той «дьявольской сделки» с женой, когда он, чтобы не нарушить запрет своей судьбы — не иметь для себя ничего сверх прожиточного минимума, — проявил жадность и решил стать «победителем», то есть захватить все. Возможно, он уже чувствовал, что конец его близок, — и соблазн умереть королем пусть не крупного, но королевства был велик. И оказался сильнее желания выжить.

— Потому ему бы и средство твоей бабушки не помогло, — сказала Юлька. — А ненужная операция погубила его. Он ведь сказал тебе во сне, что не умрет, а погибнет.

— Не факт, что вообще это средство бы помогло, — добавил Юрий, — но шанс был. Даже если у него и не было рака.

Я молчала.

— И что самое интересное: я уверен, этот Анатолий наврал ему, что сам болел раком и выздоровел, когда всю собственность переписал на жену. И Димон фактически в последний момент переписывает все на подложенную ему Анатолием аферистку: я нашел в Интернете, что Алла Беднак судима и получила несколько лет назад год условно за ма-

хинации с компьютерами. И знаете, мои дорогие, — он вздохнул и улыбнулся, — Димон не был никаким черным колдуном, я материалист, а был он просто дураком, который верил во все суеверия, а суевериями сейчас полон мир и они управляют подсознанием тех, кто прячется от самих себя. И вследствие своей глупости Димон и попал под влияние Анатолия.

Я писала ему сообщение за сообщением, пересмотри свою жизнь в последние годы, ведь ты предал все идеалы своей юности, полностью отошел от того духовного пути, которым шел. Старый священник мне сказал, что знает случаи полного выздоровления от этой болезни, но выздоровление возможно, только если больной изменится сам — воспримет посланное ему страдание как очищение от налипшей на его душу скверны; сначала должно произойти духовное исцеление, писала ему я, ты должен в первую очередь победить ненависть, которая разрасталась в тебе, болезнь и есть твоя ненависть! Ты пошел по ложной дороге, посчитав себя *виннером* (у него был даже такой электронный адрес), стал служить только золотому тельцу, а не честному труду, не поиску истины. Ты сам говорил мне двадцать лет назад, что смысл твоей жизни — поиск истины! Если ты вернешься на ту дорогу, которой шел в молодости, душа твоя преобразится, тело победит болезнь — и ты будешь здоров. В каждом сообщении я повторяла: ты *можешь* выздороветь, Димон! Но параллельно духовному самоисцелению, не отказываясь и от медицинской помощи, ты обязательно должен найти то средство, которое знала моя бабушка. И каждый раз почта штамповала: «Ваше сообщение получено. Ждите ответа».

— Выздоровления Димона хотели только вы с Ариной, и как раз дочь он бросил, а тебя возненавидел, — грустно сказал Юрий. — А ведь остальным нужна была его смерть. Потому он был обречен.

* * *

Когда родилась Аришка, наши с Димоном катания по случайным дорогам области не прекратились и, если он предлагал прокатиться, я с удовольствием соглашалась. Но теперь мы брали с собой ребенка. И вот что странно: когда мы болтались на машине с Димоном вдвоем — близ города Н. или в Подмосковье, — ни разу он не свернул на какую-нибудь неизвестную дорогу, где автомобиль бы застрял, попав в непригодную колею. Но теперь, когда с нами была малышка, с Димоном стало происходить непонятное: внезапно он сворачивал с шоссе на совершенно незнакомую проселочную дорогу, проехав по которой с полкилометра, машина начинала буксовать и в конце концов увязала так, что самостоятельно выбраться из ямы не было никакой возможности.

Первый раз мы застряли осенью, Аришке было десять месяцев, и, поскольку Димон сказал, что мы едем на часок, не более, так, прошвырнемся и все, я никакой еды с собой не взяла. Едва колеса завязли



в какой-то трясине, утопившей колею, я с отчаяньем поняла: ребенок вот-вот захочет есть, а выбраться отсюда самим шанса нет — колеса погрузались все глубже и глубже, машина накренилась, Димон бегал и собирал с земли сухие ветки, пытаясь, засунув их под колеса, хотя бы как-то приостановить медленное, но упорное наше погружение в болотистую грязь. Я стояла, держа на руках Аришку, и уже готова была заплакать от страха и отчаянья.

Спасло нас чудо.

Внезапно на дороге появился мотоцикл с коляской, им управлял мужчина, одетый легко, хотя был октябрь, — в джинсы и обычную майку без рукавов, у мужчины были огромные мускулистые руки и очень широкие плечи, хотя, когда он сошел с мотоцикла и подошел к нам, стало видно, что, несмотря на богатырское сложение и мощнейшие бицепсы, роста он среднего. Не сказав нам ни одного слова, он быстро наклонился, подхватил нашу машину, приподнял ее и передвинул на сухое место дороги. Отряхнув руки, он улыбнулся мне, сел на мотоцикл и умчался. Года через два в журнальчике «Тайны двадцатого века», где, кроме статей про оборотней и вампиров, появлялось много интересного, я с удивлением обнаружила письмо читательницы, рассказавшей, как завязли они однажды на совершенно пустой лесной дороге и уже почти потеряли всякую надежду выбраться, как вдруг раздался гул мотоцикла и неизвестно откуда появился богатырского сложения мотоциклист в синих брюках и трикотажной белой майке, который, спешившись, просто вытащил их машину, точно весила она всего несколько килограммов, а затем, не проронив ни слова, уехал...

Второй раз наша машина застряла зимой — и как раз тоже на глухой лесной дороге. Димон совершенно безбашенно свернул с широкого шоссе, черного и влажного от растаявшего снега, и повел машину вглубь леса.

Арише было два с половиной года.

Снега тогда выпало очень много, потом подморозило, но вдруг резко потеплело — сугробы стали чернеть и оседать. Заехав в самую глубь сосняка, машина забуксовала. Димон выскочил, глянул, сообразил, что ситуация аховая, и, конечно, начал орать, обвиняя меня в том, что я не остановила его, когда он решил на эту идиотическую дорогу свернуть.

— Я просила тебя ехать только по шоссе.

— Шла Шаша по шоссе и шашала шушку! — проорал он. — Не слышал я твоего предупреждения!

Мы выехали после четырех дня — и теперь быстро темнело. Димон, освещая себе путь зажигалкой, снова бегал, суетился вокруг колес, совал под них ветки, сажал меня за руль, а сам пытался толкать машину. Деятельность он развел бурную, но совершенно безрезультатную. Стало совсем темно. Ребенок заплакал. Димон включил фары. Я успокоила Аришку, усадила ее на заднее сиденье, и она задремала.

— Завязли?

Голос сначала прозвучал из темноты, но тут же в круге света появился и говорящий — сухонький дед, опирающийся на палку.

— Здесь и трактора-то не ездют, — сказал старик, — и не ходит никто.

Димон смотрел на него точно остолбенев.

— А вот если ехать прямо по моим следам, куда я сейчас иду, там будет поселок, а из него в сторону, против лесу, выходит уже асфальтированная дорога.

И старик спокойно пошел дальше: его беззвучные шаги казались очень медленными, но скрылся он из виду почему-то достаточно скоро.

И тут я вспомнила, что в багажнике лежит толстая деревянная доска, купленная в хозяйственном магазине с отдельным набором деревянных крючков, на которые предполагается, прикрепив их, вешать всякие ложки-поварешки и полотенца. Я достала доску и, не сняв с нее целлофана, сунула под заднее колесо. Димон, увидев это, наклонился и запихнул доску еще глубже.

— Садись за руль, а я подтолкну, — сказал он вяло, без всякой надежды в голосе.

И я села за руль, и — о счастье! — машина поехала.

— Блин! — крикнул Димон. — Скорей пусти меня, пока ты снова куда-нибудь не вляпалась!

Мы медленно ехали в том направлении, куда недавно ушел старичок, и когда показались огоньки поселка, Димон повернулся ко мне и, чуть притормозив, спросил:

— Старик-то откуда взялся в лесу в темноте? Небось тебе вспомнились истории про лесных призраков умерших людей, в пионерлагере в детстве слышал. Все заснут, а я лежу ворочаюсь.

— Да шел из соседней деревни через лес, — сказала я, — местные хорошо знают дороги.

— Испугалась сначала?

— Немного. Но... — я засмеялась, — в свете огней все устрашающие проекции тают...

* * *

Из-за того что в деревне появился Анатолий, я запретила Аришке туда ездить. Но не только Анатолий был причиной: я уже рассказывала, что два несчастных молодых гастарбайтера-узбека, что показывали нам клетки с кроликами, были незадолго до гибели Оли, сестры Люси, найдены мертвыми — кто и за что с ними разделался, осталось неизвестным: полиции нет особого дела до мигрантов из бывших союзных республик.

Да и сама Аришка не горела желанием ехать туда после нашей последней поездки. Но Димон в своей вечной спекулятивной манере рас-

трезвонил по всем знакомым, что отвратительная мать не дает отцу видеться с дочерью! Меня осуждали. Особенно, конечно, старалась «чадолюбивая» Инна Борисовна, заставившая свою дочь, поскольку богатый любовник не изъявил желания жениться, сделать аборт, прервав на большом сроке беременность. Обо всем мне рассказывал сам Димон, любивший сплетничать, как сидящие на скамейке возле подъезда старые мещанки.

— Инка тебя сильно осуждает, что ты отрываешь от меня Аришку, — говорил он мне, — для нее тема детей болезненная. И все мои друзья осуждают, не только Инка! Как так — не пускать дочь к отцу на субботу-воскресенье!

— Ты, Димон, — сказала я ему тогда, — как хормейстер, создал хор осуждающих меня и сам же попал под его влияние. Я не пускала Аришу потому, что сначала в деревне обосновался твой судимый кроликовод, теперь криминальный Анатолий, она же еще почти девочка, и я не хочу для нее таких контактов.

— То есть отцу ты ее безопасность не доверяешь, понятно.

И, вдохновляемый хором, Димон однажды просто украл Аришку — то есть сначала повел ее в трактир «Елки-палки», с него он, кстати, слизал оформление столовой гостевого дома, все эти глиняные горшки и подсолнухи, правда, по соседству с дорогим бильярдным столом, поставленным возле некрашенных лавок, они казались мне нелепыми до смешного — точно кокошник на голове мотоциклиста. А после трактира просто погнал машину по МКАД, вырулил на Рязанку и помчал.

— Ма, — позвонив мне из машины, шепотом сказала шестнадцатилетняя Аришка, — сделай что-нибудь, я не хочу туда ехать.

— А сама ты не можешь попросить, чтобы он вернулся?

— Он орет. Потребуй ты.

Я позвонила тут же Димону и потребовала, чтобы он вез Арину обратно. Не знаю почему, но именно в этот раз Димон обиделся на меня так сильно, как не обижался никогда. Развернувшись в Бронницах у собора, он довез Аришку до конечной станции метро юго-восточной ветки — и уехал. И мне стало его жаль. И когда его не стало, мне почему-то все время вспоминалась последняя, прерванная мной поездка Ариши в деревню — и сильнейшая обида Димона. И я поехала в Бронницы, чтобы там, в том соборе, ставшем последней точкой на совместном пути отца и дочери, после которой он резко свернул и помчался от нас уже к своей гибели, попросить у души Димона прощения. Я убеждала себя, что абсолютно не виновата в его смерти, наоборот, послала ему панацею от его болезни, до его последнего дня писала ему, что он может выздороветь, что нужно преобразование души, тогда и тело станет другим, как бы отбросив больное, как изношенное пальто. Я вспоминала, что даже его Алла Беднак я посоветовала в сообщении, отправленном Димону, найти лучшую книгу по уходу за ребенком от первого дня до года, по которой растила

Аришку — и она ни разу не болела будучи грудной. И все равно чувствовала перед Димоном вину: Димон видел вместо меня свое ненавидящее отражение — оно и послало ему обратно его черную стрелу.

Нет, говорила я себе, он не был мерзавцем. Он был просто трусом. На дорогах, когда он перегонял машины из столицы на восток, или в странствиях по тайге он проявлял мужскую смелость — но там, где началось пространство знаков и образов души, почва становилась зыбкой, за каждым кустом таилось нечто неизведанное, в силу его непознанности и непроявленности представляющееся Димону значительно более опасным, чем реальные братки на трассе или Анатолий рядом. А когда смерть посмотрела ему в лицо, он стал испытывать уже не мистический страх с паранойяльным оттенком, а страх тотальный — и попытался рвануться к жизни, как Тургенев с корабля, оттолкнув меня и Аришку и ухватившись за Аллу и ее грудного ребенка, как за канат и спасательный круг. Спасательный круг оказался чугунной гирей, а канат удавкой. И труп Димона в ускоренные сроки сожрали акулы.

И конечно, утешала я себя, иск, поданный от его имени в суд за семь дней до смерти и даже подписанный не им, а его представителем, был аферой: сам он этого сделать уже не мог.

* * *

Я поехала в Бронницы. Был очень холодный день, ехать нужно было от метро «Котельники», до которого от моей станции минут тридцать. Автобус пришлось ждать стоя на ледяном ветру. Я оделась слишком легко — и замерзла. На выезде из Москвы образовалась пробка, автобус в нее встрял надолго, а потом еле полз еще минут пятнадцать, пока не выбрался на свободное Новорязанское шоссе. Через Бронницы мы обычно проезжали с Димоном и Аришкой, когда ехали в деревню, видели возвышающийся над центральной частью города собор Михаила Архангела, я мельком рассказывала дочери, что о городе знала: конный завод, с давних времен поставлявший лошадей царской семье, внук Пушкина, отметившийся там как губернатор, Фонвизины, Пущин... Но, к стыду своему, вышли мы в Бронницах всего один раз — чтобы поесть в «Макдоналдсе». Димон не тяготел к истории вообще, терпеть не мог музеи, почти ничего не узнавал о том месте, где оказывался. Он бы не знал даже событий, связанных с домом, который, как сам он выражался, его к себе притянул, если бы не старик Цыганов, рассказавший ему о первом его хозяине — Лукине.

— Мне достаточно ауры места, — говорил Димон, — я в нее погружаюсь как в книгу, растуаю — это сильнее любой истории.

Что ж, возможно, он был прав.

В Бронницах я сразу пошла в собор, заказала сорокоуст, поставила свечу к распятию и, глядя на ее едва колышущееся пламя, моли-



лась и просила душу Димона простить меня за то, что я не дала побыть им с Ариной в деревне. И за все, за все просила меня простить. Ведь иногда я могла обидеть его своим ироничным словом, несовпадением взглядов, критикой его женских романов, особенно последнего, где он, как Пигмалион, лепит из Люси звезду или светскую львицу... Сейчас, когда я стояла и смотрела не отрываясь на тающую свечу и едва сдерживала рыдания, а слезы уже текли и текли из моих глаз, мне и его любовные романы представлялись не такими пошлыми, и сам Димон казался просто беззащитным перед жизнью, навязавшей ему свои продажные шаблоны и жестокие правила. Тот Димон, с которым мы когда-то катались не по загородным дорогам, а по краю разваливающейся страны, еще был подвержен чистым идеалам: он хотел выглядеть серьезным и думающим писателем, бессребреником-философом; новое время в новой стране навязало ему вместо идеалов и поиска истины «тренды» и «бренды» — и респектабельный немолодой мужчина с красивым стремительным профилем, одетый из бутиков, объездивший весь мир, имеющий в кармане банковские карты с увесистым содержимым и очередную молодую любовницу, изгнал из своей души навсегда того философа-романтика, который, ночуя один в тундре, вел одинокие беседы с самим Богом. И я — как вечное напоминание о прошлом — вызывала у Димона все большее отторжение: я была его памятью о том Димоне, которого он — кто знает, может быть с болью и таймым от всех и даже от себя самого горьким сожалением? — изгнал раз и навсегда из своей души и о котором, как о съеденном в детстве любимом кролике, хотел забыть навсегда.

Но, может быть, изгнанный все еще бродит по свету, ночуя, как бедуин, в старом городе Петре, где когда-то будто жила и я, так отчетливо мной чувствуется под ногами песок, так ярко видны сидящие возле костра бедуины. Или он пасет овец в кавказском предгорье, сочиняя стихи, глядя на звезды, или быстро идет вдоль железной дороги по сибирской тайге, потому что ищет не денег, не славы, не любовных утех, он — в которой из своих жизней? — ищет истину, надеясь все-таки получить ответ на вечный вопрос: зачем человек?

Я стояла в соборе Михаила Архангела и плакала. Но пора было идти. Когда я выходила и оглянулась, сочувствующий взгляд немолодой свечницы коснулся меня. Возле собора чуть в стороне располагался небольшой некрополь, я подошла к одной из могил — и вдруг внутри оградки мелькнула женщина в одежде XIX века, мне показалось, что она положила к надгробию цветы. Положила цветы — и сразу же исчезла. Я видела ее явственно. Это была могила Пушкина, милого друга Пушкина. Теплое чувство охватило меня, мне вспомнились пушкинские строки, посвященные любимому другу и пересланные ему на каторгу в Сибирь:



Мой первый друг, мой друг бесценный!
 И я судьбу благословил,
 Когда мой двор уединенный,
 Печальным снегом занесенный,
 Твой колокольчик огласил.
 Молю святое провиденье:
 Да голос мой душе твоей
 Дарует то же утешенье,
 Да озарит он заточенье
 Лучом лицейских ясных дней!

На обратном пути я думала о мелькнувшей женщине: конечно, это была Наталья Дмитриевна Фонвизина, последовавшая за своим мужем Фонвизиним в Сибирь, безутешная вдова, пережившая мужей-декабристов, не любившая, хоть и уважавшая первого и обожавшая Пущина. Она возникла не как галлюцинация, а как фантомный образ, такие тупы умели создавать маги Тибета, но *кто* создал фантомный образ сейчас? Я сама? Вряд ли. И тут мне вспомнился сочувствующий взгляд старой церковной свечницы. Не она ли? Может быть, ее дед-священник видел, как в этом же соборе в Бронницах ставит свечу к распятию, горько плача об умершем Пущине, Наталья Дмитриевна? И рассказывал об этом внучке? И я — плачущая над свечой — пробудила в ней то давнее воспоминание, а оно вернуло скорбный женский образ, живший долгие годы в памяти ее деда и пробужденный уже в ее собственной памяти сильнейшим сочувствием? Добрая, добрая старая свечница.

Или... или все-таки то была душа Натальи Дмитриевны Фонвизиной? Кто ответит?

* * *

Пока дом на Оке реставрировался и достраивался, мы снимали дачу, похожую на маяк, в ближайшем поселке. Почему-то в нашей деревне никогда не было ни одной радуги, а здесь после каждой грозы возникали в небе разноцветные двойные мосты.

Иногда Димон уезжал в город дня на три и мы ночевали с Аришкой одни, я зажигала на первом этаже ночник и на диван, стоящий чуть в отдалении от лампы, но видимый снаружи через окно, укладывала одеяло, придав ему с помощью подложенных под него подушек форму спящего человека, который чуть поджал ноги и укрылся с головой. Засыпая, я однажды подумала: там, на первом этаже, спит мой муж — и рассмеялась. Мой муж всего лишь муляж. И вспомнила, как Димон с обидой однажды припомнил мне, как в пору наших с ним предбрачных катаний мы зашли в кафе и я вдруг заметила, что на моем стильном пиджаке сбоку небольшая дырка. Откуда она взялась, так и осталось неясным, но, чтобы ее никто не заметил, я попросила Димона все время сидеть и стоять около меня

с того бока, где она обнаружилась. И Димон иногда с горечью говорил: «Я нужен тебе лишь для того, чтобы закрыть дыру».

— Что ты имеешь в виду? — удивлялась я.

— Твою непрактичность. Твой идеализм — в первые годы нашей совместной жизни он меня даже восхищал, а сейчас только раздражает. И вообще, ты никогда не любила меня, это ваша родовая сила притянула меня к тебе, чтобы в самые тяжелые годы ты могла спокойно писать свои картинки, не думая о куске хлеба. Ведь ты рыба! А все твоя бабушка Антонина Плутарховна!

В дачном поселке, где мы снимали дом, была старуха, к ней ходили лечиться и местные, и дачники. Рассказал нам о ней мальчик, познакомившийся с Аришкой, когда она гоняла по дорожкам поселка на своем велосипеде. Он попросил прокатиться, и она разрешила. Мальчик был местный, очень худенький, с грустными умными глазами; он недавно переболел туберкулезом и про своего отца, который зарывает родившихся котят в песок, чтобы они сразу задохнулись, говорил с недетской печалью.

— Твой отец плохой, — сказала ему Аришка.

— Я делать так никогда не буду, — ответил мальчик. — Он и меня бьет.

А мне подумалось, что заболел он туберкулезом оттого, что легкие его не выдержали жестокой атмосферы родительского дома.

Боже мой, а ведь, когда в клетках кричали от боли пушистые кролики, с которых сдирали их мягкие шкурки, Димон писал эротические любовные романы и учил Люсю игре на фортепьяно!

Страшная сила проекций не дает людям освободиться от жестокости навсегда; сын берет охотничье ружье, преодолев свое собственное нежелание стрелять в зверей, только потому, что так делал его отец, служивший для него авторитетом, образ отца довлеет над его жизнью и душой.

Старуху знахарку я встретила на тропинке в дачном лесу и сразу поняла, что это именно она: мальчик описал ее очень точно. Я сама подошла к ней и поздоровалась, сказав, что слышала о ней от местного парнишки.

— Небось мною пугал? — улыбнулась она.

— Нет, наоборот, говорил, что вы всех здесь лечите.

— Лечу.

— Моя бабушка тоже иногда помогала людям, научилась от такой же врачевательницы, как вы, дай вам бог здоровья.

— И тебе, деточка, — сказала она, улыбнувшись по-доброму, — и тебе. Если что понадобится, приходи, дверей я раньше не закрывала, но теперь здесь люд пришлый, сижу за семью замками, так что стучи погромче.

Помощью дачной старушки знахарки я не воспользовалась, но приехавшей погостить на три дня Юльке она помогла: боль в ноге, травмированной очень давно, еще во время танцев на сцене, прошла; мазь «от бабушки» хранилась у Юльки очень долго и помогала ей всегда.

А рано утром я спускалась по витой деревянной лестнице вниз, торопливо вынимала из-под одеяла подушки (мой муж проснулся и ушел на работу — так шутила я сама с собой), но, если Димон звонил, дабы сообщить, что еще на одну ночь останется в городе, вечером все повторялось: в темноте под одеялом образовывался силуэт спящего — и спящий этот был моим мужем; чем чаще Димон отсутствовал, тем больше я в это верила.

А теперь я уже точно знаю: моим настоящим мужем и отцом Аришки, действительно, был не Димон, а тот муляж, который охранял наш с Аришкой сон на съемной даче.

Мне-то самой, в сущности, ничего не жаль. Жаль только, что в доме на Оке осталась библиотека моего отца, мои рисунки и картины, мебель, купленная вместе с Димоном в «Икеа», там же покупали мы и посуду, и постельное белье. Книжки они сожгут, мои картины и рисунки выбросят, мебель продадут. Юрий предлагает поехать и забрать картины, рисунки и книги. Но я не могу видеть этих людей.

Там, на съемной даче, мне было хорошо и одной: Аришка играла во дворе с грустным мальчиком, а мне нравилось сидеть на светло-деревянной лестнице и смотреть в небольшое окно на недалекий луг. В то лето почти не было сырых, ненастных дней, а каждая мимолетная гроза заканчивалась торжеством радуги. По вечерам от дальней кромки леса, размытая четкие очертания стоящих за лугом деревенских домов и вскоре поглощая в своей молочной дымке их полностью, на луг выползал туман; сначала он, точно гигантское призрачное мифическое животное, только вытягивал лапы, потом начинал ползти по луку, желая его обнять, и вот уже под его невесомой тушей скрывались маленькие травяные кусты, потом исчезала трава — и туман, поднимаясь на лапы, начинал двигаться к нашему дому; Аришка подбегала ко мне, прилипала к стеклу, и мы с ней не замечали, что наш маяк давно уже затонул в мягких объятиях мифического великана...

Вечером, укладывая спать Аришку, я рассказывала ей какую-нибудь тут же выдуманную сказку, и в том месте, где с героями происходило что-то опасное, Аришка садилась на постели и тревожно спрашивала, а па приедет, и, если Димон отсутствовал, я все равно говорила — уже приехал, и она засыпала под счастливый конец сказки, когда все опасности оказывались мнимыми, а маленькие мужественные герои, победившие страх и преодолевшие все трудности, оказывались настоящими победителями... И я могу и сейчас сложить на диване под одеялом подушки так, будто там лежит уставший после работы, мой любимый муж. Которого у меня, как выяснилось, никогда не было. Как сказал Анатолий: «Вы ему никто».

Но и дивана в квартире нет: его года три назад увезли в деревню и поставили в гостевой дом.





Сама я ничего не боюсь. Даже бедности. Буду работать пока смогу. Я и так работаю всю жизнь и никогда не была «буржуазной женой», что так бесило Димона: он хотел, чтобы его супруга торчала в салонах красоты, делала подтяжки лица, одевалась из бутиков, устраивая ему скандалы, чтобы он купил ей новое норковое манто или бриллиантовые серьги. А я не носила ни золота, ни натурального меха, не ела и не ем мяса и ни разу в жизни не воспользовалась услугами косметического салона!

Проблема в Аришке.

* * *

И по документам я ведь не являюсь вдовой: черный цвет траура вместе со всем остальным украла у меня Алла Беднак. Точнее, украли они. Шефом этой ловкой операции был Анатолий, он и написал поддельное заявление в суд от имени Димона и дал взятку его представителю, правда, главная исполнительница спектакля оказалась ему не совсем чужой: как выяснил Юрий, фамилия нынешней жены Анатолия... Беднак! И Анатолий никогда не был военным, дважды судимый, он в девяностые занимался бизнесом — продавал деревянные поделки заключенных.

Иск пятинедельной вдовы судья Данилов Илларион Борисович, брат которого, бизнесмен, был знаком с Инной Борисовной, полностью удовлетворил. И, думаю, благодарностью безутешной вдовы остался доволен. Ей, к ее законной половине, переходила и моя супружеская доля, и, что самое для меня страшное, переходила доля квартиры, в которой второй год лежала, отвернувшись к стене, исхудавшая как скелет моя дочь.

Но почему, почему я до сих пор жалею Димона?!

Может быть, душу Димона убил тот прочитавший все его рассказы и повести главный редактор — выстрелом, жестоким приговором: «Все это — напрасно потраченная жизнь»? Не тогда ли у Димона заболела рука? Но ведь он был не прав! Я и сейчас повторю: Димон, ты был талантлив, только не сумел выбрать свою колею, ведь, несомненно, ты мог стать выдающимся актером, если бы не твой страх, что на сцене ты будешь смешон из-за маленького роста, — тебя влекли драматические, а не комедийные роли — и если бы не проекции образа отца, заставившего тебя следовать не своей, а его дорогой, и образа прадеда-купца, который погубил в тебе все ростки духа.

Бедный Димон.

* * *

Через несколько дней после решения суда мне приснилось, что он мчится на машине в деревню, чтобы проститься с домом. Димон любил его; на стенах висели мои пейзажи, а его маленький кабинет на втором этаже, который он все-таки выторговал, чтобы быть к нам с Аришкой

поближе, был оформлен моими дружескими шаржами на него самого: к каждому дню рождения Димона я делала или новый рисунок, или дарила ему картину... И вот в моем сне, войдя во двор, Димон вдруг падает на асфальтированную дорожку и с ним начинается что-то странное — точно ноги и руки его выворачивает кто-то невидимый, Димона корчит от боли, и я понимаю, что он испытывает там страшные мучения из-за того, что сделал против нас с Аришкой.

Я прощаю тебя, Димон.

Еще через несколько ночей я снова увидела во сне Димона. Там же, в деревне, он выходит из дома, крикнув кому-то: «Ждите, я к вам вернусь!» — идет по саду, садится в белую машину и, обернувшись, смотрит на меня — взгляд его совершенно пуст, и я во сне знаю, что мы с ним никогда больше не увидимся; через мгновение он отворачивается, его машина быстро выезжает со двора, причем не в обычные ворота, а напрямик, через сад (в реальности она бы там не прошла), — и выезжает не на шоссе, а в пустое пространство, которому нет конца...



Лариса МИЛЛЕР

**«ПОКА СПОСОБНЫ
ДНИ МЕНЯТЬСЯ...»**

* * *

Все выбираю, с чем бы слиться
И как не быть, а лишь присниться
Кому-нибудь в счастливом сне,
Какие снятся по весне.
Ну что за доля? Что за долька —
Быть лишь собой. Собой и только.
Собой — усталым и больным,
И смертным. И ничем иным.

* * *

Все, что казалось обещаньем,
Сегодня кажется прощаньем.
И чудится, что все вокруг —
Лишь взмах прощальный чьих-то рук.
И мнится — все ручьи и реки
Поют одно: «Прощай навеки»,
«Прощай навеки», — шепчут дни.
Но кто уходит: я? Они?
Кто с кем навеки расстается?
Кто прочь идет? Кто остается?

* * *

О, сколько гласных в языке,
Распахнутых, как окна, гласных,
Счастливых и на все согласных...
О, сколько воздуха в строке,
Что через гласные проник,

Как сквозь распахнутые окна,
И, чтоб строка сия не блекла,
На ней играет светлый блик.
О чем же легкая строка?
Она о том, о чем и блики,
И дней изменчивые лики,
И жизни быстрая река.

* * *

Тону не в травах, не в лучах,
А в пустяках и в мелочах,
Тону в подробностях, в деталях,
В текущих радостях, в печалях,
В сиюминутном я тону
И радуюсь, что я в плену,
Что я забот текущих пленник
И всех живущих соплеменник.
Держи меня, о жизнь, держи
В своем плену. Лишь миражи,
Детали, что сметает ветер,
И держат нас на этом свете.

* * *

Ей-богу, я счастливей всех.
Мне, что ни утро, подношенье:
То пестрых крыльев мельтешенье,
То снега соболиный мех,
То жар рябиновых огней.
На мой вопрос: «За что мне это?» —
Не дав мне ясного ответа,
Жизнь прошептала: «Мне видней».

* * *

Надо как-то подпорки держать,
Чтоб не рухнула эта постройка,
Чтоб летали синицы и сойка,
Лист осины не бросил дрожать,
Чтобы шло все путем, все путем,
Чтобы, свой сохранив распорядок,
Все же мир не лишился загадок,
Без которых мы вмиг пропадем.



* * *

Проснулась — вижу: можно жить.
Все на местах: и близь, и дали,
И мне опять дорожки дали,
Чтоб я могла по ним кружить.
И день готов меня вместить,
И небо вроде не устало
Светить. Вот только сил не стало,
Чтоб в дело все это пустить.

* * *

Чем буду утром заниматься?
Я буду с якоря сниматься,
В день новый медленно вплывать
И в нем до вечера дневать,
От мест вчерашних удаляясь
И удивляясь, удивляясь,
Что можно все еще найти
Непроторенные пути,
Просторы, в коих не бродили,
Чью гладь еще не бороздили.

* * *

Пока способны дни меняться,
Мне точно будет чем заняться.
Пока меняются цвета,
Я буду крайне занята.
Пока меняются оттенки,
Пока играет блик на стенке,
Сползают тени со стола,
И за окошком догола
Березу ветер раздевает,
И тучка что-то затевает,
Плывя в высоких небесах,
Стоять я буду на часах,
Дежурить буду зиму, лето,
Беря на карандаш все это.

* * *

Хочу подать на ПМЖ,
Чтоб я на том же этаже
И в том же доме и квартире,

И в том же разношерстном мире,
Где каждый свой таскает крест,
Жила, пока не надоест.

* * *

Летает дождь, листва летает.
Меня здесь только не хватает.
У пролетающего дня
Полно летучих без меня.
Все так. И все ж нам душу дали
Крылатую, чтоб мы летали,
Свершали перелет большой,
Крылатой пользуясь душой.

* * *

Жизнь сама создает и сама разрушает,
И сама же порядки свои нарушает,
Заглушает свой голос, мешая цвета,
И мгновенья свои превращает в лета,
И летучесть свою и свою скоротечность
Превращает сама в неподвижную вечность.

* * *

Поверь мне — жизнь перешагнет,
Перешагнет и то и это,
И обойдет любое вето,
Любые надолбы сомнет.
Победу радостно трубя,
Не зная, что такое робость,
Перемахнет любую пропасть,
Не оглянувшись на тебя.

* * *

Утешать, утешать — нету дела нужней.
Утешать, утешать и себя и другого.
Для кого-то любимого и дорогого
Находить те слова, что всех прочих нежней.
Утешать, утешать. Ведь живущий раним,
Обречен, одинок, и, конечно же, грешен,
Ну а значит, беспомощен и безутешен
И одним только небом бездонным храним.

Октябрь, 2017

Светлана МИХЕЕВА

ОТКРЫТОЕ МОРЕ

Повесть

Полдень затерялся в холодном ржавом лабиринте, аукал, стучал — мол, найдите. Но его никто не искал, и воздух полдня темнел, сгущался над грудами испорченного железа. Вода под ним наливалась первобытной злостью. На горе загудел лес, бока мертвых теплоходов тоже загудели, будто пьяные затаили неразборчивый мотив. Озеро, распространившись вдале без конца и края, угрюмо зашелестело, подпевая.

Дождь, взявшийся неизвестно откуда — то ли рухнул с неба, то ли поднялся из воды, — быстро отрезвил всех и убрался восвояси. Полдень прекратил свою игру и выкатился белым осенним солнцем, осветив железные костяки, помытый лес и бродячие дымы. Вода, затаив страшные песни, открылась теперь своей обычной глубиной: внизу обманчиво близко зеленели утопленные велосипеды, покрышки, но то была бездна и все знали, что уже в ста метрах от берега терялось всякое понятие дна. От бездны к берегу бежала испуганная лодка.

Она врзалась в песок, когда природа уже успокоилась, в знак примирения вывесив радужный флаг. На лодку уставились сбежавшиеся к воде черные домишки, блестели масляными глазами. От крайнего стремился в сторону лодки человек и энергично потрясал над головою обеими руками. Еще несколько шли с другой стороны, двое спускались с улицы, которая, петляя, поднималась в гору.

Моторка выплонула на берег двух мокрых мальчишек. Они торчали угрюмыми беззащитными стебельками. Бегущий человек — крепкий старик, обнаруживший, стоило ему сбавить шаг, значительную хромоту, — приблизившись, залепил обоим хорошие подзатыльники и сильно ругнулся. Все трое побрели к дому: старик впереди, мальчишки виновато отстали.

Остальные мужчины, втащив лодку поглубже на берег, постояли, покуривали возле да и разошлись по домам.

— Заново родились, — нервно ухмылялся пожилой рыбинспектор Миша, имея в виду снисходительность природы, которая не забуянила, как обычно, а притихла и отступила. — А то бы унесло, перевернуло.

— В городе-то одурели совсем, страх совсем потеряли, — объяснял Антон, стыдясь за внуков и перекачивая в голове, как горошинку, навязчивую сильную мысль: вот так же утонул тут один знаменитый драматург, да и мало ли рыбаков ушло, а мальчишек озеро — ишь ты! — принять не захотело; а то и сама побеспокоилась...

Продрогшим, испуганным щенкам дали самогонки и отправили переодеваться. Пока они тихо возились в комнате, к Антону собирались гости — мужчины, искавшие в полдень его беспокойных ребят. Гости заходили молча. У каждого кого-нибудь да съела прожорливая вода, откупалась рыбой и не отпускала. Рыбинспектор Миша покачивался в углу, внимательно оглядывая входящих. Он знал о каждом больше, наверное, чем даже они сами, недаром до инспекции бессменно служил тут участковым. И это знание с каждым годом все тягостнее обременяло его. И он собирался на следующий год все бросить и устроиться где-нибудь далеко отсюда, под краснодарским, например, солнцем. Там, где никого не знает.

Антон замер у плиты, навис над огромным чайником, который лениво побулькивал. В окно снова забили тощие дождевые струи. Начинаясь ветер. Антон вытянулся к форточке. Его старый нос, похожий на дряблую картофелину, обоняет знакомое. Каждый год ветер возвращается в эти места, то рвет и мечет, то ласкает и голубит. Бегает по воде, треплет сосновые вихры. Характер его изменчив. Однако узнать его можно по пряному запаху и особой порывистости — как будто ткачиха вытягивает долгую нить, а потом обрывает: вытянула и оборвала, вытянула и оборвала. У Антона с ним особые отношения. Именно этот ветер когда-то направил его жизнь, чуткую жизнь художника, по руслу глубокому, прямому, бесповоротно впадающему в огромное озеро.

Дом пропах рыбой. Земля вокруг дома пропахла рыбой. Горы до самых верхушечек пропахли. Когда Антон много лет назад вернулся в поселок, ему поначалу казалось, что даже хвоя у сосен, даже своенравный багульник выделяют монотонный рыбный запах. Запах несла вода, даже когда падала с неба. Обычно в непогоду нога хромая, поврежденная в раннем детстве, ныла, и привычная боль отныне тоже была связана с этим утомительным духом.

Но здесь бывали такие ночи, когда на общем черном выступали белые краешки волн. И Антон выходил на отцовской лодке вместе с рыбаками растягивать крупноячеистые сети. Их привозили женщины из Сухого Ру-



чья, где на рыбозаводе принимали теперь чужую, морскую, рыбу, приходившую по железной дороге, так что сети заводским стали не нужны.

Но здесь бывали такие дни, когда природа словно предлагала ему разделить свою власть, стать соучастником, ее любовником. Антон выходил к скалам, к текущим вдоль берега горам, которые прорезывала железная дорога, и писал, и рисовал на бумаге, и пачкал скалы невиданными орнаментами. Он исследовал голубоватые и зеленые травы, вставшие стеной вдоль полотна. Забирался на верхотуру и следил оттуда за маленьким поездом-мотаней из трех вагончиков, который сороконожкой бегал вниз, соединяя порт и крупную станцию в сотне километров. А когда солнце в ясный день весело умирало, гася свой огонек о горизонт, Антон ловил остатки света, так сладко целовавшего кладку тоннелей, что виделся ему в этом итальянский дух Возрождения. Фриулианские мастера строили их ради заработка и во имя славы человеческого духа в сибирском аду, где зимние ветра, выжирающие не только любое тепло, но даже и снег, гремели человеческими костями. Тоннели, подпорные стенки из желтоватого камня, высоченные мосты над бьющимися внизу прозрачными речушками придавали однопутной дороге вид категорически нездешний и древний.

К зиме устанавливалось прекрасное время опустошения, которое прокрадывалось к мольберту и воспроизводило болезненные тонкие изображения, — кто еще мог водить человеческой рукой? Скалы и стенки, едва припорошенные снегом, загадочно темнели на фоне общей белизны. Кто заманил его, тридцатилетнего, полного амбиций, сюда, где жизнь и смерть очевиднее и так просто жить и еще проще умереть? Отцовский дом надо было принять в наследство. Антон приехал, принял да так и заблудился в трех его комнатах, будто в лабиринте. Заблудился в здешней неподотчетной разуму красоте — да так и остался. Отец обосновался рядом, на поселковом кладбище. Вокруг же все объела кошмарно прозрачная вода — единственное, к чему он никак не мог привыкнуть. Бездна должна быть невидима.

* * *

И первоначальное желание бежать, укрыться в суетливом теплом городском быту, попробовать вернуться к рисованию в привычной обстановке города — провинциального, старого, заросшего — прошло быстро.

Два первых года минули незаметно. Антону казалось, что кругом изменялся лишь цвет, в особенности цвет воды. Он без усталости писал и делал наброски, облазил каждый угол, обшарил окрестную тайгу, часами торчал среди ржавых кораблей. Его занимали незнакомые, случайные ощущения, скорее даже отголоски ощущений, обнаружившие вдруг свою необычайную силу. Это были ощущения на стыке волнующих отношений своевольной природы и своевольного человека.

Он бывал наездами в городе, где когда-то учился живописи, в городе, который много рисовал. Но больше не мог отыскать там той горечи,

которая раньше давала силу: действительность становилась наряднее, меняя память на яркость. Старину списывали на дрова, освобождая место уродливым конструкциям, вырастающим на экономическом расчете. Выгода и целесообразность торчали стекловатой отовсюду, выставлены были в витринах.

Он задавался вопросом: зачем его вообще потянуло в этот город — в мучительное место, где он родился, где распалось, сгнило тело их семейства? Ссоры, попреки, чуждость — вот что помнил он отсюда. Мог бы учиться в другом городе, побольше, где выросла его мать и где она обоживалась после развода — и где, таким образом, завершилось и его собственное детство. Но нет.

Он вспоминал, что мать пролила ведро слез, отпуская его обратно «в эту глушь», как она говорила о том городе, куда приехала от родителей в юности и где училась и где вышла замуж — по любви. Только ничто у нее здесь не сложилось — ни работа, ни семейная жизнь. Поэтому-то провинциальный, хотя не такой уж маленький город Антонова детства был для нее настоящей глушью.

Не в пустоту, однако ж, отпускала: рядом с цивилизованной глушью, немного более отдаленно, в прибрежном поселке на другом берегу озера, за сотню километров, обитал холостяком отец Антона — после развода он уехал к родителям, в сердцах бросив городскую квартиру пустой. Даже жильцов не стал искать. Ее-то и занял Антон, оказавшийся между отцовской туманной отдаленностью и материнской светлой явью. Балансировал, изучал явления света и тени, проникал в глубины искусства. И все больше замечал, что собственные его пристрастия склоняются не к материнской яви, а скорее к отцовской глуши. Студентом Антон часто навещал отца, который вдруг начал болеть, и болезнь разгоралась. Умерли бабка, дед. Отец стоял на том же пороге. К Антону приходило волнующее неясное чувство: здесь, среди стоической природы, освобождается место для него. Он отмахивался, к тому же ум подсказывал: каким же надо быть дураком, чтобы похоронить себя заживо в такой-то дыре, до которой и добраться — морока.

Он окончил училище, много писал. Его работы ездили по молодежным выставкам, можно было бы подумать уже и о персональной. Можно было бы подумать уже и о себе. Но после каждого успеха на него, что называется, накатывало. Он делался нелюдим, бродил по сохранившимся в прелестной убогости городским кварталам. Тлели кедр и мореная лиственница, пели скрипучие песни двери и ставни, украшенные черными резными цветами, осыпался на фундаментах песчаник. Антон выходил к набережной и глядел на острова, на реку, легко несущую свое прозрачное тело подальше от озера, в котором она брала свое начало. Река убегала оттуда, куда его по неизвестной причине тянуло.

Он выполнял обязанности жизни, завел женщину. Хотя часто мнил себя неподвижным по отношению к быстротекущему времени. Но —

не вечным, а будто мертвым. Когда отец лежал в гробу, Антон представил себя на его месте и счел, что это в некоторой степени было бы даже удобным. А после похорон закрыл дом и с удовольствием опустил ключ в карман.

На пароме, который перевозил его из поселка на другой берег — откуда он автобусом должен был переправиться в город, — Антон курил одну сигарету за другой, тушил окурки о подошву и засовывал в карман. В автобусе, везшем его по узкой гладкой дороге, он уснул и видел плоские безнадежные картины: степь и вода.

Так и продолжалось. Он никак не мог сообразить, где рождается ощущение бессилия, ядовитая безнадежность. Отчего она появляется, когда он откидывает одеяло и садится на кровати, чтобы разглядывать женщину, спящую рядом. Женщина поворачивала к нему сонное лицо, протягивала горячие руки. Антон злился и уезжал в поселок. Сначала, терзаясь, сходил с автобуса, который тормозил возле самого берега. Потом, в отцовом поселке, сходил с парома, волоча безнадежность как тяжелый груз, тянул ее по улице, втаскивал во двор, пускал в дом. Ночью она забиралась в его подушку, внушала грязно-зеленые тоскливые сны. Он ничего не мог делать.

Тогда он запрыгивал в бывшую отцову лодку и уходил от берега. Бывало, качался так часами, рассматривал бездну, сияясь увидеть в ее зеленом горле что-нибудь кроме нее самой. Сосредоточенность обычно помогала. Но бывало, безнадега не отвязывалась, а переходила в необъяснимую тревогу. И тогда он метался по соседским домам, где-нибудь напивался, бродил, беспокоил дворовых собак. Казалось, сумасшествие настигает его.

На третий год Антон, измучившись, решил насовсем порвать с городом. И первым делом расстался с женщиной — без жалости, без угрызений, с единственным желанием завершить ничтожные отношения. Зачем он вообще вступил в них? Она не будила в нем ничего, даже и страсть иссякла будто бы в первую ночь. Даже и чувство опасности (она была женой видного чиновника, Антон подцепил ее в музее на выставке) не подстегивало интереса.

И когда женщина после его резких слов плюнула ему в лицо, вдруг полегчало. Порывом ветра распахнуло балконную дверь, разнесло занавески. И в комнату вступил острый и влажный ветер, тот самый, головокружительно пахнущий чем-то далеким, а еще пряным, и такой славный, и теплый, и резкий. Ветер волчком закружился по комнате, все зашевелилось, заиграла блестками шаль, накинутая на женские покатые плечи. Антона этим ветром вынесло из квартиры, из города, занесло на паром. И вынесло с парома. Он стоял на берегу озера и был наконец почти счастлив. Он ощущал себя на своем месте. Всякие сомнения покинули его.

* * *

В этом жизнелюбивом порыве он бросил писать. Просто перестал, ни в чем себя не укоряя. Спрятал принадлежности в стайке, свободной от живности; там давненько лежали дрова и хлам, хозяйственные обломки, а теперь вот торчал диковинным животным мольберт.

Антон наблюдал.

В поселке рокотала жизнь. Сушили, чинили сети. Коптили рыбу. Женщины везли с Большой земли обновы и примеряли всем поселком. На пристани гудели суда, на станции свистел паровозик-мотаня. Машины рассказывали друг другу железные истории. Мужчины звенели инструментом. От полноты чувств мычали коровы. Все шло своим чередом.

Он наблюдал.

На берег выбрасывало коряги и кости. Они будто ждали, что их кто-то подберет, лежали словно бы для кого-то — а на самом деле просто существовали на своем месте.

Он наблюдал.

Вода в сентябре начала мерзнуть, покрывалась мелкой рябью. Качала желтые листочки, будто бы всплывшую чешую чудовища, что погибло в бездне.

Он наблюдал. А озеро следило за ним. Казалось, в нем оно изучает другую глубину, другую бездну. Равновеликие — озеро и человек — стояли друг напротив друга, дышали.

И это была странная и волнующая жизнь. Антон занял освободившуюся вакансию.

* * *

Как-то вечером пришел сосед Серега клянчить сигареты, на завтра позвал на рыбалку, третьим. Антон обрадовался и выдал целую пачку.

Под утро собрал провизию в непромокаемый мешок, наново заштопал прореху на старом отцовском плаще — каждый раз штопал, как собирался выходить с рыбаками в море: плащ от старости не держал посторонних ниток. Снастей не доставал, хватит соседских; рыбой он только угощался, на продажу не брал. Его отношения со стихией сводились к обоюдному созерцанию: она таращила на него зеленый глаз, а он свешивался за борт и, рискуя упасть, таращился на нее.

Потустороннее свечение, которым начинался в этих местах каждый обыкновенный день, распространялось из-за гор. Моторка шла еще в темноте. Еще оставались звезды, которые постепенно сглатывал надвигающийся прожорливый свет.

Выйдя на место, суденышко остановилось, вяло порывивая. Лодки похожи на домашних псов, которые знают свои обязанности и без напоминания гонят вечером корову или берут на испуг чужака. Антон с удовольствием писал и собак и лодки.

Вдалеке в темноте, как бы внизу, образовалась белая точка. Потом пришел звук. К ним двигался теплоход. Хозяин лодки, молоденький участковый Миша, человек здешнего сурового характера, потянувшийся было за сетями, разогнулся, сплюнул. Стали ждать.

— Далеко пройдет. Хотя не вовремя че-то... — бурчал Серега, осердясь на явление, ибо по складу характера он не любил неожиданностей.

Антон сидел, опершись ладонями о край суденьшка, и пытался уловить, понять световой объем. Свет заходил в воду, и она где-то прогибалась под его тяжестью, а где-то впускала без затруднения, замирая стеклянным слитком. Слитки, казалось, можно брать и выносить из воды, и они будут жить сами по себе.

Теплоход прошел далеко, от него докатились лишь слабые волны, не потревожившие рыбаков.

Вдруг задергалась лодка, заходила ходуном. В днище стукнуло. Люди замерли, оглядывая взволнованную воду. Суеверный Серега забормотал. Что-то блеснуло, неопределенное, но как будто и узнаваемое. Солнце послало ему навстречу долгий луч. И в этом луче Антон увидел раскинутые руки и крупную чешую, причудливо преломляющую зеленый свет, идущий из глубины навстречу солнечному. Вода забеспокоилась, зашевелилась, забурилась, и вот уже в пене над зеленым провалом шевелились руки, волосы, чешуя.

— Русалка! — заорал Миша, разум которого отказывался давать оценку происходящему.

Забыв о всякой безопасности, он резко перекинулся на Антонов борт, и лодку накренило.

— Баба! — заорал Серега, разглядев в воде признаки человеческого и женского, и, отбросив Мишу к другому борту, в момент скинул телогрейку и опустил в воду свои волосатые загребущие длани.

Антон не шелохнулся. В явлении прекрасного под лучами верхнего и нижнего солнц он словно увидел знак, которого давно ждал. Нижнее солнце, чьи изумрудные лучи вышли к поверхности, обнаружило в толще воды существо, которое вдруг соединило Антона и пугающую стихию бездонного огромного озера, называемого здешними жителями морем.

— Держи! — рявкнул Серега.

Антон отмер, автоматически выбросил руки навстречу тому, что поднял из воды товарищ. Схватил, почувствовал, что пальцы скользят, но вот ухватил за нескользкое, узкое. Ладонь облепили мокрые темные волосы. Пока заволакивали существо через высокие борта, взгляд Антона был прикован к мокрым прядям, покрывшим его руку причудливой татуировкой.

В лодке оказалась женщина. Втроем они растерянно смотрели на нее. Переливалась кофточка на груди. Женщина дышала, но не открывала глаз.

— Откудова взялась? — выдохнул Миша.
 Пойманное было красиво даже и в таком мокром виде.
 Серега рванул мотор, они устремились к берегу.

* * *

Женщину понесли в больничку. Фельдшерницы на месте не оказалось, Серега побежал к ней домой. Миша поскакал переодеться в чистое — и на службу, разбираться в происшествии. Антон остался на крыльце с русалкой на руках. Внутри него наступила глубоководная тишина. Точно внутри он сам стал этой беспощадной заманчивой водой. Именно она баюкала и рассматривала улов: темные длинные волосы, резкие скулы, маленькая грудь, узкие колени, длинные изящные ступни. Не очень, надо полагать, высока. Лет тридцать. Она открыла глаза и так, с открытыми глазами, лежала у него на руках, глядела на него снизу желтоватыми, осенними, земными глазами. Он смотрел на нее сверху водяными, сердитыми, серо-голубыми. Мир перевернулся.

Пришла, подгоняемая Серегой, фельдшер Раечка, которую за маленькую злую голову и длинное змеистое тело звали Ящерицей. Раечка не любила женщин ревнивой нелюбовью. В ранней юности хотела она поступать в театральное училище на артистку, уехала в город. Но не хватило у нее то ли таланта, то ли духу — оказалась в медицинском. С тех пор она рассказывала истории, как обставили ее, простодушную, городские девушки, хитростью пробрались на ее место. Хотя все знали: Раечка просто испугалась и на вступительные испытания не пошла. Об этом поведала ее мать, портовский фельдшер, которая устроила дочку, чтобы год не пропал, в медицинское, к своей подружке. Сама же деваха свято верила в обиду, и та с годами крепла, охватывала все больше Раечкиного пространства. Так что, издали оценивая пациентку, разлегшуюся на крыльце, да еще и в мужских интересных руках, Раечка недобро прищурилась.

Нависнув, она увидела тонкое лицо и светло-карие, даже желтоватые, пугающие круглые глаза. Отшатнулась.

— Вот, рыбу принесли, — пошутил Серега, забирая женщину из Антоновых рук.

Ее внесли и устроили на кушетке, Раечка выгнала мужчин, раздела «рыбу», укутала в одеяла. Та ничего не говорила, не пыталась сесть, просто лежала и водила зенками туда-сюда. Антон уселся на стуле в соседней комнате и прислушивался. Серега пошел домой рассказать жене о столь удивительном случае.

Потом Антону надоело сидеть на стуле и он вышел и бродил вокруг фельдшерского пункта, косясь на открытое окно, откуда вылезла и колыхалась от сквозняка белая тюлевая штора, а в глубине окна колыхался Раечкин звонкий голос, из-за которого она, собственно, и собиралась в артистки. Прискакал наконец Миша. Глаз у него профессионально горел.



— Чего бродим? — высокомерно сказал Миша, повысив голос чуть не до фальцета.

Он приделся, напялил форму.

Миша отправил Антона домой, но пообещал вечером зайти и рассказать, что к чему. А сам поправил фуражку и — очень уж был взволнован происшествием — бегом ринулся исполнять милицейскую службу.

* * *

В фельдшерском пункте успокаивающе пахло лекарствами. Раечка сидела за столом, не сводя глаз с пациентки. Она вдруг неожиданно для самой себя смягчилась, червячок симпатии зашевелился в ее сердечке. Пациентка, упакованная в одеяла как новорожденный, лежала и смотрела. Она смотрела внимательно, будто потерялась и оценивает, по какой дороге ей пойти. Обводила взглядом стены, окно, разглядывала потолок. Раечки словно и не существовало рядом. Раечка говорила — а женщина не говорила ничего в ответ. «Малахольная», — с нежностью определила фельдшерница. Она осмотрела ее вещи: трикотажная кофточка с крупной блестящей нитью, дорогая с виду, синяя тонкая юбка — материал хороший, да и сшито, судя по швам, в ателье, не магазинская продукция. В нарядах Раечка разбиралась — как несостоявшаяся артистка. И, пожалуй, лучше, чем в медицине.

Миша заявился и приступил к своим обязанностям, по мнению Раечки, слишком сразу, с наскоку. И она осадила:

— У человека шок, а ты напрыгиваешь! Чего напрыгиваешь? Я тебе, как медицинский работник, напрыгивать запрещаю! Осторожно спрашивай.

Ей самой было жутко любопытно: достали женщину из воды далеко от берега, как она там оказалась — неизвестно. Вода в сентябре ледяная, а она ничего, не дрожит даже.

Миша задавал вопросы. Но спасенная молчала и вскоре под равномерно-отрывистую музыку Мишиного взволнованного голоса убаюкалась и заснула.

— Теплоход перед нами прошел. Наверное, оттуда и прыгнула, — подытожил шепотом Миша.

Он был молод и оттого на выводы скор. И отправился в порт навести справки о теплоходе.

Раиса тогда уселась перед спящей и стала оглядывать ее. Все вроде обыкновенное, как у людей: две руки, две ноги и так далее. А присмотришься — что-то не то.

* * *

Весть о русалке распространилась в поселке со скоростью света.

— Раньше все рыбаки в устьях рек ловили, когда рыба шла руном, на нерест. А потом, поди ж ты, все песком засыпало и стал народ в море

двигать. А в море — фараоны, примерно как люди, только ступни срослись в рыбий хвост. Интересно! Шаловливый народец: качали одну лодку, качали да и перевернули. Мужики, кто до берега доплыл, собрали народ и устроили тогда фараонам наказание: наловили неводом — а они-то мелковаты супротив человека — да и выпороли, как малых детей, чтобы неповадно было. А потом обратно в море повыбросили. Те больше и не показывались, ушли в другое место... В наши места, говорят, как раз и ушли...

Уже к обеду это рассказывал, стоя перед прилавком сельпо, дед Терентий. Очередь слушала. Наконец продавщица Татьяна, у которой по огромному телу побежали от дедовой повести пропорционально огромные мурашки, не выдержала:

— Дед, ты же ветеран, чего сказки выдумываешь? Иди вон жене байки рассказывай. Она, может, тебя за это приголубит.

Очередь, завороженно молчавшая, простодушно напуганная дедовскими рассказами, с облегчением засмеялась, зашумела. Подростки зажали в голос.

Но, завершив магазинные дела и выйдя на высокое крыльцо, мужчины и женщины не расходились, мусолили интересную тему, извлекая из отдаленных сундуков памяти то, что слышали когда-то, ухватили где-то и приберегли до подходящего случая.

— Море-то наше, говорят, и дна практически не имеет — трещина вместо дна. И оттуда чистейшая вода из-под земли выходит. И вот с ней-то, с этой водой, всякое и приплывает.

— В артели рыболовецкой была одна женщина, рыбачка. Фору мужикам давала. А уж красавица! И вот хозяин артели ее стал домогаться. А она тогда ему сказала: не отстанешь — пойду жить в море. Так и сделала. Живет теперь на невероятной глубине, распоряжается ветрами. Старая история. А может, сказка.

— Да нет, это было позже. На рыбозаводе она работала, кружевницей. Но не только сети вязала, а и в море ходила. Клавдией звали.

— А я слышала, что Аграфеной.

Росказни ходили широкой волной. На них, как слепни на теплое, слетались обитатели поселка. Антон отправился хлеба купить — и застрял надолго, с необъяснимым удовольствием слушал, пока последний говорун не покинул магазинное крыльцо.

К вечеру собрались тучи. Было видно, как тело озера наливается черной кровью. Антон, придя домой, поплотнее запер за собой ворота.

* * *

Вечером, как и обещал, зарулил Миша. Вслед за ним в сени шагнул холод.

— Погода сильно портится. В море теперь не выйдешь.



Миша налил чаю, взял из хрустящей бумажки печенье. Антон рассматривал товарища, будто видел впервые. Круглое Мишино лицо, ошпаренное внезапным холодом, простодушно настолько, что если поставить Мишу среди природы неподвижно, то это простодушие настолько совпадет с ней, что отличить, где камень, а где Миша или где сосна, а где Миша, будет ну совершенно невозможно. Ссылаемый к бабке и деду каждое лето, Антон на правах старшего обучал шкета Мишку бить бычка-широколобку стальной вилкою, прикрученной к палке. Пятилетний Мишка тогда сильно поранился, воткнув вилку не в рыбку, а в собственную ногу...

— Помнишь, как мы бычков из-под камней выпугивали?

— Погода, говорю, портится. Завтра никто к нам по воде не доберется.

— А я почему-то вспомнил...

— Слушай, Антон, ты один живешь — возьми ее к себе денька на два, а? Раиска попросила: у ней в амбулатории негде ночевать и все такое. А присмотреть бы за русалкой надо, до выяснения. А мы тебе ее щас доставим, у тебя переждет. В гостинице мест нету. А там за ней придут.

Антон открыл было рот, хотел спросить. Но ни один вопрос не обрел формы, все разлетелось как мелкие дрожащие бабочки. Горло перехватило, внутри заходила встревоженная вода. Он аккуратно встал, задвинул табурет под стол и натянул телогрейку.

— Пойдем тогда.

Мишка, не ожидавший быстрого согласия и готовый к уговорам (никто не захотел брать русалку, он обошел уже домов десять), подскочил, вылил в себя оставшийся чай, закусил печенюшкой. И они покатали на Антоновом мотоцикле в гору, к больничке, где Раиса уже вся извелась: ей надо было домой, к детям. Да и соскучилась изрядно в такой компании: пациентка так ни слова и не сказала — все спала или лежала с открытыми глазами.

Фельдшерца по-быстрому одела русалку, завернула в одеяло. И так, в одеяле, поднял ее Антон — легкая, легче, чем была, словно лишняя вода ушла из нее, — и понес в мотоцикл, усадил в коляску. Мишка еще раз рассыпался в благодарностях и припустил к дому. Его заждалась Катька, невеста.

— ...А зовут Оксаной! — прокричал на бегу, даже не поворачиваясь в Антонову сторону. Шибко торопился.

* * *

На третий день Оксана вдруг вышла из зоны безмолвия и сказала:

— Шторм какой-то бесконечный.

Антон, устроившись на пухлом диване, чинил плащ, который снова порвался.

Она сидела у окна в отцовом любимом кресле, наблюдая то за улицей, то за Антоном. Ее голос, низкий, даже слишком низкий, глуховатый, немного дрожал, вибрировал, подернут был рябью. Русалка, да и только.

— Давайте зашью.

Так просто? «Давайте зашью»?

Он отдал ей плащ, иглу, нитки. Примостился рядом на табурете и смотрел. Ее руки плавали по воздуху минуты три. Потом она вернула ему плащ.

* * *

Плащ с тех пор больше не рвался. Он и теперь, спустя многие годы, спустя десятилетия, висел на своем законном месте за входной дверью вполне целый. Никогда больше не рвался.

Антон отошел от окна, снял заверещавший чайник. Грохнул его на стол, достал кружки из навесного шкафчика. Деревянные дверцы шкафчика сохранили наивный узор — синие и розовые цветочки. Русалка однажды нарисовала их — когда он после долгого перерыва снова взялся за работу, достал заброшенные в стайку краски, натянул холст. Он писал ее, а она расписывала шкафчик.

Шкафчик, конечно, потемнел и обдупился от времени. А вот цветки на нем были еще живы, краска у русалки легла плотно и выпукло, бороздками, как у настоящего живописца. Антон провел почерплым стариковским пальцем по розовому, потом по голубому. Почему-то голубой кажется теплее, чем розовый. Наверное, потому, что его собственная рука, дряблая, в синих жилах, содержит хоть и старческую, но еще теплую кровь и мозг это знает и подает такие странные сигналы, что, мол, голубое — теплее. Однако это ложь.

Миша щурил на Антона глаз внимательней, чем обычно. Он всегда знал, когда друга посещают воспоминания. Последние тридцать лет он винил себя в том, что не примотал его веревками к стулу и не заставил слушать, выслушать правду, выслушать, как на самом деле было. Потому что неизвестность — это самое ядовитое растение. И яд его не всегда горький, а зачастую сладкий, одурманивающий. В каком-то смысле это наркотик, и если сразу не прекратить, то потом не слезешь. Уж он-то в курсе. Он и сам о многом сожалеет и многое вспоминает. И хранить их общую — но известную ему одному! — тайну больше не желает.

Антон в это время похромал к двери, снял с крючка, хоть дождь и кончился, плащ, взгромоздил на голову непромокаемую шляпу (сын из города прислал) и вышел на двор.

Вверху разливалось тяжелое серо-голубое небо. Такое же тяжелое, как в тот день, когда он впервые нарисовал ее, русалку. Странная получилась картина: вода, а в ней искрит сложное существо, гибкое, неуловимое. Эту картину он любил больше остальных, помнил до последнего

мазка. И все-таки настало время, когда видеть ее больше не мог — и подарил далекому музею. Впрочем, так полотна и не забыл, до мельчайшего помнил.

Артритные пальцы плохо держали спичку, она гасла, прикурить не получалось. Раздался дождь, снова накрыл, переливался сквозь бледные солнечные лучи. Выскочил из дома Миша. Выскочил и встал перед Антоном — седой, усохший. Помолчали. Покурили. Намокли.

— Надо ребят к отцу отправить. Через недельку отправлю, — проскрипел Антон.

— Может, и сам съездишь? Сына повидашь. На пользу пойдет.

— Может, и съезжу.

Их разговоры всегда были немногословны. Старость будто украла у обоих дар речи, оставив объясняться таким скрипучим коротким языком, словно они не люди, а двери. А может быть, они просто настолько хорошо знали друг друга, что слова утратили произносимость как свойство.

— В море выйду, а потом съезжу.

Антон обошел дом, встал на приступочку и заглянул в комнату. Внуки спали.

* * *

Их отец появился на свет в конце лета. Этому предшествовала целая жизнь, тысячелетие счастья, слепившееся в один миг.

Русалка быстро встала на ноги и, хотя и сохраняла задумчивость, больше похожую, по мнению поселковых, на заторможенность, проявила изрядный интерес к деревенскому быту. Она с удовольствием хрустела сухими ветвями в буреломах, выскивая последние грибы, а потом — и снегом, пробуя лыжи, найденные Антоном в сарае. Она стала разговорчивей — охотно обсуждала картины, природу, нравы. Антон оценил ее настойчивый ум, ловкие руки. Она перешла на него некоторую отцову одежду, соорудила из покрывала чехол на старое прожженное кресло: отец жил неаккуратным бобылем и курил в доме. Завела легкое знакомство с ближайшими соседками — задешево, а то и за спасибо перелицевала-подобрала кое-что для них, для их ребятни.

И все же ее сторонились, в особенное знакомство не вдавались, потому что ходили разные слухи, клубились суеверия — народ, умирая от любопытства, тешил себя своевольными фантазиями. Однако она этого не замечала. Ее это будто бы даже устраивало.

Ее так никто и не забрал. Никто не пришел к Антону и не сказал: отдавай мое сокровище. А раз так (он долго этого боялся — все время, пока их близость не вышла из-под контроля), то будут они жить-поживать. Она просилась остаться — он спокойным и даже строгим голосом, но с затаенным восторгом, разрешил.

Она никуда не выезжала из поселка и ничего о себе не рассказывала. А у него не было ни одного вопроса, ему вполне хватало ее присутствия. А когда, подобно грозовой туче, накатывало на него пасмурное, тревожное любопытство, он тайком доставал из шкафа ее блестящую кофточку и смотрел, как переливаются жесткие нити, как плавится под электрическим светом русалочья чешуя.

В один из таких тревожных дней зашел Миша. По-хозяйски налил чаю, залез в холодильник.

— У нее документов нет. А это, понимаешь, нарушение закона, — сказал, громко прихлебывая, осторожным, вкрадчивым голосом.

Антон молчал.

— Ты про нее хоть что-нибудь знаешь? Нет? А чего же друга не про-
 сишь помочь?

Он самодовольно вытянул ноги, преисполненный служебной значимости. Миша чувствовал сейчас свою чрезвычайную полезность, которую охотно адресовал бы человечеству в лице Антона.

— Только открой рот! — Антон сказал тихо, но как-то нехорошо.

Миша вздрогнул, подобрался. Любовь делает с людьми непонятные вещи. В этом он, несмотря на молодой возраст, убеждался не единожды — по долгу службы и по собственному горячему характеру. В другом случае и настаивать бы не стал, однако тут вожжа под хвост попала.

— Ничего особенного, конечно. Да как без документов? Один хлыщ тут приезжал...

Антон толкнул его. Миша слетел с табуретки, тут же подскочил, завязалась драка, разгоревшаяся не на шутку к тому моменту, когда русалка вошла в дом. Вошла, обвела происходящее пристальным совиным взглядом и удалилась. Вмешиваться не стала. Посидела на крыльчке, подождала, пока закончат. Закончили быстро, смутившись ее появлением. Миша прошмыгнул мимо сидящей, по ходу извинился и, не оглядываясь, слинял со двора, хлопнув напоследок калиткой, от души хлопнув, со всей дури. Антон объявился на крыльце следом, обнял русалку и повел в дом. Все, что хотел знать, он уже знал.

* * *

Когда по утрам Антон садился на кровати, чтобы внимательней разглядеть спящую, то каждый раз находил деталь, скрытую от него до сей поры. Например, маленькие шрамики на нижней губе — как если бы она была рыбкой и дважды попадалась на крючок. Одна грудь чуть меньше другой — это ему видно, как художнику, привыкшему оценивать объемы. Искривленный мизинец на правой ноге — как будто она родилась с камушком между пальцами. Его радовали эти отступления от совершенной художественной формы, эти неясности, неразгаданные приметы. На ее теле за многие утра он обнаружил довольно шрамов, не старых, но хоро-



шо заживших. Однажды это взволновало его и вопрос помимо хозяйской воли выпал изо рта. Так у нее глаза сделались пустыми, какими-то безответными. От этого Антон мучился пару дней. Вопросов больше не задавал. Но хотел уже пойти к Мише — пусть расскажет. Потом струхнул. И решил излечиться работой — взялся писать ее снова, теперь как женщину со шрамами, воплощение боли и желания. Бесстрашная, желтоглазая, она раскинулась в кресле, выставив кверху живот, похожий на могильный холмик.

* * *

Однажды в мае Миша вдруг привел тонкого мужчину, глаза которого едва светились между тяжелыми веками. Если не присматриваться, то они могли показаться закрытыми. Антон пустил незваных гостей во двор, где на тонкого напали щенки: принесла Антонова лайка, крепко сидевшая на привязи из-за вздорного характера. Мамаша лаяла хрипло со своего места, щенки тявкали, подкатываясь, создавая хаос. Миша старался не глядеть на Антона, который молча уселся на косо́й чурбачок.

Вышла на крыльцо Оксана. Мужчина сделал к ней движение. Но она обратилась к Мише, сказала глухим голосом, от которого Мишу всего пробирало холодом, Антона — жаром:

— Я уже просила никого ко мне не приводить. Я не знаю этих людей. Прошу оставить меня в покое.

Мужчина метнулся было к ней, она же увернулась и решительно вышла со двора. Антон, ухмыльнувшись, скрылся в доме. Участковый, стуча в окна, требовал уважения к своей служебной фуражке, да ничего не добился и поплелся вслед за поникшим приезжим, который не ругался, однако молчал довольно сердито. В молчании поднялся на паром и в молчании же отбыл.

Вечером товарищи напились, раздобыв самогонки, и Миша жаловался, что ему теперь светит нахлобучка от начальства, ибо хлыщ имеет какой-то вес в городе, но ради друга он, конечно, на все готов. А утром с похмелья пошли бродить, докачались до порта, потом до вокзала, поскакали от избытка жизни по шпалам, полезли в горы, как в детстве. Миша трепался почем зря, вспоминал, засмотревшись на белый горный позвоночник, сияющий на другом берегу. Рыжая трава ползла впереди, озеро подкатывало к берегу ледяные лепешки и бочонки. Повсюду розовело: кустарники обрастали почками, готовыми со дня на день взорваться. Таились в траве чашечки прострела, покрытые легкой шерсткой.

Мужчины забрались на скалу, порченную тоннелем, и уселись на верхотуре покурить, слушая, как постукивают внизу в воде бочонки и лепешки. Миша вдруг сказал:

— Не переживай. Я все понял, не дурак.

Внизу в ответ постукивала своими счётами бездна: понял — ну тогда держись...

Младенец у русалки и Антона получился горластый. Орал, перекрикивая гудок мотани. Орал, перекрикивая теплоходы.

В город роженица не поехала, пару раз показала врачу, которого держала железная дорога для своих работниц. Докторша с длинными седыми волосами, собранными в огромный пучок, походила на повелительницу ветров — худая, стремительная, безжалостная. Каждый месяц она объезжала маленькие станции. Поселковым бабам спуску не давала. Но к молодым беременным бывала обычно добра. После рождения (по этому случаю Раиса притащила к русалке местную повитуху, от старости почти уж безымянную, все звали ее просто бабкой) докторша осмотрела ребенка, заключила, что здоров, и велела приписать к поликлинике.

Когда крикун спал, Антон работал. Русалка, по обыкновению, сидела в кресло у окна и глядела на улицу. Если Антон работал в доме, то вполглаза наблюдал за ней, стремясь уловить особинку, которую отмечали все, но никто не мог назвать.

Мишина невеста Екатерина, плотная, крепкая, напоминающая радостную мощную тыкву, говорила просто:

— Какая-то она у тебя не такая, — и неопределенно шевелила пальцами.

Миша ничего не говорил. Только задумчивей становился в присутствии русалки, весь подбирался.

Антон все присматривался. В чем заключалась особинка, не открывалось ни глазу, ни карандашу, ни кисти.

Антон устроился в поселковый клуб оформителем — кормить семью. Ни капли, впрочем, не сожалел о времени, он расписывал белыми буквами какие-то кумачи, малевал афишки для кинопоказов, мастерил простенькие декорации для театральной секции. За это время успевал о многом подумать, успевал соскучиться и радостно торопился домой к обеду.

Волнение, испытываемое перед лицом природы, перекинулось теперь на младенца, который менялся ежедневно, подобно поверхности озера, набирал вес и силу. Нечто неподвластное, неподконтрольное, свободное в его лице вышло наружу из русалкиного чрева и склоняло на свою сторону. Младенец колыхал руками и ногами, будто водоросль под водой. Круглые глаза, окруженные растопыренными гигантскими ресницами, жили своей жизнью: мутная, синеватая радужка начинала желтеть, ограниченная темным коричневым кругом, желтизна сверкала, словно крупинки золота прятались в прозрачном песке. Мать смотрела на мир точно такими же глазами. Чаще всего ее взгляд не имел никакого выражения, прямо как взгляд младенца, рассеянно собирающий из пространства какие-то важные только для него частицы. Антон замечал это и удивлялся.

Русалка так и не обзавелась подругами, одна Раечка прибежала. В присутствии русалки черты ее лица по неведомой причине смягчились, обида отступала — и они вдвоем кроили-шили какие-то сложные наряды из старого, из простецких материалов, которые заказывали Мише, частенько бывавшему в городе по служебным делам. Женщины щебетали, разбирая привезенный заказ, Миша обычно подпирал дверной косяк, исподтишка разглядывая русалку. Она не то что похорошела с той поры — вроде даже и не похорошела. Просто появилась четкость, резкость в ее чертах. Или это он свой бинокль получше настроил, усмехался над собой Миша.

— Милая она какая, да? — шепнула ему однажды Раиса, когда русалка вышла укачать захныкавшего ребенка.

— Ну и чего милого? Женщина, да и все, — смутился Миша.

Но больше не от Раечкиных слов, а оттого, что в дальней комнате, дверь которой рассохлась и закрывалась не полностью, увидел картину предельной выразительности. Он вспомнил, что однажды увидел в учебнике у старших, а сам был еще маловат: рубашка у женщины раскрыта на груди, она кормит младенца, а за ее спиной темные горные гребни, а над ними высоко облака. Он был тогда поражен — не круглой грудью, поразившей бы его позднее, а высотой, на которой все происходило: мать и кудрявого младенца определенно заточили в высоченную башню! В доказательство этому он увидел птицу в пухлой младенческой руке: она влетела в окно и младенец, конечно, ее сцапал, как Мишина младшая сестра цапала все, что проплывало возле ее огромного круглого лица...

Однако старший лейтенант Миша, участковый Миша оценивал теперь отнюдь не общую ситуацию. Русалка подняла глаза от младенца и уставилась на тайного зрителя. Миша дернулся, стукнулся о косяк, запнулся о жестяное ведро, произведя гомерический грохот: если бы боги на Олимпе захотели чем-то погреть, то погрели бы именно так. Заревел младенец. Русалка расхохоталась. Миша рванулся прочь. Раечка от изумления открыла рот.

* * *

Ее смех не покидал Мишиних ушей. На выходных он собрался с мужиками на охоту, вернулся позже всех, небритый, грязный, хмурый. Под недовольное ворчание Екатерины отмылся, побрился и отправился на пароме в соседний поселок, а оттуда автобусом в город. Рысью бегал по учреждениям, наводил справки в управлении, с конфетами явился в адресный стол.

Антон не хотел знать о ней ничего, Миша хотел знать все.

* * *

Вдруг не понимаешь, откуда оно взялось, ведь вроде и не было еще пять минут назад. Вдруг не понимаешь, за что тебя так нахлобучило. Вдруг тебя вынули из теплого мешка, поставили на ветру перед всей этой

красотой и сказали — любви. Тут можно и растеряться. Особенно если вокруг внезапно обезлюдело: огромная водяная пустыня, огромная воздушная пустыня, огромная горная пустыня. Нет даже направлений. Никто ничего не знает.

* * *

Перешагнули наконец еще одну осень. Осенью Мише было особенно плохо, все в нем требовало действий, требовало выхода. Он мужественно надевал форму, нацеплял пустую портупею, шагал-вышагивал по улицам или, что хуже, бился, как муха, в своем кабинетике, выделенном для участкового портовой конторой. В грязноватое кабинетное окошко он видел, как русалка катила брезентовую колясочку с малышом, как на ее длинных бедрах колыхалась легкая, еще летняя, в темный горох юбка. Волосы, выгоревшие за лето, точно подернулись красноватым загаром. Она остригла их так, что была видна мучительно-бледная шея.

Она была определенно не в Мишином вкусе. После учебы в городе он вернулся в поселок вкусов не поменяв. Она была целиком и полностью городская, а городские девушки казались ему смешными, уж очень похожими на птиц — на волнистых попугайчиков, которых держали в живом уголке детского сада: они щебетали, прихорашивались, были пестроваты и тонкокожны. Миша же выбирал девушек сочных, кондиционных, фигуристых — и обязательно длинноволосых. Такие обычно приезжали на учебу из районов, были медсестрички, учительницы или зоотехники. Отношения обычно получались насыщенные, но короткие. Миша не терпел над собою никакой власти, а полнокровные девушки — так уж ему везло — оказывались чрезвычайно властолюбивы. Его мать, жившая на соседней от Мишиной казенной квартиры улице, сердито шутила на этот счет. Она ждала и все не могла дожидаться внуков. Учительница Екатерина, последний сыновний выбор, ее вполне устраивала, как могла бы устроить полезная домашняя скотина или практичный ковер.

Русалка была не в Мишином вкусе — напротив, она невероятно раздражала его. Она была городская взрослая женщина, но совсем не смешная. Его разуму, казалось, не за что зацепиться в этой женщине, чтобы составить хоть какую-то характеристику, она была текучая, изменчивая. Натурально, русалка, только сетью ловить, ругался про себя Миша, и на его простодушном лице созревала гримаса недовольства.

И тем более яростным было его недовольство, чем более его главный друг погрязал в своем чувстве. Что он нашел в ней? Чем взяла его эта худющая ведьма со страшными глазами? А голос — точно ветер воет в ущелье. Точно река ревет. Точно ревет весенняя река, гонит тяжелую зимнюю воду с гор, освобождается. Наливается силой горной воды, расходится, топит все вокруг, сносит камни, заборы. Уносит человека. Уносит его, Мишин, разум.



Он наблюдал за ней. Он кое-что знал о ее жизни. У него в сейфе хранился ее паспорт. Ни она, ни Антон не захотели его взять.

* * *

Все полетело к черту в тот день, когда упал снег. Метели разбойничали где-то по распадкам, а после заявили и в поселок.

Озеро стояло спокойным, поглощая мелкую небесную крупу. Всякая видимость пропала, словно распространился на многие километры густой туман. Потом закружило. И уже самые рассеянные мужики, из дачников, спешно заволакивали лодки глубже на берег, а то и запирали на зиму в сараи. Скотина медленно брела домой. Миша окончил мучительное сидение в кабинетике и тоже побрел, напоминая себе глупого потерявшегося бычка.

На середине его пути ветер окреп, зарычал. Летали повсюду обеспокоенные красные и желтые листья, лиственничные мягкие иголки. Вдруг обрушились на улицу вихорьки, полные снега. В этом снегу слышно было мычание, бляение, человеческие голоса. В одном из вихорьков Миша встретил белую с рыжим корову, один рог розовый: русалка раскрасила. Вслед за коровой внутрь снежного заряда вошла она: простоволодая, шейка торчит из старой куртки, глаза горят.

Корову Антон купил недавно. Управляться с ней русалка еще не научилась. Подступала аккуратно, просила, а корову нужно огреть — да и пойдет как миленькая. Миша развернул животное, придал ему нужное направление и русалку придерживал, чтобы не унесло. Так они дошли до места, поставили корову в стайку (Антон убрал оттуда весь хлам, накопленный покойным отцом в отсутствие скотины). Хлам валялся рядом, ожидая распределения. Из разноцветной кучи ветер вытянул длинный рукав старой тельняшки, который на ветру полоскался, будто завалило матросика и он размахивал рукой, помощи просил.

— Зайди, еще поможешь, — попросила русалка.

— Не. Катька ждет, — попятился Миша.

Русалка постояла перед ним, наклонив тонкую шею, словно раздумывала.

— До свидания тогда, — сказала и пошла в дом.

Миша стоял на дворе, наполнялся снегом, листвой, воздухом. И когда наполнился по самую верхушку, когда стал таким полным, что уже не продержаться было — разорвет, метнулся за ней.

Она ладил детскую кроватку. Антон с утра отбыл в город, Миша видел его на пароме. Кроватку, которую с этим же паромом им привезли по заказу Антона, она собирала сама. Действовала неловко, но настойчиво, методично. Могла бы мужика подождать, уложила бы ребенка с собой. Ничего страшного одну-то ночь — не придавила бы. Чего она с этой кроваткой затеяла? Миша — как был в обуви, в форменной курт-

ке — холодный, с горящим лицом, шагнул к ней. Она только на ногах удержаться и сумела, а больше ничего. Он ее сгреб, как будто вдохнул всю, и запутался дыханием в ее волосах, горячей щекой уперся в прохладную шею. Ее тело лишь словно бы удивилось, вопросительно изогнулось, немного смягчилось под его напором. Он чувствовал, будто бы гнет лозняк, пытается сломать, а тот не ломается, гнется. Поддается и не поддается.

Держа ее крепко, не выпуская, отодвинулся, сделал усилие и взглянул на нее. Взглянул, отшатнулся. Лицо ее было спокойно, как всегда, глаза чуть потемнели, блески в них переливались под воздействием электрического света, губы приоткрылись, немного набухли.

Он понял вдруг, что мог бы уронить ее на кровать, на диван, совершить с ней то, чего мучительно хотелось, мысли о чем убаюкивал он беспощадно и безрезультатно. Однако ей было бы все равно. Она бы впустила его в себя как вода, поглотила бы как вода, а сама бы забылась, раскачиваясь. Он бы утонул в ней, а она бы равнодушно гнала и гнала свои волны. Волны приходят одна за другой, сменяют друг друга, время течет. Но вода хранит память обо всем — так, он слышал, говорил по телевизору один ученый.

Он закрыл глаза и ослабил хватку. Она не шевелилась. Он уронил руки и стоял с закрытыми глазами, мнилось, целую вечность. Из этой вечности поднялась неловкая догадка:

— Может, его тоже не любишь.

Она не шевелилась, стояла рядом, тихо дышала. Вместо нее вечность ответила ему:

— Не люблю.

— Значит, прошлое не ушло?

— Не ушло, не ушло, не ушло... — шипела вечность.

* * *

К утру стихии уgomонились. Паром чуть задержался, но пришел. Привалился тяжелым телом к причалу.

Съехало две машины. Прошагали люди. Антон, больше, чем обычно, подволакивая ногу — к непогоде она наливалась тяжестью и, казалось, даже скрипела, — спустился, огляделся: все было незнакомо, за ночь обновилось.

Он доковылял до дома. Русалка встретила его, улыбалась больше, чем обычно. Ребенок спал.

Она спросила, все ли благополучно. Усадила, растерла больную ногу.

Пришла Раечка. До вечера женщины шептались в зале, раскидывая на большом столе выкройки, листовая журнал мод, который привез Антон.

Он с удивлением обнаружил, что младенец помещен в новую кроватку, которая была собрана и устроена в теплом и светлом углу их спальни.

Достал хнычущего сына и переложил на большую кровать, и так оба они уснули под женское шушуканье, смешочки и шелестение.

Русалка заходила дважды. Смотрела на них и уходила. В ее круглых желтых глазах собиралась тяжелая, густая вода.

* * *

Они славно пережили зиму. В декабре, под Новый год, приехала в гости мать. Она нянчила внука и наблюдала за невесткой, в которой подметила какую-то странность, но определить ее словами затруднялась. Русалка ей не понравилась.

— Антош, чего она у тебя словно неживая? Стесняется?

Сын отшучивался.

Мать уехала только к весне, вдоволь нагостившись и нанячлившись.

В ночь после ее отъезда был сильный ветер, распахивал двери. Беспокоился ребенок, русалка передела его и бродила по дому, качая.

Антону тоже не спалось, мир вертелся, стучался в окна. Отозвавшись, Антон вышел на крыльцо. Этот ветер он узнал, этот ветер сулил перемены. Наверное, потому, что это ветер весны, подумал Антон. В голове он набрасывал картину, в которой решил дать особенно легкое движение мазку, презреть плоскость, скользнуть, взорваться. Цвел уже багульник. Багульник станет отличным фоном. Замысел созрел наоборот — словно сама картина уже существовала и Антону следовало только извлечь ее из тайного хранилища: извлечь по частям, собрать и предъявить миру.

Русалка уложила младенца. И теперь тихо плакала, стоя у раскрашенного кухонного шкафчика.

Антон вздрогнул. В слезах слишком много человеческого, удушающего, тесного. Они как биография, как дневник. Лучше без них. Лучше без вопросов и без слез, пусть все будет *сейчас*.

Она смотрела на него, ожидая вопроса. Но он ничего не спросил. Поцеловал, обнял и повел в кровать. Когда легли, она все смотрела. Наконец он не выдержал:

— Спи.

Она послушно закрыла глаза и затихла.

* * *

Утром вылезло солнце, заулыбалось во весь солнечный рот. Антон побывал на службе, соорудил картонное дерево для поселковых театралов, а после надумал писать багульник. По дороге забежал домой перекусить.

Разогревшийся воздух навис над крыльцом и трогал двери, искал щелочку проникнуть, полюбопытствовать, как перезимовали. Однако дверь была закрыта на замок. Антон удивился, нащупал над косяком ключ, вошел. По стеклу в доме поползли мухи и настойчиво жужжали, требуя выпустить их на волю.

На улице бегали мальчишки. Их голоса носились в воздухе, как стрижи перед непогодой. Ранцы свалены кучей на берегу. Один из мальчишек — Раечкин, с таким же, как у матери, острым лицом. Раечка двигалась по улице в направлении ребятни. Схватила своего, наподдала. Пацан забрал ранец из кучи и побрел прочь. Раечка кричала что-то, размахивая руками. Остальные мальчишки тоже подобрали сумки и тоже побрели.

«С урока сбежали», — сообразил Антон. Раечка заметила его, торчащего в окне, помахала и направилась к дому, намереваясь зайти. Он встретил ее на крыльце.

— Твоя где?

— Ушла куда-то. Гуляют, что ли?

И заволновался лишь к вечеру, когда, оторвавши взгляд от мольберта, увидел в окно, как вдалеке, двигая перед собой горы воды, шел ветер.

* * *

Отец рассказывал ему в детстве, что озеро никогда не бывает спокойным, рождая ветра во всех распадках и углах. Они срываются с горных вершин, выползают из пещер, не злонаправные, но равнодушные, поэтому опасные для человека. Ветра созревают летом на ягодных кустах, зимой вылупляются из ледяных яиц. Они хозяева воды, гор и всей растительности. Они рыскают всюду и озорничают, как дети.

Сейчас ветер шел, поднимая воду, вбивая в облачную паплю ее мрачный рассыпчатый перламутр. Вокруг темнело. Антон зашагал по улице, ускоряя шаг по мере того, как сгущалось пространство. Ему навстречу издали двигалась фигура, в которой он признал Мишу. Тот одной рукой прижимал к груди что-то небольшое, а второй волок за собой что-то длинное, формы неопределенной. При ближайшем рассмотрении небольшое оказалось мальчиком, а неопределенное — коляской, в которой русалка возила сына на прогулки. Бывало, они всей семьей уходили за мыс, спускались на каменистый пляж. Там она любила бывать и до появления сына. Сядет и сидит как приклеенная, смотрит на воду, иногда камушек бросит. Новое качество свободы открылось в этих прогулках Антону: возможность просто быть среди растений и камней, быть у кромки воды не художником, а человеком. Не жалеть — потому что все излишне, не жалеть — потому что нечего жалеть из-за отсутствия желаний. Не хотеть увидеть, а видеть...

Миша протянул ребенка отцу, Антон принял сына. Мишино лицо менялось, морщилось от ветра.

— Антоха, че за новости?

Ветер отнес Мишины слова куда-то в сторону, забросил в воду, и прозвучали они неразборчиво, как из глубины: буль-буль-буль.

— Где она? — вопрос друг другу задали одновременно.

Антон услышал: буль-буль-буль... Повернувшись лицом к озеру, сильно обхватив малыша, устроенного под курткой, он всмотрелся в массу воды, похожую на гибкий рыбий бок, inferнально блиставший чудовищной чешуей. Гигантская рыба восстала из озера, гребла плавниками, открывала пасть, выпуская пузыри: буль-буль-буль. Зачем она пришла?

Мальчик заплакал, сдавленный в отцовых объятиях. Миша схватил Антона за плечи и подтолкнул вперед.

— К Раисе мальчика отнесем, — скомандовал он.

В его круглой голове закрутились-забежали мысли. И одна мысль прицепилась: неужели опять?

Доковыляли под ветром до Раисино дома. Хозяйку не нашли на месте, сдали ребенка ее старшей дочери, испуганно вскинувшей брови. Выходя со двора, Миша велел Антону идти до магазина и искать на пристани, заглянуть к женщинам, для которых русалка шила. Сам припустил к вокзалу, от которого начинался удобный спуск к воде.

На деревянном помосте у вокзала, куда привозила и откуда забирала груз и пассажиров мотаня, ежедневно собирались древние бабки и вели свою вечную беседу. Сидели на лавочке, бубнили. Здесь Миша и обнаружил полчаса назад мальчика в коляске. Тот сладко посапывал под старушечье воркование. Матери его нигде не наблюдалось. Миша отправился в здание вокзала, деревянный длинный домишко, оставил конверт, который машинист мотани должен доставить в райцентр (в конверте лежало заявление на отпуск), и вернулся к младенцу. В нем поднялось служебное беспокойство. А помимо служебного, нарастало и свое личное. Старухи, растревоженные потемнением и гулом, идущим с озера, встрепенулись и поползли по домам. Миша, поняв, что малыша их заботам не поручали, сгреб младенца, подтянул коляску, понес домой.

Теперь он возвращался назад. Искать ее.

* * *

Миша часто следил за ней. Не то чтобы подглядывал — наблюдал.

Он видел ее разную.

Служебный интерес сменился раздраженным вниманием, затем заинтересованностью ревнивца и, наконец, страданиями отвергнутого любовника. Прячась в огромных валунах, он смотрел, как она входит в воду, видел будто бы ее чешую, и будто бы плавник между тонких ледяных лопаток, и будто бы даже хвост, мелькающий, когда она совершала короткие заплывы в ледяной воде.

Однако вот уже некоторое время он был спокоен. Миша чувствовал, что отупел от безнадежного чувства, устал и всеми силами готов ему противостоять, — но не знал как. Это все от любопытства, говорил он себе, оправдывая ситуацию, в которую попал. И занимался службой, а потом

хозяйством, а потом ночными делами с Екатериной. Грусть и томление он носил как бы в потайном карманчике. Если же случалось наткнуться на русалку, то карманчик сам собою открывался. Тогда он шел следом, прятался на берегу за валунами, курил за углом магазина, когда она покупала хлеб. Смотрел из окна кабинетика, если она катила коляску по главной улице. И мечтал избавиться от ее навязчивого образа, уехать хоть даже в город, а лучше на юг: там, говорят, есть такие же пейзажи, и море, и скалы, и рыба. Хотя такого наполненного, такого ясного существования, как дома, он, конечно, нигде больше не добьется...

Миша спустился от вокзала к самому берегу, добежал до скалы, за которой начиналась широкая полоса каменистого пляжа. За скалой обычно ночевали туристы, городские отпускники, любители бардовской песни или альпинисты, прошедшие сотню километров через все тоннели и мосты и ожидающие наутро мотаню, чтобы отправиться в райцентр, или паром, чтобы вернуться в город. Они ночевали на берегу, а утром вползали в поселок, похмельные, уставшие.

Выше, в распадке, украшенном переливчатой ленточкой крошечной реки, впадающей в озеро, рассыхалась маленькая усадьба. Ниже, на берегу озера, должна быть лодка, брошенная гнилая моторка без мотора. Хозяин дома и лодки умер. Лодка обычно пела от ветра. Запоздавшие льдины стучали друг о друга, аккомпанируя отрывистой туземной песне.

Миша, прорывая воздушный поток, двигался в направлении лодки. Ветер мешал смотреть, давил на веки. Сквозь ярость воздуха он наконец разглядел место. Лодки не было. Он поднялся в распадок, который розовел и местами уже зеленел, но всклокоченными желтыми волосами еще колыхалась пустая прошлогодняя трава. Усадьба не подавала никаких признаков жизни.

Внутри стояли на подоконнике разнокалиберные банки. В кухонном закутке ютилась закопченная посуда, оставшаяся от хозяина, торчал у окна полуразрушенный стол. В комнате прижалась к полу панцирная сетка от кровати, а дверь подпирала единственная табуретка: их никто не захотел брать. Основную же мебель давно растащили сельчане. Не было и стекол. Туристы затащили оконные проемы мутной полиэтиленовой пленкой, и она теперь шумела под ветром.

При скудном свете, который пропускал грубый полиэтилен, Миша обнаружил на столе вместительную широкую кружку — в горох, с отбитой ручкой. В кружке была вода. Кружка встревожила Мишу. Для туристов рановато: они появлялись позже, в свой сезон, когда поднимались ночные температуры. Рыбаков здесь никогда не бывало.

Он побежал к берегу. Бежал вдоль, дальше и дальше. Берег резко взмыл вверх. Миша поднялся, вошел сквозь тоннель, прорубленный в скале, самый длинный на протяжении всей железнодорожной ветки. Черная труба ничем не оканчивалась, впереди не было маленькой светлой точки, как в других тоннелях, точка появлялась позже, когда половина

расстояния уже пройдена. В этом тоннеле всякий звук делался отдельным, сосредоточенным. Каждый шаг звучал, каждый имел значение. Идущий ощущал себя отдельным от мира, само существование становилось в этой черноте, лишенной постороннего движения, осязаемым. А это куда страшней с непривычки, чем ощущать присутствие рядом с собой кого-то еще, пусть даже и невидимого, неизвестного. Но Миша был здесь свой, и сейчас чернота была для него лишь расстоянием, которое надо, ради всего святого, побыстрее преодолеть. Светлая точка наконец появилась, постепенно она становилась кругом. Открылся вновь яркий мир, который играл звуками и формами.

Рельсы уходили дальше, к мосту, нависшему над следующим распадком, выпускающим из расслабленного горла буйную и широкую речку. Миша сверху видел ее устье. Там, среди ледяных пятен, плавал красный цветок.

* * *

Ничего. Вот так-то: ничего. Все мучения были случайны и напрасны. Все и ничего. Когда они достали ее из воды в первый раз, она уже была и всем и ничем. Ничем для них. Она решила все для себя раньше, чем попала к ним в сеть. Случайно и напрасно попала?

Разве случайно? Миша огляделся вокруг: море больше не ревело, оно стихло, приветствуя его траур. Какое счастливое время: она пришла к ним в сеть, наполнила смыслом грубые скалы, успокоила буйную глубину. Разве напрасно? Никогда раньше он не ощущал, что радость — это то, что разлито вокруг него чьей-то щедрой рукой. Радость и горе вовсе не противоположны. Они друг другу части, половины. Теперь он горюет и радуется. Теперь он на самом деле все понимает...

* * *

Русалка была легкой — не как обычные мертвецы.

Он зашел в озеро по пояс, он тащил ее из ледяной воды. Лыдины стучались о ее бока, о ее ноги. Верхняя пуговица на красном пальто (он привез ей отрез ткани на это пальто) оторвалась, пальто раскрылось, под ним заблестела она настоящая, ее серебристая чешуя.

Теперь для нее следует определить место.

Все еще стоя в воде, он слушал, как ветер переходит на шепот. Как лыдины отвечают ему шуршанием. И расслышав в этом разговоре то, что касалось и его непосредственно и прямо, развернул плавучее тело и побрел с ним в обратную сторону, от берега, не замечая, что сам весь горит от холода. Наконец, оттолкнул мертвую прочь — без сожаления и с грустью. Тело двинулось по свободной воде вперед. Никто никогда не узнает о нем ничего.

Это все случилось так давно, будто и не случилось, а если случилось, то не с ним, не с Мишей. Его будто бы на свете еще не было в те стародавние времена, в те времена, когда мужики ловили и пороли березовыми розгами маленьких озорных фараонов. Миша вздохнул и отер лицо ладонью.

— Съезжу. Только в море выйду, — повторил Антон, посмотрев на небо, освободившееся от дождя и уже блестящее сладкой голубой глазурью, как пряник.

По сыну он скучал, но в его присутствии начинал страдать, глядя в круглые, светло-карие, почти желтые русалкины глаза. Хорошо, хоть внуки пошли не в нее.

— Успокаивается, — заметил Миша, почувствовав, как меняется погода.

На смену горькому воздуху пришел сладкий, пряный. Такой же ветер, вспомнил он, подул и в тот день, когда он мокрый, страшно замерзший толкнул ворота Антонова дома. Отомкнул дом, скинул одежду, завернулся в одеяло, пытаюсь согреться.

Антон вернулся уже в темноте. Смотрел вопросительно. Миша помотал головой — ничего. Вдвоем сидели в остывающей избе, не глядели друг на друга. Не говорили.

Спустя сутки прибыло подкрепление — два молоденьких милиционера из райцентра, по настоятельному вызову участкового. На поиски русалки двинула половина поселка. Миша командовал. На следующий день появился и следователь, выпал из мотани. Вдвоем они прошли по домам.

Миша слег на третий день. Его увезли в город. Русалку не нашли. Следователь помыкался еще пару суток да и вернулся в райцентр — расследовать на расстоянии.

Через месяц Миша появился в поселке страшно худой, но бодрый. Антон встретил друга на пристани, тоже худой, словно и он жестоко переболел. И сообщил:

— Не нашли ее. Зачислили в пропавшие.

В голосе товарища Миша услышал облегчение и смирение, какую-то успокоенность и — на минуту показалось — радость. Ведь пропавшая — не значит погибшая. Наоборот, много людей пропадает и по собственной воле, сбегают — и все. А может, настанет срок — и вернется...

Миша покивал, мол, уже знаю. А сам думал: озеро никогда не отдаст своего. Хотя и ему сначала было легко...

Летом Антон закончил портрет русалки с ребенком на руках. Миша, все еще сидевший на больничном, приходил, устраивался у окна, взгромоздясь на табуретку (русалкино кресло стояло пустым, никто не смел его занять), и долго смотрел, как Антон работает — жадно, сосредоточенно, словно спешит к тому моменту, когда она снова появится, готовит ей сюрприз. Она утонула, хотел сказать Миша. Но язык не поворачивался.

Он попросил нарисовать птичку в младенческой руке. Антон сейчас же и нарисовал.

Миша выпросил эту картину себе.

* * *

Долгие годы Антон, просыпаясь ночами, часто думал о том, куда бы ему податься из поселка. А не вернуться ли в город, отказать жильцам, которых пускал за небольшие, но верные деньги, и вселиться в квартиру? А не податься ли к матери, прихватив сына? Мать, наверное, была бы рада. Однако, прислушиваясь к ночным звукам, он начинал сомневаться: звуки свидетельствовали, что он одинок в бесчувственной, хоть и ярко звучащей вселенной. Мать не полюбила русалку — так что зачем ему ехать, везти груз памяти туда, где ему нет места? Оставалось принять одиночество как есть. Потом мать умерла, и он перестал метаться. Начал выходить в море как рыбак, забирать себе часть улова — брал выкуп за утерянную часть своей души.

Когда вырос и уехал в город сын, Антон зажил бирюком, разделяя досуг только с Мишей и лодкой. Он много писал, картины его покупали музеи и частные коллекционеры — с большой перспективой на будущее, ибо его работы имели одно удивительное свойство: спустя время краски приобретали неожиданный оттенок, линии становились четче, лица свежели. Они словно бы открывались, посвящая заинтересованного в секреты молодеющего космоса.

Наступление старости Антон определил по внукам: ломались голоса, обозначился яростный характер одного и твердый — другого. Их отец не любил возвращаться в родной поселок; мальчики, напротив, стремились на волю, природа притягивала их, свободолюбие расцветало в присутствии деда, который со временем все больше походил на лешего, зарастая бородой и морщинами.

Старость привлекала Антона. Она обозначала рубеж, перейдя который жизнь его станет иной, непревзойденной, непредсказуемой, просто ветром. Он сможет наконец увидеть все и всему дать справедливую оценку. Затухшее горе, будто и не тревожившее его в последние годы, тлевшее так тихо, так невидимо и не дававшее никакого тепла, восстанет в ином качестве, разойдется магическим костром, который, может быть, спасет кого-нибудь, кого-нибудь согреет. Эта энергия освободится и будет полезна кому-то. Для него самого неизвестность не может быть пережита, его песенка спета. Ей невозможно переболеть, ибо как факт она неопределима. В конце концов, нашу жизнь определяют несбывшиеся мечты и потерянное счастье.

Часто он засиживался на берегу до глубокой ночи, когда звезды укреплялись на небе и торчали, не мигая, сливая свой свет с волную-

щим, текучим светом большой луны. Становилось ясно, что больше нечего изобразить, что любое искусство обесценено этим лунным потоком, прекрасным бессовестно, безнадежно. Что в любой изобразительности звезды не больше чем шляпки гвоздей, на которых держится подвытертый небесный плюш, а под ним — пустой холст и грубая рама, укрепленная фанерными уголками. В череде поспешностей, которые стали его человеческой жизнью, он никогда не имел времени и смелости засомневаться в этом плюше, в этих гвоздях. Но длаящееся с некоторых пор совсем по-иному время прогрызло тряпку подобно моли, а гвозди ржавели и отваливались.

* * *

Когда старики вернулись в дом, там неспешно тек разговор. Серега рассказывал о пожарах, которые идут с востока и посылают дым во все концы. Его сын работал на восточном берегу егерем. Степаныч, капитан парома на пенсии, все жаловался на упадок порта. Антон сочувствовал Степанычу: конечно, порт захирел давно, за ненадобностью, однако понять и принять это означало отказаться от прежних лет молодости, от всей, что ни говори, жизни.

Александр, зимний городской житель, перебирающийся в поселок в мае и уезжающий с последним паромом, делился планами оставить к пенсии квартиру детям и покинуть город насовсем. Антон понимающе кивал. А Миша скептически мотал головой: у него были мысли убежать отсюда в город или в теплые края. Другой вопрос, что бежать ему было некуда, не к кому. Семей он не обзавелся, выставил однажды, давным-давно, Екатерину — и на этом все. Мать сильно ругалась, да Мише ее ругань была безразлична, так что она могла преспокойно ругаться до самой смерти. Так и случилось. Похоронив ее, Миша перешел на службу в рыбнадзор, а на досуге воспитывал детей старшей сестры, вдовствующей на самой верхней, близкой к тайге, поселковой улице. Девочка не чаяла в нем души, а мальчик был таким же, как и Миша, круглолицым молчуном и чувств не выказывал. Но и племянники выросли, разъехались по самым дальним углам.

По правде говоря, все старики, собравшиеся в этой комнате, оказались предоставлены самим себе. Старость всегда предоставлена себе самой, ведь у человека остается очень немного времени, чтобы отыскать смысл жизни. Каждый это понимает. Миша вздыхал и вспоминал красный цветок, распустившийся в ледяной воде, окруженный задумчивым майским льдом и освобожденный, отпущенный наконец в свободное плаванье. Или же отпущенный тоскливо скитаться? Миша тогда сдал районному следователю паспорт русалки, а об остальном ни слова. Никогда и никому — ни слова.



* * *

На следующий день принесло дым, обещанный Серегой. Он белым покрывалом распределился над сопками, над озерной гладью и не был еще удушлив, а только красив.

Дым копился с неделю, а потом солнце стало просвечивать сквозь него белым сгустком с кровавым ободком. От него бежала по молочнo-белой воде, подернутой мельчайшей рябью, красная дорожка.

В дорожку вросла, привязанная к столбику разрушенного пирса, старая деревянная лодка — таких уже и не держал никто. Эта осталась как достопримечательность. О ней заботился Степаньч, берег от погибания. Лодка когда-то принадлежала парому, по возрасту списанному, как и старьй капитан.

Все пропиталось запахом гари. Пахли даже и камни, и дерево. Пахла гарью сама бездна, на которую Антон ходил смотреть. Передвигался тяжело, хромая нога упиралась, идти не хотела. Он сидел на камнях у причала, ковылял по рельсам, выдыхаясь к первому же тоннелю. Задирал голову, смотрел наверх. Оттуда, с верхушки скалы, наглыми глазами сверкала в ответ его молодость.

Природа по-новому говорила с ним, не обнадеживала, а призывала. Скалы теперь казались ему еще более крупными, чем виделось в детстве, деревья приобрели обморочную высоту. Земля становилась ближе, определеннее.

Такая определенность пугала: она сталкивалась с *неизвестностью*, которая пришла в его жизнь много лет назад — и которой он был до поры рад, не предвидя последствий. Он ничего не хотел знать о женщине, что так скоро покинула его. Но женщина ушла — и неизвестность заполнила его всего. Можно сказать, что он сам стал ею, владея секретом, смысл которого сохранялся, не скомпрометированный отгадкой. Неизвестность он принял как дар, а потом спасался ею, не желая исполнить тайны, — да не спасся, так как нельзя убежать от себя самого. Он сожалел, что принес в жертву художнику человека: время человека истекает, время художника — никогда, даже если он забыт. Художник может жить неизвестностью, которая питает его дар и дает ему возможность раскрыться особенно полно. А человеческое против нее протестует. Не поздно ли раскрыть глаза сейчас, узнать обо всем, принять? «Поздно», — скрипели сосны на скалах. «Поздно», — плескалась белая слепая вода. Озеро казалось бельмом на каком-то огромном глазу. Дело казалось безнадежным.

* * *

Дым начал рассеиваться, когда пришли грозы. Мальчишки с сожалением отбыли к родителям в город: подходили учебные дни.

Антон и в непогоду выходил на берег или бродил по рельсам, волоча ногу. Штормило. Озеро ругалось самой площадной бранью, сосны скрипели на верхотурах.

Миша, простудившись на рыбалке, слег — кашлял, хрипел, температура вызывала кошмары. Его навещала Раечка, чье лицо от старости расплылось и теперь напоминало не мордочку ящерицы, а ноздреватый блин, и еще Раечкина дочка, заменившая мать в фельдшерском пункте. Ехать в больницу в райцентр Миша отказывался категорически. Антон не заходил.

Минула пара недель, прежде чем нездоровье отступило и могучий, хоть и старый уже организм задышал свободно.

— Все легкие просмолил, вот и болеешь. Кури, что ли, поменьше, — напоследок дала совет Раечка, привыкшая напутствовать больных.

— Пойду, что ли, покурю, — спокойно отвечал ей Миша, не терпевший никаких указивок, и вышел на крыльцо.

Шторма закончились, царило лазоревое благообразие, какое Миша очень любил. В такие дни его охватывал восторг, для которого он не смог бы подобрать слова, восторг безысходный и беспричинный, как в детстве. Он захотел пройтись, выйти на пристань, подняться к сестринному дому: тот торчал пустым черным пнем с тех пор, как сестра умерла, а племянники уехали. Миша мог бы перебраться туда (все же хозяйство составлено было женской заботливой рукой), а свою берлогу, запаутившую после смерти матери, оставить. Но никак не собрался.

Раечка постояла вместе с Мишей на крыльце, оглядывая его некрасивый двор, забросанный автодетальями, чурками и хозинвентарем.

— Антона чего-то не видно, — вдруг пришло ей на ум.

Да уж, она его за последний месяц часто вспоминала, рассматривая русалку с младенцем на картине, которую Миша примостил над кроватью. Ей представлялось, что Антон где-то там, внутри картины, в одной из неотчетливых дальних фигур за окном, маячит на заднем плане. Только сейчас пришло в голову, что не видала она его ни в магазине, ни в амбулатории, где частенько принимала больных, подменяя многодетную дочку. А ведь Антон в этот год нередко приходил с жалобами на давление.

— Ну да. — Миша, запахнув старую куртку, спустился с крыльца — как был в домашних тапочках, открыл ворота.

И они с Раечкой побрели по улице. Она отстала у магазина, неся свою по-прежнему длинную, худую, но теперь старчески тяжелую фигуру. Казалось, у нее свинцовые кости — так медленно она поднимала ноги, с задержкою опускала их, шагала как слон. Миша свернул к Набережной улице, дошаркал до дома друга, то и дело теряя резиновые тапочки. Внизу у воды место Антоновой лодки пустовало.

Во дворе лодки не было тоже. Дом стоял незапертым, амбарный замок, которым Антон прихватывал дверь, если отчаливал на рыбалку или уезжал в город, валялся на крыльце. В доме возились мухи и орала кошка, выскочившая, едва Миша распахнул дверь.

Он обошел комнаты. Обнаружил на кухонном окне подвешенный в сетке очерствевший хлеб. Все остальное прибрано, пустовал и мольберт.

Однако холодильник работал, в холодильнике мерзла кастрюля с супом, электросчетчик не вырублен. Старый рюкзак, который Антон, уезжая к сыну, всегда брал с собой под завязку набитым рыбой, — на месте. Болтается на крючке, а рядом выходная Антонова куртка. Не поехал же он в город в своем древнем плаще. Трость, которую товарищ брал в дальние путешествия, тоже на месте, за дверью.

Миша ощутил тяжелую приливную волну. В нем словно поднялось созревшее цунами, завернувшее в рулон поселок, окрестную тайгу и вообще все, что видно глазу. Миша крутился, задыхался в центре волны, которая давила, но не убивала его, только давила. Он успел добрести до кресла, в котором когда-то любила сиживать русалка, а до нее — Антонов отец, все — мертвые.

* * *

Волна ушла, оставив после себя чистое пространство — камни, среди которых цвели сердолики, яшма, какие-то зеленые и голубые глазки, розовые полупрозрачные виноградины.

Надо было рассказать, освободиться еще тогда, а теперь волна обнажила чужую и давно погибшую жизнь, память о которой он присвоил не по праву, держал в клетке, предполагая в этом благо. Он не сожалел о содеянном, преступления не было, он вернул пустыне пустое, глубине — глубокое. Пустое ходило и говорило и даже — вдруг! — наполнилось силой посторонней любви и породило полное, породило сына. Но это всего лишь чудо. Там, откуда жизненная сила давно ушла, вновь стало пусто.

Вот бы и память об этом улетела какой-нибудь крикливой жадной чайкой или мелькнула прозрачной рыбкой — не увидеть, не припомнить. Только память не чайка и не рыбка.

Нет никакого преступления. Есть долг, который превысил себя. Невозможно отдать то, что стало собственной кровью.

Стать хозяином чужой неизвестности — вот уж тяжелая участь, носишь ее вроде как за двоих. Такое твое наказание.

И у кого теперь ему просить прощения?

...Когда Миша очнулся, вокруг ничего не изменилось. Только за окном терзался, требовал чего-то жаркий ветер.

Предстояло войти в новое, которое, назвав, он оживил. В открытое море.

* * *

Огромная спина воды сияла ровным светом. Мышцы ее напрягались, вздымались, тут же и расслаблялись.

Миша, окончательно придя в себя, переобулся в старые Антоновы ботинки и отправился в путешествие, равного которому еще не совершал. Конечная цель была неясна, а начало терялось во времени.

Путь пролегал мимо почты, магазина, мимо порта и станции. В пустынной стране собственного сердца. Отчего кровь его замедлилась? И ноги одеревенели отчего? Но он идет.

В детстве у него была маленькая трубочка, внутри которой происходили странные вещи. Глаз не мог оторвать, заглядывая в ее сердцевину. А сейчас он идет внутри этой трубочки и складываются вокруг замысловатые узоры. Принцип их сложения понятен, однако никогда нельзя угадать, какой узор будет следующим: настоящая красота неповторима.

Путь такой долгий, можно вспомнить всю жизнь. Вспомнить и выделить главное, о чем-то погрузиться, чему-то обрадоваться. Раньше он не замечал, что одинок. А теперь что случилось? Почему сила одиночества выстроилась перед ним темным лесом?

Он шел тем же путем, что и много лет назад в поисках русалки. Завернул за скалу, миновал подпорную стенку, воздвигнутую итальянцами, фриулианскими мастерами, в ответ на безудержность здешней природы. Дальше, по светлому распадку, в счастливом неведении бегали дети, грела охряные бока, набирая солнца к зиме, новенькая турбаза, выстроенная на месте старой усадьбы. Теперь турбазе, а не усадьбе напевала прохладную песню речка, рассекавшая распадок на две неравные части. Вокруг выстроился темный лес. Он будто бы притаился, ждал до поры, прикидываясь неподвижным.

Миша спустился к речке и вдоль по скользкой, замыленной от постоянного хождения тропинке прошел к озерному побережью. Речка с восторгом нарушала величественный покой озера, подсакивая на камнях, вертя пену и травяные стебельки. Постоял, подумал. Потом поднялся от берега к длинному тоннелю. И нырнул в его темноту.

Вынырнув, увидел высокий мост со свеженькими, недавно переложенными шпалами, а внизу следующую реку, питающую озеро своей дикой водой, и — то самое место. Путь к нему такой долгий.

Если он после смерти попадет туда же, куда и Антон, то при встрече скажет: она как могла любила тебя, изо всех сил любила, но ее жизнь уже была закончена *до тебя*, она стала призраком моря, женщиной из рыбацких сказок, появляющейся в расщелине дна вместе с чистой водой. И это будет настоящей правдой. Потому что правда не безжалостна, как принято думать. Правда как вода — течет, питает, изменяется и меняет.

* * *

Фонари в поселке горели через один. Но этого было достаточно, потому что луна набрала силу и светила со всей дури, обещивая парочки, притаившиеся во всех углах: в клубе случилась дискотека.

Миша завернул в свой проулок и толкнул калитку. Путешествие вымотало его. Темный двор осветился тем неловким и неустойчивым светом,

который рождается отражением. По двору словно пошли волны, в волнах зашевелила плавниками рыба, заблестела боками. Заволновалась донная растительность, обозначились на стене дома ломаные силуэты подводных губок. Видно было каждый камень, слагающий дно. Видно было, как обрывается в районе крыльца, накрытого сверху глубоким козырьком, бездна, уходит вниз трещина в теле земли. Миша шагнул в ее темноту.

В бездне он разглядел красное свечение, крошечное, затем маленькое, затем снова крошечное и снова маленькое. Будто идешь по кишке тоннеля к выходу в жаркий день, когда воздух плывет, свет впереди неровный. Обвыкаешь, и, хоть глаз кругом коли, кажется, что зрению доступны мельчайшие передвижения воздуха, создающие видимость. Ты не видишь стен — но будто бы видишь. Не видишь фигур, даже если кто-то движется с тобою о бок, — но будто бы видишь. И сейчас: словно сидит на крыльце, в самой бездне, фигура — сутулая, бесформенная. В детстве мальчишки собирались компанией, чтобы играть в тоннеле в страшные догонялки — хватали друг друга в кромешной тьме. Миша выбросил вперед руку.

— Сдурел, что ли, на старости-то лет? Сказать зашел, чтоб собирался, в море завтра пойдем. А потом к сыну поеду.

Бездна, говорившая Антоновым голосом, зашевелилась и отступила.



Елена ЕЛАГИНА

РАДИО ДЛЯ ГЛУХОНЕМЫХ

1.

Декабрь пустынен, как тоска
Предвечная — «Зачем оставил?»,
Хоть истину наверняка
Провозгласит апостол Павел
И будет паству научать
Быть милосердней и добрее
И никогда не отличать
Ни эллина, ни иудея,
Лишь человека... Но снежок
Скрипит, болезный, под ногою:
«Земным деяньям вышел срок».
И страшно с истиной нагою
Остаться tête-à-tête, увы,
Душа к земному льнет прощально,
Господней яростной любви
Не вынеся прилив финальный.

2.

Январь перетечет в февраль,
Тоска — в печаль, печаль — в забвенье...
Последнее стихотворенье
Закончится на слове «жаль»...
А жизнь закончится на том
Последнем вздохе, за которым
Нет смысла в слове. Жадным ртом,
Привычным к долгим разговорам,
Прильнешь к заветному питью
С названьем «Лета» на табличке,
Когда другим дадут кутью.
И — захлебнешься с непривычки.

3.

Божья любовь для нас
 все равно что радио для глухонемых:
 вибрацию разве что слабую
 ощутишь дактилоскопическим узором,
 ветерок легчайший, врезающийся под дых,
 за священной книгой, за вечным, как жизнь, разговором.

Шелестит что-то в воздухе, по листве крадется, в свечах
 вспыхнет храмовых, утихая мгновенно, неуловимо...

Если жизнь — это радость,
 что смерть тогда? Счастье? Заचाх
 давний спор, что первично, аминь!

Без огня не бывает дыма.

Но уж если накатит волною — тогда держись!

Что там твой маринист
 с девятым валом покатым,
 если в бездны кидает

и снова возносит ввысь,
 возвращая тебя одной любовью богатым
 к этой жизни,

где долго на ней не протянешь, нет,
 вновь в соблазн впадешь,

перестав ощущать цунами
 восходящей силы...

О, как затихает кларнет,
 гложут скрипки как,
 оставаясь лишь внешне с нами.

Этот мир невидимый,
 лучше ли он, чем наш?

Или хуже? Узнаем еще —
 никого не минует эта дорога.

Собираемся скоро,
 входя в туристический раж,
 жизнь меня на смерть,
 как актер меняет типаж,
 как меняет поклонника
 ветреная недотрога.

4.

На эту жизнь, убогую, как суп
У бедняка, как речь у нувориша,
На эту жизнь, чей почерк прям и груб,
Чей окрик строг, а шепот, еле слыша,
С трудом улавливаем, напрягаясь так,
Что звон в ушах, на эту жизнь простую,
Где всё в цене — и солнце, и табак,
С привычкой, уже не протестуя,
Уже не мысля европейских благ,
А только — лишь бы сердце ровно билось! —
На эту жизнь, где каждый сир и наг,
Мы молимся. И молим, чтоб продлилась.

5.

Время, сплющенное, как клоп,
В котором объем и мера изъяты,
Так и толкает сорвать стоп-
Кран, как рвануть чеку из гранаты,

Смачно харкнув в эту харю: «Жри!
Все равно подавишься, образина!»
Прыгай, милый мой, прыгай на счете «три»,
Если ты не юнец уже, а мужчина.

За спиною ветра волшба и пространства свист,
Громоздятся дел недоделанных горы.
Отложив черновик, переходишь на новый лист,
Где совсем другие цвета и узоры.

О, словечко немецкое, каверзное — дейтнот,
Переложить ношу вдруг на другие плечи,
Чтоб, свои расправив, вчерашний высушить пот
И понять, что и пункта конечного нет,
И прошедшая жизнь — далече...

Сергей ПРОКОПЬЕВ

ПЕСНЯ ЖИЗНИ БАБУШКИ ПОЛИН

Мини - повесть*

Не будь этой семьи, не будь на белом свете этих людей — жизнь была бы на малую толику преснее. Нет, не скажу, что идеальные праведники. Осуждали ближнего и дальнего, обижали и тех и других, порой под сердцем злобу почем зря носили, в гордыне пребывали, не отличались смирением. Все это так. Но ведь и украшали собой землю. Что там говорить — украшали!

Артист-пулеметчик

Он — Фрол Кузьмич Кругляков, она — Полина Ивановна с той же фамилией. Что один, что другая — личности харизматичные. Фрол — фронтовик. Без ноги вернулся с Великой Отечественной в родную Белоярку. По этой причине конторским стал. В госпитале освоил бухгалтерское дело. Тут власть заботу проявляла: обучали покалеченных фронтовиков инвалидным специальностям. Бухгалтер — он и без ноги мог дебет с кредитом на счетах сводить под ноль.

Язык у Фрола Кузьмича от природы ораторски подвешенный, на войне не пострадал, а только закалился. Утром в контору Фрол Кузьмич загодя приковыляет. Мужики у крыльца курят, обязательно кто-нибудь спросит: «Фрол Кузьмич, че там пишут?» Фрол Кузьмич газеты да журналы пачками выписывал. Как начнет рассказывать — что да почему на земном шаре творится! Давал перцу империалистам, что на Кубу хобот поднимали или еще какие козни устраивали против бьющихся за свободу негров. Вьетнам американцы напалмом жгли... На основе газетной скукоты такой политтеатр разворачивал механизаторам, скотникам и остальным колхозникам — только держись. И за столом незаменимый тамада с неизменным баяном. И пел. Высокий, чистый голос. «Соловушка наш!» — бывало, расчувствуются бабы.

Кстати, о птичках певчих. Точнее, о войне. Три года без малого оттрубил на передовой Фрол Кузьмич, но при всем своем красноречии рассказывать о славном боевом пути не любил. Категорически. Отшучивался, если кто начинал с расспросами вязаться.

* Журнальный вариант.

— Да че я воевал? На гармошке всю дорогу песни играл.
 — Артистом, что ли?
 — Ну. Артист-пулеметчик. «Строчит пулеметчик за синий платочек...» Постреляю чуток по фрицам, чтоб не вякали, и за гармошку или баян. Как-то деревню под Орлом освободили, аккордеон немецкий ребята принесли. На нем тоже наловчился пиликать.

Напиликал Фрол Кузьмич на два ордена Боевого Красного Знамени, медаль «За отвагу», орден Красной Звезды. Творчески получалось не только меха баяна растягивать — пулемет в руках сибиряка тоже искусно строчил по бойцам фрицевской армии. Командовал Фрол Кузьмич расчетом «максима». И Бог хранил его на передовой.

В солдатах был щупленьким, не всякая пуля ужалит такую цель. Пулеметное гнездо, известное дело, кость в горле для врага. Первым делом норовит он эту огневую точку заткнуть, лупит по ней из чего только можно. Фрол Кузьмич за щитом «максима» голову, плечи, грудь, остальное худенькое туловище ухитрялся прятать от пуль и осколков. А куда длинные ноги девать? На них не хватало защиты. Пять раз слабому месту доставалось.

Четыре первых ранения, можно сказать, были пристрелочными. Последнее случилось при переправе через Западный Буг. С группой бойцов десантом под шквальным огнем форсировали реку. На вражеском берегу зацепились за высотку, дабы обеспечить подход основных сил, да батальон, идущий следом, немцы остановили, не дали с ходу занять позиции. Четырнадцать часов — весь световой день — пулемет Фрола Кузьмича держал оборону. Ствол «максима» раскалился докрасна, казалось, не стрелял, а плевался огнем. Одиннадцать атак отбила тающая горстка солдат. Из пяти бойцов расчета Фрола Кузьмича к вечеру уцелели всего двое. Плюс «максим», тот тоже продолжал воевать — очередь за очередью посылал в немецкую сторону. «Кажется, продержались!» — в сумерках подвел итог трудового дня Фрол Кузьмич. И поторопился. Немецкий коллега-пулеметчик из крупнокалиберного резанул по ногам гармониста.

Раненого сразу бы к хирургу на стол. Да где тот хирург со столом? Пока наши в темноте подошли, пока Фрола Кузьмича в госпиталь переправили, пока до него очередь дошла — ничего другого не оставалось, как ампутировать правую ногу выше колена.

Отвалялся сибиряк полтора года в госпиталях и вернулся в родное село с гармошкой, орденами и на протезе. Искусственная нога не помешала первую красавицу взять в жены.

На сценических и печных подмостках

И не только красавицу отхватил в жены фронтовик, по музыкальной части она в самый раз подходила Фролу Кузьмичу. Полина Ивановна — певунья. Грудной, сочный голос. Мещо-сопрано по-научному. И внеш-



ние данные в молодости были — словно с оперной сцены шагнула на сельскую улицу. Не с балетных подмостков, где, как известно, не женщины, а кости да мышцы, кожей обтянутые. Оперные певицы совсем другое дело. Голос — он лучше в пышных формах держится. Ему плодородную почву подавай. Нужна стать, рост, объем груди.

Как запоет Полина Ивановна — красота! На всех гулянках первая исполнительница народных песен. На частушки-пустобрешки — похихикал и забыл — не тратила талант. Предпочтение отдавала протяжным, где душа горлом рвалась наружу. До слез пробирала. Пусть и полупьяных. А ведь тоже надо уметь.

Любила затянуть:

Вот мчится тройка почтовая
По Волге-матушке зимой.
Ямщик, уныло напевая,
Качает буйной головой.

Песня сметала широкой волной разговоры. За столом делалось тихо, как в концертном зале. Так уж повелось в застольях — этой песне-балладе не подпевали, все слушали. Виделась Волга с высоченными заснеженными берегами, тройка на искрящейся под солнцем дороге и ямщик, объятый тяжелой думой, с раной на сердце — навсегда терял любимую девушку.

Ах, барин, барин, скоро Святки,
А ей не быть уже моей,
Богатый выбрал да постылый —
Ей не видать отрадных дней...

Что уж там творилось внутри Полины Ивановны, когда пела? Спроси — она и сама бы лишь плечами пожала. Казалось бы, где та Волга подо льдом? Где та тройка под расписными дугами? Где тот ямщик с ременным кнутом? Но звучала песня так, что с последней нотой хотелось садануть себя кулаком по колену, выдохнуть, мотнув головой: «Эх... Жизнь ты моя поломатая!»

У Фрола Кузьмича, отчаянного пулеметчика, любимой песней была «Безымянная высота». На День Победы исполнял ее обязательно. Девятого мая у обелиска в центре села собирались воины Великой Отечественной. Фрол Кузьмич приходил с баяном. «Безымянную высоту» пели все фронтовики. У каждого случалось в круговерти войны: «Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят».

В домашнем хозяйстве что Фрол Кузьмич, что Полина Ивановна не блистали талантами. Детей-то нарожали дай бог каждой семье. По демографическим показателям плодovitая вышла пара: пять сыновей и две дочери. А хозяйство — смех. Корова вечно по титьки в навозе. В огороде травица по пояс. Что дети сделают — то и ладно. Фрол Кузьмич



по причине протеза не рвался на передовую домашних проблем. Полина Ивановна выборочно относилась к ним. В огородных делах явно была не прима. Здесь формула «талантливый человек талантлив во всем» применения не имела.

Чего не скажешь о кулинарном даре. Особенно если вдохновение поварское накатывало. Не обязательно по причине праздника. Могла под вечер прийти с работы — служила библиотекарем в школе — и вдруг зачешутся руки... И пошло-поехало! Кураж Полины Ивановны передавался русской печке. Беленой толстобокой красавице, что стояла главным атрибутом-агрегатом большой кухни. Как гармошка в руках Фрола Кузьмича, которая преображалась, когда хозяин входил в азарт, — так и печь. Полина Ивановна ворочала чугунами, кастрюлями, сковородками, печка гудела огнем, дышала созидательным жаром. Варено-жарено бурлило, скворчало, источало ароматы...

Готовила Полина Ивановна в циклопических количествах. Оно и понятно — орава в доме. Поэтому чистить, резать, крошить приходилось горами. Если бы Ахматова увидела этот процесс, она бы точно привела цитату из себя: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи...» Охваченная порывом кулинарного созидания, Полина Ивановна не думала о мелочах: отходы летели во все стороны, если что задерживалось на столе (луковая шелуха, картофельные очистки), тут же следовал широкий жест, смахивающий помехи на пол — нечего путаться под руками. Как скульптор избавляется от лишнего, высекая из камня шедевр, так Полина Ивановна отбрасывала в сторону ненужное.

— Мам, мы только что пол подмели, вымыли! — завозмущаются дочери при виде варварской картины.

— Не скиснете! Еще раз уберетесь!

В процессе творческого порыва вдруг обнаруживалось отсутствие необходимого ингредиента. Полина Ивановна, как полководец, ведущий решающее сражение, бросала в бой резервы. Отправляла детей в магазин. Если и сыновья-дочери отсутствовали под рукой, успевали смыться к данному моменту, приходилось решать проблему с привлечением соседских запасов.

Она выскакивала на высокое крыльцо и кричала соседке, что жила за глухим дощатым забором:

— Лена, выручай! Соль кончилась!

Голос Полины Ивановны пробивал любые заборы и стены. Полулицы тут же узнавало о солевом дефиците у Кругляковых. Лена щедро сыпала в стакан соль, бежала к соседке, обязательно спрашивала, предвосхищая события:

— Может, еще че надо? Принесу!

— Не, у нас все есть! — звучало в ответ.

Но вскоре раскрасневшаяся от внутренней энергии и внешнего печного градуса Полина Ивановна снова кричала с крыльца:



— Лена, лаврентия неси!

Лаврентий — это не мужик в очочках и с усами, лютой госдеятель времен сталинизма. Лаврентий — лавровый лист.

— Недавно покупала, — принимала от Лены специю, — да на мою шоблу не напасешься!

Могла понадобится томатная паста, перец-горошек. Да мало ли что. Лена с удовольствием выручала соседку, она знала — в последний раз Полина Ивановна выскочит с призывным:

— Лена, айда пробовать!

Полина Ивановна была из тех художников, которые не прячут произведения по запасникам, а щедро выставляют их на суд почитателей. Лена бросала все и летела снимать пробу с шедевра.

Элементарные щи получались гениально. Рассольник из почек — ел бы и пел. Исходный материал для блюд (скажем, мясо), конечно же, самой высокой кондиции. При должности Фрола Кузьмича только качественные продукты могли доставляться в дом. Да ведь чей желудок не испытал на себе, что легче пареной репы превратить отличный продукт в тошнотворное варево. Здесь же ничего подобного. Коронным блюдом у хозяйки считались рыбные пироги. Они имели высочайший рейтинг в Белоярке. Стояло село на берегу Иртыша не одну сотню лет, местные жители спокон веку умели обращаться с рыбой, но... Если у кого-то из сельской элиты случалось особой важности торжество — шли на поклон к Полине Ивановне с нижайшей просьбой испечь пироги. И потом блюдо за столом торжественно представлялось как авторское, фирменное. Все знали: пироги от Кругляковой — значит, высший класс.

Исключительная была повариха Полина Ивановна, тогда как на стирку талантов не хватило. Мешал размашистый характер. Могла вместе с половиками праздничные рубашки сыновей замочить. Рассуждала: че зря время терять? Замочит на полчаса, а тут на гулянку, к примеру, позовут...

Мало какое сельское торжество (именины, крестины, свадьба, проводы в армию, встреча родственников) обходилось без Кругляковых. Фрол Кузьмич в одном лице две роли исполнял. С одной стороны, гость почетный, почти свадебный генерал (колхозный бухгалтер — должность высокая), а с другой — баянист каких поискать. И человек компанейский, в нужный момент и анекдот расскажет, и любой политический вопрос разложит по полочкам. Ну и Полина Ивановна — звезда не второй величины, украшение любой компании.

И вот позовут Кругляковых на гулянку. Если Полина Ивановна у корыта в тот момент окажется, приоритет в дилемме — стирать или гулять? — не первому отдается. Поэтому не скоро возвратится к замоченному белью хозяйка. И результат может получиться не слишком радостный. Кинутся сыновья рубашки искать — на танцы, к примеру, идти в клуб, а рубашки в полосах от половиков.

- Мам, ты че сделала?
- Че-че! Постирала. Ходите чумазиками... Надевайте, че носом крутить? Чистые, да и ладно!
- Да полосами же! Это ведь не отстираешь!
- Но не рваные же!

«Ёшь золотая»

Вся семья пела. Могли такой концерт закатить! Фрол Кузьмич на баяне играл самоучкой, ни единой ноты не знал, а мог бы, прояви желание, по музыке ученым стать. Его в музучилище из госпиталя звали. Настойчиво агитировали, дескать, с вашим абсолютным слухом будущее отличного музыканта вам обеспечено, только немного подучиться. Фрол Кузьмич — мужичок расчетливый, пораскинул мозгами и отказался. Лестно о себе такое услышать, но «абсолютный слух» — это что-то абстрактное. Тогда как бухгалтерские счета в руках — вот это профессия. Одним словом, не захотел менять село на призрачное городское счастье.

На жизнь зарабатывал в конторе, а уж в свободное время, в особенности в выходные и праздничные дни, баян из рук не выпускал. И в будни мог запросто привести друзей-товарищей домой. Наплевать, ночь или полночь, — айда ко мне, дорогими гостями будете. Выпьют, конечно же, и, конечно, не чаю морковного. А следующий после тостов номер программы — хозяин детьми начнет хвастать. Давай будить свою гвардию на концерт.

Ни сыновей, ни дочерей не учил никогда буквам или стихотворениям типа «Идет бычок, качается», но петь да играть — с малолетства всех. Чуть подросли — вот уже и хор. Здорово пели. И солистом каждый мог. Как такими детьми не погордиться перед подгулявшими товарищами!

Младшего, Федьку, Фрол Кузьмич на табуретку ставит:

— Пой, сынок!

А Федька спать хочет, глаза у бедняжки слипаются. И с дикцией нелады — не все буквы еще выговаривал. Однако отца это разве остановит, ему во что бы то ни стало надо продемонстрировать таланты наследников. И запоем, бывало, Федька с табуретки, как со сцены, старательно высоким голоском выводя:

Ой ты, ёшь,
 Хорошо поешь!
 Ты о чем поешь,
 Золотая ёшь?
 Счастье повстречается —
 Мимо не пройдешь!
 Ой ты, ёшь!

«Ёшь» — это у Федьки «рожь» так выпевалась.



Штрихи к портретам Федьки и Тольки

С годами у Федьки с дикцией все наладилось, его даже в Омский русский народный хор приглашали. Он учился в автодорожном институте, пел в институтском ансамбле. Знаменитый солист Омского хора Шароха на смотре студенческой самодеятельности заметил талантливого парня. Он и фактурой мужской любо-дорого посмотреть: в плечах широкий, русые вьющиеся волосы... И голос! Шикарный баритон.

Шароха и так и сяк принялся соблазнять студента на профессиональную сцену. Бросай, мол, институт, пошли к нам, будешь по заморским странам ездить: Америка, Франция, Швейцарии всякие. И не где-то во втором ряду подпевать — место солиста обеспечено. Между делом, дескать, окончишь музыкальное училище, а там и консерваторию. Но Федька, как и отец в госпитале, отказался от призрачных хлебов артиста, решил, что у инженера-дорожника надежнее будущее. Лишь иногда посетует: «Мог бы и со сцены петь!» Впрочем, тут же оборвет себя: «Да чего там хорошего в этом артистическом блудосборище?»

Брат Федора Анатолий, было дело, голосом подрабатывал на кусок хлеба. Учился в институте не ахти как, стипендия далеко не всегда обламывалась — ну и пел в ресторане. Школу Анатолий с грехом пополам окончил. Некогда было впитывать знания. То на рыбалку труба зовет (стерлядь дуrom на закидушки прет), то хоккейный сезон нагрел или надо терзать гитару в школьном вокально-инструментальном ансамбле. Когда тут за учебниками сидеть?

Тем не менее после выпускного вечера сунулся не в профтехучилище — в институт подал документы. Амбициозности не занимать, ну и с первого экзамена оказался за бортом высшего образования. Вскоре в армию забрали. В тюменских лесах Анатолий задумался: ведь ему светит всю жизнь в навозе возиться. Нужен диплом! А служил в ракетной части. Командир — мастер спорта по многим видам — гонял воинов-ракетчиков через день да каждый день. То кросс, то разминка, то соревнования, то тренировка. У Анатолия хорошо получалось бегать на лыжах и без оных, толкать и метать все что можно. Нацелился он на физкультурный институт.

Но ведь там экзамены не только по бегу и прыжкам. Анатолий попросил старшую сестру Светлану выслать ему учебники, начиная с пятого класса. Много нового для себя открыл по всем предметам. Дополнительно к теоретическим занятиям по русскому писал сестре длинные письма и требовал, чтобы та присылала их обратно с указанием красной ручкой ошибок орфографических и стилистических. Она учительницей работала в Бийске. Поначалу возвращались письма типа картин на тему первомайской демонстрации — красным-красно на каждой странице. Потом праздник стал бледнеть. В синие будни в конечном итоге так и не превратился, однако на твердую тройку сочинение при поступлении в институт Анатолий написал.

И остальные экзамены сдал с таким же успехом — кроме спортивных. Что касается испытаний на беговой дорожке, в бассейне и в секторе для метания, здесь Анатолий мало кому уступил. Учась «на спортсмена», пением в ресторане неплохо подрабатывал.

Лешка и моторашка

У Кругляковых в те славные времена, когда все они жили в Белоярке, середины не было. И ходили-то ускоренным темпом. Даже Полина Ивановна при ее внушительной комплекции отличалась легкостью на ногу. Фрол Кузьмич, несмотря на протез, тоже умудрялся с ветерком гнать вдоль по Промышленной (так называлась центральная улица), по которой пролегал путь ветерана-инвалида в контору. Ну, а уж сыновья — те исключительно бегом. Но и бега им не хватало: чуть подрастали — сразу повышали скорость передвижения по селу с привлечением технических средств, пересаживались на велосипеды, мотоциклы. С этого исторического переходного момента очередного подросшего Круглякова пешком никто не видел. Казалось, что и уезжали они навсегда из села на своих мотоциклах, или, как звала Полина Ивановна двухколесных коней с мотором, «моторашках». В результате один Лешка остался верен родному селу, остальных его братьев и сестер разнесло по белому свету.

Лешка за всех братьев в Белоярке отдувался на гулянках: пел, на балаяне играл, а также на гитаре, балалайке, веселил публику. Он не прельстился высшим образованием. Фрол Кузьмич с гордостью говорил: «Я всем детям дал образование!» И добавлял с грустинкой: «Лешку-шалопая тоже бы выучил, но, как говорится, в семье не без Лешки». — «Всем нельзя быть инженерами, — отмахивался сын, — кому-то надо и коровам хвосты крутить да за дойки дергать!» Хвосты Лешка не крутил ни коровам, ни козам, за дойки тоже мясо-молочную скотину не дергал, работал по моторашечной части — шофером. В разное время возил хлеб, почту, продукты.

И личный транспорт имелся. Поэтому пешком не утруждал ноги. С гулянки, бывало, возвращается на «Иже-Юпитере» — мотоцикле с коляской. Никакущий. Моторашка, как хороший конь, дорогу домой знает, везет неторопливо Лешку. Тот хоть и крепко сжимает рога руля, да исключительно дабы не вылететь из седла. Улица прямая, но дом Лешкин в стороне от магистрали. Доедет он до нужного проулка и стоп, тормозит. А повернуть руль — это уже выше человеческих сил. Уронив голову на грудь, посапывает полусонно и ждет момента, когда какой-нибудь сердобольный земляк увидит картину «Богатырь на перепутье» и спросит:

— Че, Леша, домой?

Тот мотнет утвердительно не совсем послушной головой. Земляк повернет руль, задаст нужный вектор, и вскоре моторашка с нагулявшимся хозяином упрется в родные ворота.

Покос

Отзвенели молодые годы Фрола Кузьмича и Полины Ивановны, пролетело лето жизни — с ярким солнцем, веселыми грозами, радужными ливнями, — подошла осень земного пути. Дети разлетелись по большим городам, обзавелись семьями, обросли заботами, некогда родителям весточку написать лишней раз. Один Лешка в пяти минутах жил.

Опустел в недавнем прошлом шумный дом. Кошка Лизка мяукнет когда или корова Марта замычит во дворе да пес Уран взбредет. От коровы Фрол Кузьмич отказываться не хотел. Любил он простоквашу, литрами мог пить, и все же не в ней крылась причина.

Месяца за полтора до сенокоса Фрол Кузьмич садился за письма сыновьям. День Победы отгуляет, отпразднует, как полагается фронтовику, а где-нибудь через недельку, отойдя от события, брался за письма. Писал длинно, слезливо, давил на жалость без всякой скидки. Дескать, ослабли мы с матерью, не то что раньше горы могли свернуть, не та силушка, а надо сено косить.

Полина Ивановна ворчала, ругалась:

— Ну че ты опять пристаешь? У них своих дел невпроворот, а ты с покосом. Лешка не накосит, че ли? А то и купим, они обязательно деньги пришлют! Не оставят, не бойся. Уж детки у нас дай бог каждому.

Фрол Кузьмич не обращал внимания на замечания жены, строчил и строчил. Отправив первую партию писем, он и не думал сложить руки ждать реакции сыновей на вопль отца о помощи. Через неделю садился за следующий почтовый веер. Ответов в эпистолярном жанре не было. Кто-то присылал лаконичную телеграмму, кто-то отмалчивался. Да Фрол Кузьмич на письма и не надеялся. Главное, считал, достучаться до совести. И ведь ни разу не получалось, чтобы никто не приехал. А бывало, все собирались. В том числе невестки, зятья, внуки.

Вот уж когда дом вставал кверху дном! Гости приезжали на короткий срок. Поэтому в долгий ящик ничего не откладывали. Невестки и дочери с порога затевали генеральную уборку по всем углам. Полина Ивановна вспоминала молодость и прочно занимала место у печки и гнала всех, кто набивался в помощники. Сама шуровала чугунками да сковородками, заводила тесто. Внуки шныряли по огороду. Хоть бабушка и не больно много внимания уделяла грядкам, все равно было что поклевать: морковка, горох, бобы, малина дурниной росла у забора, на задах смородина — красная да черная. При случае можно и на крыжовник наткнуться в зарослях травы. Сыновья тоже что-то делали под командованием отца во дворе и дома, однако на покос не рвались в первый день. Мужики считали: никуда он не денется.

Куда рвались сыновья — так сесть за стол и отметить встречу! Стол всякий раз ломился, проседал от разносолов, ножа не просунешь между тарелками, салатницами, селедочницами, мисками и вазами. Полина

Ивановна загодя готовилась к покосу, и гости не с пустыми руками приехали. Что это были за вечера! Само собой, выпьют хорошо, само собой, закусят отлично. Оно и понятно — мужики как на подбор! Прямо шкафы за столом. Не в прогонистого Фрола Кузьмича сыновья — в мать. Широкой кости. Тарелки только отлетают...

Но вот наступает момент, когда Фрол Кузьмич, сидящий во главе стола, как настоящий артист, лениво так предложит:

— А не спеть ли нам, мать?

На что Полина Ивановна обязательно, вздохнув картинно, скажет:

— Сиди уж, певун! Отпели мы свое, отец, отыграли... Пусть молодежь отдувается. А мы послушаем.

Молодежь, конечно, начинает просить. И Полина Ивановна, чуток пококлетничав, без всякой разминки и распевки затягивает: «Вот мчится тройка почтовая...» Фрол Кузьмич (он никому не разрешает аккомпанировать матери в этой песне) растягивает меха баяна. И поет тульский баян на пару с Полиной Ивановной, взмывает вместе с ней вверх: «Ах, барин, барин, добрый ба-а-арин...» Уходит в тоске вниз: «Богатый выбрал да постылый...» Вдвоем рвут они души слушателей этой тысячу раз слышанной историей. Любили начинать с этой песни. Выложиться, взять уровень, а потом баян переходил из рук в руки... И что только не пели! Из репертуара Руслановой, Шульженко, Богатикова. Русские народные, украинские обязательно. Далеко за полночь заканчивался концерт.

Белоярка на косьбу рано-рано поднимается. Покосы за Иртышом, пока туда доберешься... А ведь надо следовать присказке «коси, коса, пока роса». Еще темно, а уже начинается движение косарей на берегу, Иртыш оглашает треск лодочных моторов. Одни Кругляковы не торопятся. Они спят. Шутка ли, чуть не до третьих петухов из-за стола не вылезали. Проснутся, когда уже солнце вовсю разгуляется. Какая там роса? Жара к земле давит. Кругляковых температура окружающего воздуха не волнует. Они пьют чай, не торопясь собираются. И возникает традиционный диалог отца с сыновьями. Фрол Кузьмич настойчиво требует взять его с собой, но братьям такой довесок в обузу. Будет под руку указания давать. Они под разными предложениями стараются оставить отца дома.

Наконец под доводами сыновей Фрол Кузьмич сдается:

— Да ну вас, неслухов! Только бы наперекор отцу поступить.

Лешка заводит лодочный мотор, братья прыгают в посудину, она тяжело оседает. Лешка закладывает крутой вираж и нацеливает нос лодки на другой берег:

— Ну, парни, погуляли — и будет!

Специально для покоса он хранит в погребе две фляги с березовым квасом. На косьбу берет пару канистр с фирменным напитком. Покос метра в двухстах от воды. Братья дойдут до него — и за косы. У каждого своя, именная; Лешка предварительно отобьет все, он по этому делу мастак с детства.



— Сопли жевать некогда! — командует на правах местного. — Это вам не в ваших городах. Давайте упрямся рогом! Мать уже с пирогами завелась, я утром стерлядку принес, надо успеть к горяченьким.

Как пойдут косы сверкать в высокой траве! Фрол Кузьмич в свое время, при должности главного бухгалтера, хороший покос застолбил. Добрый луг. Перегородят его братья-косари шеренгой. И айда... Как упрутся без перекуров! Только время от времени кто-нибудь остановится, воткнет косу ручкой в землю, чтоб, не дай бог, кто не наступил невзначай, подойдет к канистре с ядреным квасом, приложится — и опять за косу. Ух работают... Да и что тянуть? Дома мать с пирогами, стол с гуляньем!

При хорошей погоде через тройку дней сгребают просохшее сено и перевозят через реку. Это отдельная песня. Лодку загружают так, что сердце кровью обливается: страшно смотреть, того и гляди перевернется. Фрол Кузьмич с берега картину увидит — копна летит по воде — и как начнет ругаться! Лодка едва-едва бортами не черпает воду. Но сыновьям надо быстрее-быстрее! «Че дробиться?» — говорит Лешка. И вправду, «че», когда пироги стынут, холодец тает, водка киснет?

Лодка, чудом не перевернувшись, доставит копешку на родной берег. Дальше сено перегружается на Лешкину моторашку, у него на этот случай прицеп имеется специальный. И снова транспортировка идет на пределе технических возможностей.

— Заполняй бомбовоз до ватерлинии! — командует водитель.

Перегруженный «бомбовоз» еле прет, взбираясь в гору, — берег-то высокий! — мотор жилы рвет, натужно ревет. У Фрола Кузьмича сердце разрывается.

— Сожгете моторашку! Лучше лишнюю ходку сделать...

Да куда там! Сыновьям лучше лишнюю песню за столом спеть.

Чудеса офтальмологии

Корову Фрол Кузьмич держал до последнего: даже когда Полина Ивановна отказалась доить, сам стал обихаживать Марту. «Пока могу — буду!» — упрямо стоял на своем. Умер в одночасье.

В тот день у жены давление подскочило. Вызвали «скорую», приехала машина, укол поставили. Врач, дочь подруги Полины Ивановны, не сразу за порог смоталась, подождала, пока болящей полегчает, посоветовала недельки две в стационаре полежать, дала таблетки на всякий случай.

Медики уехали, а Фрол Кузьмич говорит:

— Не могу, Поля, горит все внутри! Горячим пламенем пылает!

Примерно за полгода до этого вдруг попросил:

— Похорони меня, Поля, рядом с мамой. У отца место лучше, но с мамой хочу. Дурак был, брата послушался, надо было настоять —

маму к папе подхоронить. Так Ванька уперся: «Пусть каждый рядом со своей родовой лежит!»

Полина Ивановна завозмущалась:

— Ты с чего это, Фролушка, засобирался умирать? А я как одна?

— Это я просто к слову.

...Но вдруг воспламенилось в груди. И «скорая» не успела.

Стала жить Полина Ивановна одна. Квартирантов держала — все веселей. Хоть чаще не совсем путные попадались. Где-то в это время получила она прочное имя — бабушка Полин. Назвал ее так трехлетний внук Сережа, Федькин сын. Она звала его — Серьга. «Бабушка Полина» у Серьги не выговаривалось, а «бабушка Полин» получалось звонко. С его легкой руки она вошла в последний период своей жизни с этим именем. Ее так даже Лешка порой называл. Самое интересное: Полина Ивановна не обижалась, больше того, ей новое имя нравилось.

Будем и мы звать ее так.

Корову она продала, но сыновья приезжали и без покоса. Главным занятием стала рыбалка. Уедут мужики, бабушка Полин заставит невесток половики стирать:

— Девки, давайте-ка наведем чистоту, пока мужики рыбу на пироги ловят. Тащите в корзинах половики на берег, а я себя помаленьку.

Невестки тащат половики, а бабушка Полин себя с трудом перемещает в ту же сторону. Доковыляет, сядет и смотрит вдаль. С глазами у нее, как и с ногами, совсем плохо: сделали операцию по удалению катаракты, да не очень удачно.

И вот сидит на берегу. Вдруг говорит:

— Вон сыночки плывут.

Невестки вскинут головы. Вроде как точка на горизонте движется.

— Не может быть, не они это!

— Как не они, когда вон Федька на корме сидит, я же хорошо его вижу.

Как она может видеть? Минут пять назад теплоход прошел, говорила:

— Звук слышу, а так не вижу.

Но тут уверяет:

— Че я, не вижу, че ль? Федька на корме, а Лешка в носу.

Невестки и лодку еще не различают, а она видит, где кто из сыновей сидит. И ведь точно, угадает. То ли сердце подсказывает, то ли глаза на сыновей зрячими становятся. Чудеса офтальмологии, да и только!

Мамушкина вафельница

Собралась бабушка Полин к дочери Светке на Алтай. Как всегда, десять сумок набила. Мед, ветчина домашняя и другая всячина. Лешка приехал забирать; бабушка Полин сидит на табуретке, вокруг сумки,

а в руках вафельница. Да не просто вафельница — музейный экспонат. Оказывается, вафли — изобретение отнюдь не XX века и их не в какой-нибудь французской провинции кулинары придумали. В русской печке тоже делали изысканное печенье. У вафельницы бабушки Полин ручки полутораметровые. Кованые.

Лешка как увидел мать с этими оглоблями, так и обомлел.

— Мам, ты че, с ними собралась ехать?! — спрашивает.

Хотя сам не верит. Ну не может такого быть!

Может.

— А че? Я, сынок, отпекла вафли-то, надо Светке передать. Вафельница мне от мамушки досталась! По наследству.

Лешка аж забежал по комнате.

— У Светки нет русской печки. Куда она их совать будет?

— На газе будет печь.

— Да у нее кухни не хватит на эти оглобли.

— Хватит. Помнишь, когда отцу девять дней делали, на газе вафли пекли?

— Как же не помню! Бабы чуть не поубивали друг друга этими жердями!

— Ниче, Светка аккуратно будет.

Сын решил с другой стороны подойти:

— Мам, твой агрегат для моей машины негабаритный, не влезет!

— Как-нибудь войдет.

— А в вагоне как ты с ним будешь?

— Ниче...

Лешка понял: мать не переговорить, а время поджидает. Он, как всегда, приехал тютелька в тютельку, никакого зазора по времени не оставил про запас. Лешка к тому времени с моторашки пересел на «жигули». Вырвал он у матери кондитерский агрегат, крутнулся — и за дверь. Прибегает через двадцать минут, ручки почти по самое основание отчекрыжены.

— Едем, мама, скачками, не то опоздаем!

— Ты че, варнак, натворил? — подскочила с табуретки мать. — Ты че наделал?

— Как раз Светке — с ее микроскопической кухней!

— Мамушка мне передала, а ты обкорнал!

Бабушка Полин чуть не в слезы. А что уже сделаешь?

— Че ты такой-то безголовый? — ругалась всю дорогу. — Че безмозглый-то такой? Сердца у тебя никакого нет!

— И рук нет, и ног тоже! Непонятно, кто тебя каждый раз в город возит?

— Он еще и подшучивает! Испортил вафельницу!



— Да купит Светка какую надо! Сейчас и электро есть, и на газе! Зачем ей твоя уродина?

— Это же мамушкина вафельница! Как ты не понимаешь? Мамушка на ней на свадьбу мою пекла и, когда ты родился, в роддом мне приносила вафли, на ей сделанные...

На Алтай в тапочках

Бабушка Полин любила у дочки Светланы гостить. Она бы и к Анне ездила, да та жила чересчур далеко — в Чите. Туда не наездишься — трое суток на поезде. Сыновья в Омске жили, но их реже, чем Светку, посещала, неудобно себя рядом с невестками чувствовала.

В тот раз собралась в Бийск в декабре. Никольские морозы ударили, она Лешку просит: отвези в Омск на вокзал. Сын примчался везти маму: та сидит в зимнем толстенном пальто, в шали. А на ногах... розовые тапочки в горошек. Обувь никак не по погоде.

— И че? — остолбенел он, разглядывая матушкин прикид.

— Танька-квартирантка, сучка такая, мои валенки и сапоги куда-то задевала! Пропила, наверное. С нее станет. И слиняла — второй день нет, а я обыскалась, не в чем ехать. Не поеду.

— Как это? Толя билет уже купил! Светка ждет! А ты — «не поеду».

— В чем?

Забегал Лешка по дому в поисках — вдруг что-то найдется? А ничего. На улице без малого сорок градусов. Но Лешка был бы не Лешка, если б согласился материн отбой уныло поддержать.

Он встал перед матерью и широкими мазками набросал план взятия Алтая:

— До Омска за полчаса на машине долетим, на вот шаль, укутаешь ноги, не замерзнут. До вагона тебя с Толиком на руках донесем, он на вокзал обещался прийти, а в вагоне тепло. Светке сообщим, она тебе какие-нибудь чуни найдет.

Так и сделали. Сыновья маму, не успела она из машины вылезти, подхватили на руки. Хоть мама далеко не изящных размеров, да они ее, как легкую лебедушку, шутя внесли в вагон, посадили на сиденье.

Попутчики всю дорогу удивлялись. Бабулька в розовых тапочках за тысячу километров в самые морозы двинула в гости!

Доехала путешественница в легкомысленной обуви и даже не кашлянула. Светка в Бийске валенки принесла, бросилась в вагоне мать обувать.

Та растрогалась:

— Вот я барыня! К поезду на руках приносят, в поезде обувают, как принцессу...



Лебединое озеро

Приехала бабушка Полин в Омск праздновать пятидесятилетие внука Серьги. Навезла вкусноты, пирог рыбный испекла дома. «На вашем газе ниче у меня не получается».

Накрыли стол, вот-вот гости придут, она всполошилась:

— Эт че это я тут растрепой сижу, надо в парикмахерскую сходить!

Толя стал уговаривать:

— Мама, куда ты?

Да разве маму уговоришь, коль решила.

— У вас тут рядом, пойду!

— Там же по записи!

— Ниче, скажу, из деревни бабушка, у внука день рождения, не растрепой сидеть!

Ушла. Вот уже и гости собрались — бабушки Полин нет. Слюной все исходят за столом, но нельзя начинать. Наконец часа через два заявляется. Химку сделала, волосы покрасила, маникюр...

В другой раз поехала на юбилей Федьки. Не Федьки, конечно, Федора Фроловича. И сюрприз приготовила. Лешка приезжает за ней на машине, бабушка Полин, как всегда, сумок набрала. Чего только не наготовила: от шанежек до рулета куриного. Пирог рыбный, само собой. Кроме этого, стоит на столе наготове огромное блюдо.

— Че, и вот это тащить? — Лешка привык к маминим чудачествам, однако такого еще не было.

— А как же!

Бабушка Полин по телевизору услышала рецепт и решила удивить гостей. Из желе делается голубое озеро с зеленой волной, а по нему плывут два заварных лебедя со сладкой начинкой. Каждая деталь прописана, каждая проработана. Клювики у лебедей красенькие, глазки выведены, чуть ли не каждое перышко прорисовано. Красота! С великими предосторожностями довезла бабушка Полин «озеро».

Всю дороженьку ругала сына:

— Да не гони ты! Осторожно! Куда тебя несет?

— Че, нам ползком ехать из-за твоих дурацких птиц озерных? Засмеют меня мужики по трассе!

— Ну и засмеют! Зато озеро будет в целостности.

Довезли. На балкон поставили. Гуляют, до сладкого не дошло еще, а внук Серьга захотел стрельнуть фейерверком с балкона, ломанулся туда.

Бабушка Полин вскричала заполошно вослед, будто пожар разыгрывается:

— Стой, Серьга! Стой! Лебедей поломаешь, зараза такая!

А Серьга и на самом деле ногу занес в озеро вляпаться. Только чуток повредил гладь. Бабушка поворчала на внука, пригласила озеро.

Но любила Серьгу и его придумку с бабушкой Полин.

Отцы и дети

Жизнь поскучнела на бабушку Полин, когда та умерла. Конечно, новые песни придумала жизнь, что там о старых тужить? Серьга вон как хорошо поет! Голос сильный, красивый. Но исключительно на рэп налегает.

Отец ворчит:

— Че за музыка? Скачки голой задницей по стиральной доске!

— Ну не «Ёшь» твою петь! — обижается Серьга.

— А чем, скажи, плохая песня? Чем? — заводится отец. — Вслушайся, какая мелодия...

И, желая одержать победу в эстетическом споре отцов и детей, хватает баян:

В поле за околицей,
Там, где ты идешь,
И шумит и клонится
У дороги рожь.

Серьга сначала молчит, а потом подхватывает, и они на два голоса доводят песню до конца.

— Ну че? — победно вопрошает отец.

— Ниче, — снисходительно говорит сын. — Бабушке, может, понравилось бы.

— Слышал бы, как она в молодости пела...

И Федор Фролович растягивает меха:

Вот мчится тройка почтовая
По Волге-матушке зимой...

И снова Серьга не остается в стороне, поддерживает отца. Он знает все песни семейного репертуара. Но сам поет один рэп. Зато какой аккомпанемент на баяне наяривает! Тут никакой рэпнутый негр за ним не угонится... Деду Фролу обязательно понравилась бы игра внука. А про бабушку Полин и говорить нечего.



Ирина РЫПКА

ПО ТУ СТОРОНУ

* * *

Мама ночами штопала раны, чулки, носки.
Падали рыжие с тополя
черновиков листки.
Гольй ноябрь, бедненький, кто бы его согрел?
Быстро растут наследники, маленькие, в игре.

Первая наша хижина — стол, домотканый лен.
Шатко идет по выжженной
тропочке почтальон.
Что там — письмо отцовское, угольные бока?
Тащится за винтовкой выбитая рука.

Слаще замерзшей бульбы не было ничего.
Трескались с болью губы
от воды ключевой.
Легкая и прозрачная, тонкая, как трава,
мама ходила с прачками к стылой реке стирать.

Белые чистые простыни резала на бинты.
Мамы не стало осенью...
В зарослях лебеды
с братом нашли мы в мае сроненное кольцо.
В памяти молодая мама стоит с отцом.

По ту сторону

Милостью Божьей открывается вход в портал.
Все б ничего, но ты тащишь туда кота,
старые джинсы, кроссовки и свой айпад.
Господи, дорогой, рад мне или не рад?

Ловишь вай-фай, да пребудет в раю вай-фай!
 Прямо по курсу плывет большой каравай —
 тетушки испекли его для тебя,
 бабушки воздыхают, фартучки тербя.

О, мама мия, град золотых холмов!
 К приторной тихой жизни ты еще не готов.
 Небо — сплошное марево, стрелки вернулись вспять,
 и ты начинаешь в синий провал нырять.

Падаешь в яму, скатываешься в репейник.
 Жаль, что с собой — ни сигарет, ни денег.
 Черные светофоры, мрачные перекрестки.
 А вот и Господь — встречает тебя на ослике.

Горизонт

Здесь нет, любимый, горизонта. В окружность — горы и тайга.
 Нас выручают самолеты, но все же чаще — поезда.
 В расщелину, в тоннель влетают жар-птицы Вост.-Сиб. РЖД,
 из этого земного края увозят нас к большой воде.

Мы, словно дети, льнем к оконцам, чтобы увидеть горизонт —
 как солнце в линию уткнется и даль размажется в одно
 сплошное полотно полоской. Простор такой, что хоть лети!
 И это все — не понарошку, но не хватает перспектив,

привычных глазу: горы в небо, на маковках белеет наст
 почти что кипельного снега, сверкающего, как алмаз.
 Уеду, будет пульсом биться кровь непокорных горных рек.
 Слезой срывается живица в янтарный слалом по коре.

Цветет бадан на скалах древний, багульник запахом ершист,
 расположился муравейник под кедром в этой вот глуши.
 И я живу тут декабристкой, с рождения затворена,
 и путь в другую жизнь не близкий, дорога — долгий перевал.

Петляют дни под стук клавира — клавиатуры на компе,
 и слов неравные калибры ложатся строчками в напев.
 В эпоху скайпа и вай-фая весь мир огромный на руке.
 Я думала, что он бескраен, как горизонт в моем зрачке.

* * *

к небу тянется рожь озимая соком полнится по весне
говоришь мне разиня моя разиня нацепила на нос пенсне
сам глядишь оторвавшись мыслями в темноту и вдаль
а над хатами да над избами распустил кружева миндаль
будет будет нам к ночи спаленка золоченый иконы киот
убаюкаешь спи моя маленькая поцелуешь в живот

Белое солнце пустыни

мелкая зыбь в тине болотной зыбилась
ела я рыбу и превратилась в рыбу я
в тину нырнула хвостом по воде как вилами
сердце мое кольнула цыганка иглами
это не сон соль моего сознания
в нашем болоте маленькая Британия
сплошь баскервильскими псами она напичкана
прячет от всех Гюльчатый на экране личико

где тут найти чистой воды колодезной
тину чтоб смыть и чешую до родинок
мокрой слюдой блестит на мне кожа рыба
я этот бред до доньшка милый выпью
чтобы болото высохло чтобы болото
желтым песком накрыла бы позолота
белое солнце пустыню ладошкой лапало
и расцветала оазисом наша фабула

* * *

счастливые стихов не наблюдают
а тянут губы к пламенным губам
их муза молчаливая глупа
мечтает о пришествии джедая
вынашивает белый день строкой
и мечется неловкой трясогузкой
на спинке стула тенниска и блузка
расправленные дышат глубоко

Американо

Он говорит мне, что все в порядке,
что все забылось, срослось, как встарь.
А саблезубые жеребятки
жадно вгрызаются в календарь.

Двадцать второе... восьмое мая.
Брякает осень, за ней январь.
И не видать ни конца ни края.
С медных кастрюль отлетает ярь

в этом безвременном супермаге,
где потроха продают с лотка.
Память-улитка о Пастернаке
хрупкая и на зубок сладка.

Вырасти трудно, когда ты вырос,
вырастет трутень за март-апрель.
Американо спешит на вынос
под соловьиную трель.



Ирина МИХАЙЛОВА

ПОДВИГ

Р а с с к а з

Артем выводит буквы старательно, медленно, черточку за черточкой. Перед ним образец — прописи, еще оставшиеся с первого класса, и он смотрит в них, чтобы его буквы были хоть чуть-чуть похожи на те, что там. Но они не похожи. Кособокие, мелкие, одна буква залезла на другую, вместо «и» — сплошные палочки. Он зачеркивает все слово, злится, зачеркивает сильнее, нажимает на ручку так, что рвется лист. Вырывает лист, мнет его в белый, с синими полосками, комок и начинает писать заново.

Тетрадь разлинована ровно. Красные поля угрожающе близко. Он боится зайти за них, не успеть перейти на новую строчку. Однако успевает, переносит слово вовремя и тяжело вздыхает, словно от физической усталости.

— Не мельчи. Пиши большие буквы. Видишь — как здесь.

Рядом с ним — бабушка. Мальчик бы не старался так, если бы не дед. С мамой не выходит. С мамой можно закапризничать, захалтурить и ничего в итоге не написать. Но дед... Дед такого не прощает. Он сидит рядом и смотрит.

Артем пишет, доводит букву до самой верхней черты и, когда получается, украдкой косится на деда. А тот следит за его рукой.

— Давай-давай, не останавливайся, строчка еще не закончилась.

И внук начинает писать быстрее. От этого сбивается, вздыхает, переворачивает страницу и начинает опять.

* * *

Артем сейчас в четвертом классе. Его все время ругают за почерк. В школе сложно. Там нужно писать быстро и понятно. У него же получается что-нибудь одно. А всё вместе — нет.

И в школе нет бабушки. Только одноклассники. Помочь — некому.

— Опять, гляди, буква куда уехала, — говорит дед.

Артем смотрит — и действительно, линия перечеркнула букву ровно пополам.

— Букву любить надо и уважать. Она живая. Если перечеркнешь букву — это как человека. Мы на войне письма писали на коленках — и то старались.

Мальчик не понимает, как это — «любить букву»? Разве ее можно любить? Вот маму, бабушку или деда — можно. Это другое дело. Их он любит, поэтому сидит терпеливо и выводит свои буквы.

* * *

Дедушка живет с ним всю жизнь. Сколько Артем помнит себя, столько помнит деда. Бабушку с мамой он тоже помнит. И папу. Но они есть почти у всех его одноклассников. А вот дедушка — лишь у некоторых. И у него. Поэтому это выделяет его, он не как все. И когда спрашивали: «У кого есть дедушка?» — Артем поднял руку и обернулся. Всего несколько человек еще подняли. Он был доволен.

Он тогда пришел домой и сказал:

— Дед, тебя нет ни у кого. Только у меня.

— Ну конечно, только у тебя, — смеялся тот, — у кого же еще?

— Нет... ну мама у всех есть и папа. А дед — только у меня.

— Прямо уж ни у кого? — усомнился дед.

— Ну, еще Макс, Дашка и Толян руку подняли. И больше никто.

Дед как-то погрустнел. И Артем тогда еще решил: наверное, нехорошо думать, что он такой редкий, что таких мало осталось. И он сказал:

— В других классах, может, есть. Я не спрашивал.

— А ты спроси, — подмигнул дед, — может, и правда, только трое и осталось?

И засмеялся.

Все это показалось внуку странным. Дед то грустит, то смеется. То радуется, что он такой один, то нет. Артем пожал плечами и решил, что не будет спрашивать.

* * *

А сейчас дед сидит рядом и говорит, что буквы надо уважать.

— Ведь слово — что такое? — рассуждает он. — Это целая жизнь. Вот скажешь «лес» — и появляется перед глазами твоя деревня. А «река» — и сразу вспомнишь, как купаться с тобой ходили.

Да, купаться с ним все время ходили. И рыбу ловили. Все лето на даче. Один раз от мамы досталось и Артему и деду. Когда утром ушли, а явились к обеду. Бабушка всю дачу обегала. А они сидели на их секретном месте, о котором никто не знал, и дед говорил:



— Рыба тишину любит. В той стороне реки людей много, рыба сюда и уходит. А тут никого. Сейчас рыбы наловим!

— А почему о нем никто не знает, ты же знаешь?

— Ну я! — Дед усмехнулся. — Я уже сколько живу! Все знаю.

— Все нельзя знать, — сказал Артем, — никто всего не знает.

Он тогда боялся, что дед обидится. Но тот не обиделся.

* * *

Артем выводит слова «лес» и «река» много-много раз. Целую строчку.

Дед встает и идет к окну. Уже темно (осенью темнеет рано), дед щурится, всматривается куда-то. Мальчик отвлекается, тоже хочет глянуть в окно, узнать, что там.

— Куда ты смотришь? — спрашивает.

— Никуда. Пиши давай, и получаса не сидим.

Артем опять пишет. А дед все смотрит в окно. Артем часто так его застает. Он словно бы спит, а сам глядит в одну точку.

— Ну ты так долго будешь? — кричит ему тогда внук.

Но дед поворачивается к нему не сразу.

— Что шумишь? Задумался я.

— Не задумывайся так, мне не нравится, когда ты так задумываешься.

— Ну хорошо, не буду, — смеется дед.

Он вообще всегда смеется. Он ничего никогда серьезно не говорит. Скажет — а сам смеется. Ответит — и смеется. Артема это ужасно раздражает. Он хочет, чтобы его воспринимали как взрослого, а не смеялись. И злится на деда. А тот и этого как будто не замечает.

* * *

Только один раз дед не смеялся. Когда к нему пришли из журнала. Пришли разные люди. И старые, и молодые — всякие. Зашли — сели за стол — говорили. Долго говорили. Тогда дед был строгий. И Артем казался сам себе совсем еще маленьким.

— Твой дед — настоящий герой, — сказали гости Артему.

— Почему? — удивился мальчик.

— Он подвиг совершил. Неужели не рассказывал?

Вечером он спросил у деда:

— А ты какой подвиг совершил?

Но дед опять лишь отшутился:

— Какие все совершали — такой и я совершил.

Артем обиделся и решил больше не писать слова вместе с ним.

Когда дед пришел к нему в комнату, внук не сел за стол, а лег на диван и отвернулся к стене. Дед молча приблизился к окну, взял стульчик и

стал смотреть на улицу. Так и просидел положенный час, какой они обычно писали с Артемом.

На следующий день было то же самое. Потом тоже. И всю неделю.

Дед не ругался: он никогда не ругался. Просто сидел, а после уходил.

Через неделю Артем сдался. И когда дед пришел опять — уже был за столом с тетрадкой.

Дед достал прописи и стал привычно следить — как Артем выводит букву за буквой. И привычно исправлять: «Это не то, эта буква не туда ушла, эта вкось поехала». Мальчик переписывал одно и то же слово снова и снова.

* * *

Это уже потом он узнал, что дед в конце войны на подступах к Вене один взял в плен двух немцев. А на следующий день, в разведке, засек огневые точки противника и дал целеуказание для их уничтожения.

Отец рассказал.

— А что такое «целеуказание»? — спросил Артем.

— Цель, значит, верную дал, — ответил отец.

А еще Артем узнал, что дед первым форсировал Малый Дунай, вел неравный бой и вышел победителем. А затем принял на себя командование и продолжал бой. За что и получил Красную Звезду.

При жизни деда Артему об этом не рассказывали.

* * *

Дед его никогда не хвалил — как бы внук ни старался.

— Ты и так должен делать хорошо, — говорит он. — Плохо делать не разрешается.

— Кем не разрешается? Тобой?

— Да хоть бы и мной!

— А когда тебя не будет, то можно плохо делать?

— Когда не будет — тоже нельзя!

— А как ты узнаешь?

— Я все узнаю! Буду в окошко к тебе заглядывать. И если увижу, что не пишешь в положенное время, то сразу все узнаю.

— Я окно закрою! И вообще перееду!

— А я и через закрытое. У меня повсюду будут глаза.

Артем больше не знал, что сказать. Глубоко внутри он верил, что дед и правда все видит, даже если окно закрыть.

— А ты когда-нибудь умрешь? — спросил однажды мальчик.

— Умру, — ответил дед ни на секунду не задумавшись.

— И как же будет?

— А вот как: меня возьмут и вот так разрежут. — И он показал пальцем вдоль живота.

Артем зажмурился.

— Не бойся, — сказал дед, — это уже не больно будет.

Тогда Артему стало как-то не по себе. Что вот дед скоро, наверное, умрет, а все-таки сидит с ним и пишет буквы. Целый час в день. Это же так много! А мог жить для себя.

С тех пор внук старался научиться писать лучше и быстрее, чтобы дед отдохнул и не тратил с ним время. Но быстрее и лучше никак не получалось.

— А так хорошо? — спросил Артем и полюбовался на ровное, красивое слово, написанное четко в своей строчке.

Дед ему не ответил.

* * *

— Тём, отдохни. Бабушка пришла, посиди с нами.

Вошла мама и встала около. Заглянула в тетрадку:

— Хорошее слово получилось. Молодец.

Сын посмотрел на нее. Обвел глазами комнату. Больше никого не было. Деда не было.

Мама взяла тетрадь.

— Очень хорошо, — сказала она. — И в школе так же пиши.

— Ладно!

Он закрыл свои упражнения и вылез из-за стола.

— Пишешь? — спросила бабушка на кухне. — Деда теперь нет — с тобой заниматься. Давай сам.

— Ладно! — опять сказал Артем.

А сам подумал: глупая бабушка, не понимает ничего. Дед есть, всегда будет, говорил же — в окно смотрит. Вдруг Артем замер.

— Сейчас приду! — крикнул он.

Побежал в комнату, раскрыл тетрадь на хорошем слове — и вернулся обратно.

Дед посмотрит — пусть видит.

И тетрадка осталась лежать на столе открытая, со словом, ровно уместившимся в линейки на листе бумаги.



Игорь КУНИЦЫН

СУП ИЗ ЯБЛОК

* * *

Я был пионером, но не был.
Учился как все, но не так.
Ночами горячего хлеба
у булочной ждал как дурак.
В ноль-ноль приезжала машина,
в ноль-пять я его покупал,
в ноль-десять, домой с половиной
батона придя, засыпал.
Но так продолжалось недолго,
ну, год, может два, может три.
Впадает в Каспийское Волга,
становится морем внутри.

* * *

Евгению Чигрину

Мешки под глазами, и в горле першит:
он, как говорится, недавно зашит —
стаканчик пластмассовый сквозь
на мир поглядеть довелось.

На даче рыбачит, сажает горох,
ложится ни поздно ни рано.
Закурит устало и выдохнет: «Хох», —
и чаю махнет из стакана.

Десяток абзацев прочтет не спеша.
На фразе: «Поручик внезапно...» —
уснет и не видит во сне ни шиша,
не слышит тяжелого храпа.



И падает книга со скользкой груди,
открыта на первой странице,
где весь еще только сюжет впереди,
где все еще может присниться.

* * *

Решили щи сварганить или
борщец, но не было капусты,
а были яблоки и были
друг к другу искренние чувства.

И соли не было в квартире,
но были сахар и корица.
Сварили суп из яблок или
не суп, но тоже пригодится.

* * *

Уже свечерело, а снег все лежит,
растаять не может.
Под окнами курит нетрезвый мужик
с небритой рожей.

Снежинки спадают ему на башку
с безлюдного неба.
Окошко открою и в шутку спрошу:
— Закуски не треба?

Мужик удивленно поднимет глаза,
согласно опустит.
Во-первых, мы выпьем немедленно за
отсутствие грусти.

А после покатаются тост за тостом,
как снежные комья.
Напьемся как черти, и это при том,
что с ним не знаком я.

Мы так и расстанемся, именно так,
вот так — по-простому.
Он мне на прощанье опять про «Спартак»,
а я — про Ерему.

* * *

похвастаться могу не изменил ни разу
ни другу ни жене ни брату ни отцу
ни матери хотя разбил однажды вазу
за что и получил ладонью по лицу
сначала оробел потом нашел защиту
отец меня закрыл подставил щеку брат
жена сказала нет и друг промолвил квиты
и я с тех пор во всем пред всеми виноват

* * *

В Кашире дожди. Возвращаемся с дачи,
как полк, потерпевший в бою неудачу.
Спасаемся бегством. «Рассвет» и «Волна»
оставлены. Сторож грустит из окна.

Собака из будки скулит. За ворота
выходим, скользя. Непогода из дота
эфирного лупит. Спасибо, не градом.
И молнии мечет. Спасибо, не рядом.

Янтарная слива весьма перезрела,
и лук перерос в неподъемные стрелы,
как бомба, лежит на земле кабачок,
у каждого яблока ранен бочок.

Я вряд ли когда-нибудь все это съем.
Но дачник обязан пожертвовать всем,
вернуться в зимовник и, вытерев пот,
сварганить рагу и забавать компот.

* * *

На рисунке моем,
пригвожденном к стене,
ледорез, ледолом,
ледоход на Двине.

Между мной и стеной
лед трещит все сильнее.
Я расстался с Двиной
и тоскую по ней.

Наслаждаюсь пока
я другою рекой,
и плывут облака
над Окой.

Александр ШАПОШНИКОВ

ЗАПИСКИ СТАРОГО ТЕАТРАЛА

*Театр!.. Любите ли вы театр
так, как я люблю его, то есть
всеми силами души вашей...*

В. Белинский

Связь человека с местом его обитания загадочна, но очевидна. Эта связь известна с древности под именем *genius loci* — гения места, связывающего интеллектуальное, духовное и эмоциональное состояние с материальной средой. Этот гений места может быть связан с материальным объектом, скажем, в Царском Селе это Царскосельский лицей — гений места Пушкина, а в Риме это Форум или, например, Антико Каффе Греко на Виа деи Кондотти, где сохранился мраморный стол, за которым многие дни среди прочих гениев просиживал Николай Васильевич Гоголь, сочиняя свой самый русский роман «Мертвые души». В русских городах такими территориями обитания гениев места чаще всего были кремли, достаточно вспомнить новгородский кремль — Детинец, ярославский или костромской кремль, не говоря уже о Московском Кремле. За Уралом лучше всего сохранился тобольский кремль — белокаменная сказка на высоченном холме над Иртышом. А вот в Новосибирске таким городским гением места стал театр оперы и балета!

Удивляешься прозорливости большевиков, сделавших большой промышленный город еще и центром культуры, а потом и образования и науки. По сию пору поражаешься дальновидности правительства, 29 июня 1942 г. особым распоряжением выделившего 1 млн рублей на достройку новосибирского оперного. Это случилось за две недели до начала Сталинградской битвы. Как будто мы уже тогда были уверены в ее исходе, а привлечение на стройку тысяч военнопленных было решенным делом.

Наш театр возник благодаря немислимому стечению обстоятельств, четырежды пересматривался его проект, в работе над которым принимали участие крупнейшие сибирские и московские архитекторы: А. Д. Крячков, Б. А. Гордеев и В. С. Биркенберг. Даже великий Огюст Роден причастен к нему через свою последнюю ученицу Веру Штейн. Именно она является автором выразительных бронзовых барельефов, спрятанных в тени огромных пилонов и посвященных главной теме: искусство — народу!

Новосибирский театр оперы и балета всегда волновал мое воображение не столько как явление культуры, сколько как некий монументальный символ любимого Новосибирска. Ранним зимним утром в начале 50-х этот монументальный символ выглядел особенно выразительно, когда отец на санках вез меня мимо театра в детский сад № 140, размещавшийся в Стоквартирном доме, еще

одном архитектурном символе города. В морозной мгле, в полутьме он казался каким-то огромным спящим рыцарским замком, в который, конечно, и ходу простым людям не было да, казалось, и быть не могло. И вот в начале 1955 г. мама принесла пригласительные на детский утренник в оперный театр. В огромном театральном фойе нас встретил, как и положено, не менее огромный портрет товарища Сталина, а на втором этаже у новогодней елки нас приветствовали не менее обязательные Дед Мороз и Снегурочка. Но все новогодние развлечения, хороводы, песенки давно забылись, а вот первый спектакль, увиденный в оперном, запомнился. Конечно, это был балет — «Доктор Айболит» Игоря Морозова, поставленный еще в 1947 г. Михаилом Федоровичем Моисеевым. Этот балет оставался в репертуаре почти сорок лет, из Новосибирска он начал победное шествие по стране, и именно новосибирская постановка удостоена была в 1948 г. Сталинской премии. А в первые сценические годы сам балетмейстер М. Ф. Моисеев выходил на сцену в роли Доктора Айболита! Мама еще застала его на сцене, как и многих великих солистов новосибирской сцены: знаменитого баса А. Кривченко в партиях Ивана Сусанина или неподражаемого Фарлафа, Михаила Киселева в роли Демона. Была она свидетельницей и первых шагов будущих звезд балета Татьяны Зиминной и Лидии Крупениной. Много позже в собрании маминых газетных вырезок я прочитал интервью с М. Моисеевым в связи с присуждением ему Сталинской премии. Там он рассказал, как отправлял артистов балета в новосибирский зоопарк, чтобы они наблюдали за поведением реальных зверей для более узнаваемого изображения их на сцене. Мне, однако, больше всего запомнился фантастический Тяни-Толкай. Вообще, фантастические и сказочные балеты очень удавались новосибирской труппе. 28 декабря 1956 г. мы с сестрой и мамой были на премьере балета Б. Савельева «Аладдин и волшебная лампа». В этом спектакле будущая народная артистка СССР Лидия Крупенина танцевала уже ведущую партию принцессы Будур, а ее супруг Юрий Гревцов — самого Аладдина. Но запомнились нам не только они, а прежде всего гигантская многометровая фигура раба, который по зову волшебной лампы вырастал «из-под земли» (а сцена это позволяла) и, кланяясь, выполнял любые приказания повелителя. Фантастическое впечатление произвел позже и «Драгоценный фонарь лотоса» — совместное творение новосибирских и китайских мастеров — Елены Мачерет и Ван Сисяня. В этом балете было много китайского эпоса, акробатики и древних военных единоборств, которые сами по себе выглядели впечатляюще, а в декорациях Ивана Васильевича Севастьянова — нашего главного художника, позднее главного художника Кировского театра — просто огушительно. В этом балете впервые в главной роли мы увидели Олега Виноградова, будущего знаменитого балетмейстера, тогда он еще просто танцевал на нашей сцене. А в 1960 г. этот балет потряс всю Москву — на него были очереди как в Мавзолей к дедушке Ленину. В 1963 г. так же потрясла Москву наша «Пиковая дама» (с Мясниковой в роли графини), которую в печати называли лучшей постановкой на советской оперной сцене.

Столь же сказочным и фантастическим воспринимался и балет всех балетов «Лебединое озеро» Чайковского в редакции все того же М. Ф. Моисеева и постановке М. Петипа. А вот в оперу мы пошли уже значительно позже всем школьным классом. И, конечно, это был «Евгений Онегин». В пятом классе из Пушкина читают только лирику, но наша учительница Татьяна Ивановна



была одержима идеями раннего эстетического воспитания (за что ей низкий поклон), к тому же было разрешено всем, кому станет скучно, просто уйти из театра, тем более что спектакль был утренний. Кое-кто, конечно, ушел, не дожидаясь сцены дуэли. А те, кто остался, были вознаграждены потрясающими декорациями зимнего леса, черными фигурами дуэлянтов на белом снегу, незабываемой арией Ленского и выстрелом Онегина... Правда, голоса были не ахти: Ленского и Татьяну пели супруги Жуковы (маленькие, полненькие, откровенно не голосистые), но с тенорами у нашего театра всегда были проблемы, пока не появился Валерий Григорьевич Егудин, будущий народный артист СССР. Нельзя не заметить, что, став профессорами Новосибирской консерватории, супруги Жуковы выпускали очень приличных учеников. Достаточно вспомнить такие имена, как В. Цыдыпова, О. Миронова, Ю. Мазурок, Н. Лоскуткин и др. А вот Онегина пел только что появившийся в театре Николай Дмитриенко, звучный драматический баритон. Вот он хорошо запомнился (хотя лучшая его партия — Риголетто — будет спета много позже). И еще запомнился Гремин — Левицкий. По тягучести, полетности голоса он походил на Шаляпина (мне было с чем сравнивать: дома были еще дореволюционные шаляпинские пластинки, а позже, начав собирать фонотеку, я достал так называемый «Шаляпинский альбом» — восемь дисков в большой красивой коробке с портретом Шаляпина кисти Серова). С тех пор, что бы ни пел Левицкий — я ходил его слушать, конечно, уже позже, в старших классах школы и в институте. Театральный Пушкин с «Онегина» для меня только начинался, потом были и «Русалка» с тем же Левицким в роли Мельника, и «Борис Годунов» с Левицким — Борисом, Егудиным — Самозванцем и великой Лидией Мясниковой в роли Марины Мнишек. Но главное пушкинское театральное впечатление ожидало впереди, в конце седьмого класса, когда закончили изучать «Евгения Онегина» и перешли к пушкинской прозе — «Повестям Белкина». И однажды после урока моя любимая учительница литературы Раиса Абрамовна Захцер посоветовала нам, нескольким, условно говоря, юным меломанам, прочитать «Пиковую даму». А затем мудрая словесница отправила нас в оперу — «чтобы лучше понять Пушкина», так она сказала.

На дворе стоял 1962 г., в «Правде» 21 октября было опубликовано стихотворение Евтушенко «Наследники Сталина», в нашем городе только что снесли памятник вождю, в свое время поставленный в самом центре на месте давно снесенной Никольской часовни, а мама получила первое свидетельство о реабилитации моего деда Афанасия Семеновича Макарова, лживое от первой до последней строчки (там было написано, что он умер от воспаления легких в лагере). Позже приходили и другие справки о реабилитации, где, в частности, указывалось, что он утонул в 1942-м. А в 1992 г. в Питере мама получила истинное свидетельство о реабилитации, где было указано, что дед был арестован 9 декабря 1938 г. и расстрелян 12 декабря прямо во внутренней тюрьме НКВД.

Я иногда в те времена, в начале 60-х, стоял в ночных очередях за хлебом, время было такое — хрущевские реформы сельского хозяйства. А в театре в это время, невзирая ни на что, шла «Пиковая дама»: Герман — Валерий Егудин, Томский — Николай Дмитриенко, графиня Анна Федотовна — Лидия Мясникова, Лиза — Зинаида Диденко. Режиссер — Эмиль Пасынков, дирижер — Михаил Бухбиндер! Половина настоящих и будущих народных артистов СССР.

Музыкальное потрясение от того спектакля живо во мне до сих пор. Сцена в спальне графини — никем и никогда не превзойденный шедевр — и музыкально, и драматургически, и эмоционально! К тому же, в отличие от всех других сцен оперы, эта точно следует за пушкинским текстом. Я до сих пор считаю «Пиковую даму» лучшей оперой в истории русской музыки. И не я один: послушайте мнения Бертмана, Образцовой, почитайте Соллертинского или Рахманинова. С тех пор на эту оперу хожу регулярно, когда ее ставят в репертуар. Бывают, конечно, не слишком удачные спектакли, когда не повезет с дирижером или солистами, но Чайковский остается Чайковским. Как сказал великий пианист, лучший исполнитель Шопена Артур Рубинштейн, Шопен, даже не безупречно сыгранный, остается Шопеном!

А потом в театре случился балетный взрыв: в 1959 г. к нам из Кировского театра приехал Юрий Григорович ставить балет «Каменный цветок». А главными балетмейстерами были в те времена С. Павлов, З. Васильева, а затем легендарный Петр Гусев. И следом за Григоровичем на новосибирскую сцену, где с 1958-го уже танцевал Олег Виноградов, пришел Никита Долгушин. Всё это были представители лучшей в мире вагановской балетной школы (М. Плисецкая в своей книге назвала Агрипшину Ваганову «Микеланджело от хореографии»)! Григорович возобновил на нашей сцене не только уже поставленный в Ленинграде в Кировском театре «Каменный цветок», но и «Легенду о любви». На эти балеты меня тоже отправила мама, прочитав несколько восторженных рецензий о балетах Григоровича в местных газетах. Вообще, мамыны собрания вырезок из газет и журналов о нашем театре хранили море интереснейшей информации. Как сейчас помню вырезку из газеты «Советская Сибирь» от 25 февраля 1944 г. с объявлением о наборе детей от 8 до 11 лет и взрослых до 20 лет в балетную студию в связи с планируемым открытием театра оперы и балета. Какова же была уверенность руководства страны и города в грядущей победе! Будущих артистов тогда собирали по фронтам, вызывали из центра (из Большого и Кировского театров), даже освобождали из сталинских лагерей. Из Томска приехала Лидия Мясникова, из Красноярска — Алексей Кривченя. Из нарымской ссылки вызволили солистку Рижского театра оперы и балета Веру Викторовну Ювачеву (1912–1981). Мне о ней уже в восьмидесятих годах рассказывал Александр Петрович Балабанов — народный артист РСФСР, премьер новосибирского балета (хотя у нас таких титулов не было). Так вот, Ювачева была первой ведущей солисткой нашего балета с 1945 г., когда ее привезли из Нарыма. Она блестяще окончила Ленинградское хореографическое училище по классу Вагановой. Четыре года танцевала в Рижской опере, а потом гастролировала в Европе. В это время она получила сценическое имя Мадам Винт, ибо природная фантастическая устойчивость и баланс позволяли ей крутить до ста фуэте на кофейном столике! Перед самой войной она вернулась в Ригу, где и была арестована в 1940 г., когда по договору Молотова — Риббентропа Прибалтика стала советской. Ювачева была солисткой в новосибирском балете до 1949 г. А потом работала балетмейстером в театре «Красный факел», театре музыкальной комедии. Злые языки, которых хватает в закулисе, называли ее любовницей рейхсмаршала Геринга. Может, потому относились к ней настороженно, и за всю свою балетную жизнь не получила она никаких званий и наград. Олег Виноградов, проработавший в нашем театре восемь лет, почему-то называет ее Ниной Генриховной, он видел у Ювачевой

фотографии, где она стоит в окружении высших офицеров вермахта. Но вот на балетные премьеры она приходила всегда. Я, наверное, ее тоже видел, эту сухонькую даму с абсолютно прямой спиной и балетным шагом. И на премьере балета «Ромео и Джульетта», поставленного Олегом Виноградовым, она тоже была. До того Виноградов поставил восхитительную «Золушку», куда приезжала танцевать даже будущая звезда Ирина Колпакова из Кировского балета. А Ромео стал звездной партией Никиты Долгушина, ставшего мэтром именно на новосибирской сцене. В постановке «Золушки» 1963 г. Олег Виноградов назвал Никиту Долгушина своим «главным козырем»! Правда, по мнению балетмейстера, Золушки, равной такому Принцу, в театре не было. «Золушка» ставилась на Татьяну Зимину и Лидию Крупенину, но лучшей Золушкой через два года стала приехавшая в Новосибирск из Ленинграда ученица знаменитой Наймы Балтачевой Татьяна Васильева. Все балетоманы, конечно, были в курсе этих подробностей. У нас в Новосибирске не было, разумеется, ни оперной, ни балетной клаци в общепринятом смысле слова, такой, как в «Ла Скала», «Сан-Карло» или «Гранд-опера» (я был свидетелем выступлений клакеров в «Ла Скала» в Милане и в «Ла Фениче» в Венеции — неприятное зрелище), но Татьяну Васильеву зрительный зал приветствовал всегда, хотя моей любимой балериной оставалась Татьяна Зимина.

В 1966 г. в Новосибирске состоялось важное событие: в июне у нас гостил президент Франции Шарль де Голль, с ним приехала целая французская делегация, включая атташе по культуре. Тогда, видимо, и было заключено соглашение о гастролях нашей балетной труппы в Париже. В 1967 г. эти гастроли состоялись — и не только в Париже, но и в Монте-Карло, Лионе. Повезли на гастроли «Золушку», для этого пригласили уже из Москвы, из ансамбля «Молодой балет», несравненного Принца — Никиту Долгушина. А вот постановщика балета Олега Виноградова не взяли — труппа не дала ему характеристики! Эта не очень красивая история подробно описана им в книге «Исповедь балетмейстера». Тем не менее значительное событие в истории сибирского балета состоялось. Но главное — молодой солистке Татьяне Васильевой Парижская Академия танца присудила премию Анны Павловой! Знаменитый Серж Лифарь сказал тогда, что в танце Васильевой сохраняются лучшие традиции русской балетной школы. В столь юные годы эту премию никто и никогда не получал (даже Плисецкой ее присудили только в 1962-м). Об этом знал весь Новосибирск, удивительно, что ни в знаменитой энциклопедии «Балет», ни в огромной энциклопедии «Новосибирск», где театру посвящены многие страницы, об этом нет ни слова. Но факт остается фактом.

В 1967 г. в театре случилось еще одно важное событие: знаменитый балетмейстер Евгений Янович Чанга поставил у нас балет Хачатуряна «Спартак». В либретто использовались многие мотивы романа Джованьоли, эпоха Древнего Рима была прекрасно отражена в монументальных декорациях Севастьянова. Александр Балабанов рассказывал, что на роль Спартака его выбрал сам Евгений Чанга, практически вытащил из «кордыги» (так называют балетные кордебалет). И 22-летний выпускник новосибирского хореографического училища прекрасно справился с ролью! Хотя чисто танцевальных сцен в балете Чанга было немного (отголоски известного с 30-х гг. так называемого драмбалета), но впечатление осталось незабываемое. К тому же первым премьерным спектаклем дирижировал сам автор — Арам Ильич Хачатурян, народный артист

СССР и лауреат Ленинской премии, которую получил именно за «Спартака» в 1959 г.

Театр обратил меня и к классической музыке. В начале 60-х гг., когда родители вернулись из Вьетнама, где целый год учили вьетнамских рисоводов бухгалтерскому учету, в доме появилось пианино (наряду с другими предметами устроенного быта: холодильником и телевизором). Инициатором такого приобретения была, конечно, мама, она же через своих знакомых сыскала нам и учительницу музыки — студентку консерватории Люсю Дадуеву. Она три года прожила у нас дома и два раза в неделю занималась общим фортепиано со мной и с сестрой. Сестра делала заметные успехи, но и я через два года прилично играл из «Времен года» Чайковского «Осеннюю песнь» и «Баркаролу». Но главное в том, что к Люсе в гости приходили консерваторские друзья и я вместе с ними слушал классику, а потом и их просвещенные комментарии, особенно если дело касалось фортепьянных концертов. От них я услышал знаменитое высказывание Фридриха Ницше: «Без музыки жизнь была бы ошибкой». Тогда-то я и начал собирать свою фонотеку. А в конце зимы 1966 г. случилось событие, которое заставило меня по-новому взглянуть на музыку, ее величие и тайный смысл.

Ранним февральским вечером к нам постучались два деревенских соседа из неблизкого, но родного села Ургун. С раннего утра они торговали на Центральном рынке мясом, привезенным из Ургуна на попутной машине. Простояли весь день на морозе, все продали, зашли погреться, а может, и переночевать. Мама быстро накрыла стол, гости поставили бутылку водки и вместе с отцом стали выпивать за успешную торговлю и за благополучие нашего дома. А тут и Люся пришла из консерватории. Наскоро перекусив, она сама предложила нашим гостям: а давайте я вам сыграю свою выпускную экзаменационную программу? Мужики устроились на диване, мы рядом с ними, Люся открыла крышку пианино. Она исполняла не слишком простую для восприятия музыку: Прокофьева, Рахманинова... Я, признаться, подумал: мужики с мороза, да после водки с салом, да в диванном тепле и уюте немедленно отрубятся либо будут мужественно бороться со сном из уважения к хозяевам и музыканту. Я не раз наблюдал такие сцены в оперном, когда активная вторая половина втаскивала на «Кармен» или «Князя Игоря» утомленного жизнью супруга, который начинал тихо похрапывать уже на первых тактах увертюры. Здесь же ничего подобного. Мужики, а им было хорошо за шестьдесят, как замороженные следили за летающими по клавиатуре пальцами и, оглушенные прокофьевско-рахманиновскими аккордами, даже не делали попыток утонуть в дремоте. Когда Люся завершила до-диез минорную прелюдию, я обернулся: у мужиков по обветренным, темным от деревенского солнца, пылающим уже не от водки, а от Рахманинова лицам текли слезы...

А позже Люся получила диплом с отличием и уехала в Улан-Удэ, где стала именоваться «первой профессиональной пианисткой Бурятии». Отец ее на родине был известным музыкальным деятелем, композитором и дирижером. В 2016 г. в Бурятии широко отмечалось 100-летие Гавриила Дадуева, родоначальника бурятской музыкальной культуры.

А в Новосибирск в 1968 г. вернулся на прежнюю должность Исидор Аркадьевич Зак, который был главным дирижером Новосибирского театра оперы и балета в 1945–1949 гг. Время это совпало с новым расцветом новосибирской оперы, и Зак был важнейшим участником оперных событий.



Из конца шестидесятых больше всего запомнились спектакли с участием Лилии Антоновны Соляник. Она пела у нас почти три сезона, и ее лирико-колоратурное сопрано сильно украсило и нашу «Травиату», и «Искателей жемчуга», и «Иоланту». Но самое великое ее творение — партия Джильды. Когда Лилия Соляник пела в «Риголетто» с Николаем Дмитриенко, спектакль получался божественного звучания и небесного впечатления. Правда, Герцога с подобными вокальными возможностями у нас не было. Такой тенор мелькнул на нашем оперном горизонте, но всего на один вечер. Где-то году в 1967–68 у нас пролетом побывал знаменитый канадский тенор Ричард Верро. Он спел Манрико в «Трубадуре». Спел так, что фантастическая мощь и красота его голоса перекрыла все несовершенства нашей акустики. Азучену пела Лидия Мясникова, и позже в интервью газете «Вечерний Новосибирск» Верро заявил, что если бы он знал, что в новосибирской труппе есть такого класса певцы, как Мясникова, он бы не согласился выступать без оркестровой репетиции. Мясникова, кстати говоря, стала первой народной артисткой СССР в нашем театре (1960 г.) В 1971 г. звание народной артистки СССР получила Лидия Крупнина, а в 1976 г. — Исидор Зак. Еще народным артистом СССР стал Валерий Егудин, а всего в городе Новосибирске сверкали звезды шестерых народных артистов СССР.

В пору И. Зака репертуар нашего театра — и балетный, и оперный — расширялся и расширялся. Была поставлена единственная и многострадальная опера Бетховена «Фиделио», «Отелло» Верди (лучший «Отелло» на советской сцене, как утверждали в печати, с Егудиным в главной роли), «Война и мир» Прокофьева, «Орлеанская дева» Чайковского. На балетной сцене появились «Сильфида» Шнейцхоффера, «Макбет» Молчанова, «Анна Каренина» Щедрина и др. Исидор Аркадьевич действовал прямо по совету Станиславского: артиста формирует репертуар. Ведь многие наши (прежде всего балетные) артисты уезжали в те времена на Запад только потому, что их стесняли узкие рамки приевшегося репертуара. Как говорила недавно Наталья Макарова, во вторник — «Лебединое», в среду — «Жизель», в четверг — «Дон Кихот» и потом снова да ладом... Надоело! Новосибирск на этом фоне все-таки отличался новациями. Помню, в 1963 г., когда театру присвоили звание академического, отец мимоходом заметил: все правильно, Академгородок у нас — и театр тоже академический! Надо заметить, что новосибирский оперный стал первым провинциальным театром, которому присвоили звание академического. Тогда в Новосибирск довольно часто приезжали известные гастролеры. Из «Ла Скала» регулярно прилетала Лилиан Кози — танцевать «Лебединое» или «Жизель». Мы ее называли «Козочка». Запомнились выступления великого баса «Метрополитен-опера» Джерома Хайнса. Он пел у нас Бориса в почти шалашинском облачении (легендарный костюм Александра Головина), а ростом был еще выше Шалашина. Потом он говорил: поездка в СССР для меня божественная! Да и партнеры по сцене были достойными: Самозванец — Егудин, Марина Мнишек — Мясникова, Варлаам — Левицкий, Шуйский — непревзойденный Степан Вах. Каким ядовитым голосом он пел Борису: «Конечно, царь, сильна твоя держава...» И видно было и зрителям, и Борису, что сам Василий не верит этому утверждению.

Будучи зрителем просвещенным, я читал, что Шуйского в «Царе Федоре Иоанновиче» в Московском художественном театре играл Всеволод Мей-

ерхольд, играл так, что все вспоминали именно его сладкозвучную ядовитость. Я позже спрашивал Степана Пантелеймоновича, знал ли он об исполнении роли Шуйского Мейерхольдом. Он не знал об этом, но драматическую краску положил очень точно! Надо заметить, что Хайнс тоже пел по-русски, как и положено на мировых сценах. И он тоже стоял довольно близко к рампе, ибо, по особенностям нашего театра, певцам в глубине сцены почти не был слышен оркестр. Много было и других акустических проблем, но это касалось только оперы, а балет процветал! Были и новые постановки, и новые солисты, и новые гастролеры.

В 1972 г. в Большом театре был поставлен на музыку Р. Щедрина балет «Анна Каренина», либретто Львова-Анохина, балетмейстеры Майя Плисецкая, Наталья Рыженко, Виктор Смирнов-Голованов. Премьера состоялась 10 июня в изнывающей от жары Москве. Состав звездный: Анна — Плисецкая, Вронский — Лиэпа, Каренин — Фадеечев, станционный мужик — Владимиров! Это был уже второй вариант балета, ибо первый после контрольного прогона министр культуры Фурцева запретила, усмотрев в нем слишком много эротики. Об этом знала вся Москва. Второй вариант — максимально сглаженный, но зато в костюмах Кардена — сквозь зубы был принят начальством и тепло оценен зрителями. Успех был явным, может, потому и разрешили перенести этот балет на другие сцены. И новосибирский оперный был первым среди этих театров. Все новосибирские балетоманы про это знали, все ждали приезда Плисецкой. Но приехали только Наталья Рыженко и Виктор Смирнов-Голованов. На премьере в конце декабря 1973 г. Анну танцевала Татьяна Капустина, Вронского — Анатолий Бердышев. Успех балета был безусловным настолько, что многие солисты приглашались затем в Большой театр танцевать именно в «Анне Карениной». В Большом танцевали Татьяна Капустина и Александр Балабанов, а Николай Жеребчиков с его феноменальным прыжком несколько раз исполнял роль Станционного мужика в дуэте с самой Майей Михайловной! Балабанов, кроме того, семь раз танцевал «Спартака» в постановке Григоровича в Большом, после того как Григорович поставил «Спартака» в Новосибирске. Чаще всего из новосибирского балета в Москву летал Анатолий Бердышев, он танцевал с Плисецкой и в «Анне», и в «Кармен-сюите», репетировал «Гибель розы» на музыку Малера, снялся в телефильме «Фантазия» по «Вешним водам» Тургенева с Майей Плисецкой и Иннокентием Смоктуновским. Но для нас, простых зрителей, Майя Плисецкая оставалась недоступной, как свет далекой звезды, даже в имени ее слышалось нечто загадочное.

Имя человека, как известно, может определять в жизни многое. В русском балете за двести лет его существования практически не было сценических псевдонимов, в отличие от драматического театра, музыки, литературы. Вспомним хотя бы Станиславского (Алексеева), Утесова (Вайсбейна), Раневскую (Фельдман), Самойлова (Кауфмана). А русские балерины и танцовщики всегда выступали под собственными именами. Эти имена и по сию пору звучат как музыка: Уланова, Лепешинская, Дудинская, Бессмертнова, Сергеев, Ермолаев, Васильев... Не случайно в первой половине прошлого века западные артисты балета брали себе русские сценические имена, обеспечивая тем самым безусловный интерес зрителей (одна Алисия Маркова (Маркс) чего стоит!). В этом «стройно зыблемом строю» стоит и имя Майи Плисецкой. Оно «рифмуется с плакучими лиственницами, с персидской сиренью, Елисейскими полями,

с Пришествием», — писал Андрей Вознесенский. И это не поэтическое преувеличение.

Я впервые увидел Плисецкую (не дождавшись ее в Новосибирске) на сцене Большого театра 16 апреля 1974 г. в балете «Кармен-сюита» — балете, ею выстраданном, даже вымученном. Ведь от написания музыки к нему — по лично Плисецкой сочиненному либретто — сначала отказался Дмитрий Шостакович, потом Арам Хачатурян... Потом за дело все-таки взялся Родион Щедрин. Но даже репетиции с кубинским хореографом Альберто Алонсо начались без готовой музыки, а просто под фрагменты оперной музыки Бизе. И никто не знал, чем это могло закончиться. Дело было в 1968 г.

Мы же стояли за билетами на «Кармен-сюиту» с вечера 15 апреля до 15 часов 16 апреля 1974 г., когда открывались кассы брони и малая толика не востребуемых билетов продавалась жаждущим зрителям, простоявшим ночь у касс. Располагались эти кассы рядом с Центральным детским театром, в непосредственной близости от Большого и Малого театров. Поэтому и площадь эта испокон веку называлась Театральной (правда, большевики в течение семидесяти лет называли ее именем Свердлова). Ночные очереди в Большой — это отдельная театральная субкультура. В кассы брони не стояли многие сотни человек, как на распродажах на Калининштрассе, 1 (так все театралы называли основные кассы Большого и Кремлевского дворца съездов на проспекте Калинина, 1). Там продавалось по 300–400 билетов на каждый спектакль на предстоящие десять дней и можно было купить два билета на балет и два на оперу. А бронь всегда была непредсказуема: могли продать 30–40 билетов, а могли и 5–10... Простояв у касс всю холодную апрельскую ночь, я с билетом, спрятавшимся прямо у сердца, поехал переодеться к вечернему спектаклю. Ведь зимние и весенние ночные очереди требовали серьезного утепления, и относительно небольшие очереди «броневиков» с намотанными платками, шарфами, шалями сильно походили на вереницы ленинградских блокадников... Греться ночью было негде: «метро закрыто, в такси не содют». Потому и мчался я на Ломоносовский проспект в общежитие МГУ, где проходил полугодовую университетскую стажировку.

Конечно, я проспал. Внутренний музыкальный голос разбудил меня в 19.00, когда начался первый спектакль вечера одноактных балетов — балет «Геологи» на музыку Пахмутовой. На такси я успел приехать в Большой прямо к началу антракта и вошел в зал вместе с довольно большим числом балетных гурманов, откровенно «Геологов» игнорирующих. Когда в зале погас свет, я замер в своем кресле в первом ряду бельэтажа (с брони обычно продавали только лучшие места, ибо кто же будет бронировать третий ярус?!), вслушиваясь в абсолютную тишину огромного зала.

Когда пошел занавес и зрителям открылось красно-черно-желтое колдовство Бориса Мессерера с огромной головой быка почти над рампой, первые аккорды Бизе — Щедрина в исполнении оркестра под управлением Геннадия Рождественского повергли зрителей в состояние экстаза. «Музыка звучала так непривычно, броско, остро, выпукло, современно, сочно, тревожно, красочно, обреченно, возвышенно, — что мы остолбенели. Вот это да!..» Это впечатления самой Плисецкой о впервые услышанной оркестровой «Кармен-сюите». Лучше не скажешь. Я тоже эту музыку в зале услышал впервые. Белла Ахмадулина об этой музыке сказала так: «Музыка целует музыку».

Но главное впечатление — это, конечно, танец. И тут опять не обойтись без цитаты из Андрея Вознесенского: «Ее танец — изумление гения среди ординарности». А ведь окружали ее отнюдь не ординарности, а безусловно талантливые танцовщики и танцовщицы. Сергей Радченко — Тореро, Наталья Касаткина — Рок, Лавренюк — Коррехидор, наконец великолепный Александр Годунов! Но завораживала прежде всего Плисецкая! И ведь в ее танце не было ни пируэтов, ни шене, ни фуэте, ни туров по кругу. Как написала сама Плисецкая о премьере 1968 г., «зал Большого, словно тонущий флагман, погружался в недоумение...» Однако за прошедшие шесть лет зритель уже воспитался и аплодировал не из вежливости, а от восторга. Поразительно, что после премьеры в Большом министр культуры СССР Екатерина Фурцева высказалась так: «Это большая неудача, товарищи. Спектакль сырой. Сплошная эротика. Музыка оперы изуродована». Это сказано было о «Кармен-сюите», чья музыка входит в десятку наиболее часто исполняемых произведений, а ведь в оркестре только струнные и только ударные, и это завораживает. Описывать музыкально-балетную сценическую фантазмагорию бессмысленно, сорок минут мы были погружены в волшебство танца. Когда замолчал оркестр, зал взорвался бурей оваций, ко всему прочему это была последняя «Кармен» в сезоне. Зрители не обсуждали технических подробностей, как это обычно бывает по завершении классических балетов: сколько туров, сколько фуэте... Плисецкая эти балетные па не особенно привечала, в своей книге она называет их «техническими трюками», а то и «балетной акробатикой», хотя, конечно, могла их исполнять безупречно. И этой акробатики в «Кармен-сюите» вообще не было!

И вот через несколько дней я попадаю на «Кармен» Ролана Пети. Гастроли Марсельского балета в новом здании МХАТ на Тверском, Кармен — несравненная Клер Мотт, Хозе — великий Руди Бриан, постановка еще 1949 г., с музыкой Бизе. Там были и прыжки, и поддержки и пр. Если бы эту «Кармен» я увидел прежде Плисецкой, то впечатление было бы иным, но после Майи все казалось немного пресным. Через пару дней Плисецкая с тем же Руди Брианом показали «Гибель розы» на музыку Малера в постановке Пети. А ведь Плисецкая уже танцевала «Болеро» и «Айседору» Бежара, но в Большом театре эти балеты впервые были показаны только в 1978 г. во время гастролей труппы Бежара, я их видел, как и ни на что не похожую постановку Бежара «Весны священной» И. Стравинского. Постепенно зрительские интересы мои перемещались в сторону балета, хотя и оперные спектакли не переставали волновать «младой души, печали жадной». Это, конечно, премьера «Игрока» Прокофьева в Большом 7 апреля 1974 г. Постановка Бориса Покровского, художник В. Левенталь, на сцене Галина Вишневская, Алексей Масленников, Александр Огневцев и другие звезды. Фантастическое звучание, фантастические краски, фантастическое впечатление! На этом и завершилась карьера Вишневской в Большом. А в начале июня в большом зале Московской консерватории Иван Монигетти играл концерт — прощание с Ростроповичем. Я, как и сотни москвичей, слушал его с улицы Герцена через раскрытые окна. Все знали, что уезжают Ростропович с Вишневской не просто на гастроли, а навсегда...

Но были и светлые страницы в этой короткой музыкальной истории. 2 мая в Большом театре открылись гастроли театра «Ла Скала». В очереди на итальянскую оперу мы с приятелем простояли всю зиму, отмечались раз в две недели и купили-таки билеты на три оперы и «Реквием» Верди. О «Реквиеме»



мы очень сожалели, а позже это стало едва ли не главным потрясением: Николай Гяуров, Мирелла Френи, Пласидо Доминго. Дирижер Клаудио Аббадо. В списке исполнителей Паваротти был в те времена только восьмым! 2 мая гастролы открылись оперой Верди «Симон Бокканегра». В России эта опера вообще не ставилась. Я слушал ее в десятом ряду партера, когда началась увертюра и вступили солисты — зрители наши стали удивленно перешептываться. Было ощущение, что солисты пели вполголоса, оркестр звучал непривычно тихо. Сидевший рядом благородного вида старичок прошептал нам: «Молодые люди, запомните, это в русской опере кричат, а в итальянской поют»... В зале установилась абсолютная тишина, и Верди зазвучал идеально. Потом так же звучала «Норма» с Монсеррат Кабалье, «Золушка» Россини. А еще раньше я услышал голос поры расцвета советской оперы. 9 апреля 1974-го в зале Чайковского состоялся последний концерт Сергея Яковлевича Лемешева. Лемешев пел на сцене Большого с 1931 по 1957 г., после Тифлиса, Харбина и Свердловска. Все вокруг знали, что в 1972 г. на своем семидесятилетии он спел Ленского так, что после сцены дуэли зал Большого аплодировал ему стоя. Здесь же Лемешев начал с песни Индийского гостя из «Садко», потом звучали и песенка Герцога, и застольная Альфреда, и, конечно, Ленский. Зал все больше и больше заводился, тем более что в огромном амфитеатре было немало так называемых «лемешисток» — поклонниц Лемешева, конфликтовавших с поклонницами Козловского — «козловитянками». Я уже видел их схватки, почти рукопашные, в театральном музее Бахрушина.

Второе отделение Лемешев начал с моей любимой «Ах, Настасья...». Потом звучали многие романсы Чайковского, коих он знал и помнил множество. Как известно, в начале 60-х он в цикле из пяти концертов спел 100 романсов Чайковского — единственный случай в истории отечественной музыки. Затем звучали бесконечные бисы, после которых сцена все больше и больше заваливалась цветами. А последний бис поверг зал в состояние, близкое к катарсису. Это был романс на стихи Алексея Константиновича Толстого «Ой, кабы Волгаматушка да вспять побежала...». Всклипывания немолодых зрительниц были заглушены громом аплодисментов. А на сцену выносили уже не букеты, а громадные корзины роз...

Позже, когда я вернулся в Новосибирск, я рассказал родителям о своих впечатлениях, о гастролях «Ла Скала», о концерте Лемешева. Отец тут же вспомнил, как в 1954 г., во время сессии в Тимирязевской академии (где он учился заочно), их отправили «для повышения культурного уровня» в Большой театр. Ленского пел Лемешев, Онегина — Павел Лисициан, Татьяну — Галина Вишневская, Гремину — Иван Петров. С ума сойти от уровня вокальных возможностей исполнителей! Из всех солистов того незабываемого «Онегина» в Новосибирске побывал только Павел Герасимович Лисициан. Я был на его концерте в 1970 г. Два полноценных отделения оперных арий и романсов, а ведь ему было уже 59!

Через год после концерта Лемешева в Москве, в Ленинграде, где я учился в аспирантуре, в Большом зале Ленинградской филармонии мне довелось услышать великую Ренату Тебальди, одну из самых известных сопрано XX в. Тебальди исполняла арии из не слишком известных в России опер «Адриенна Лекуверр» Чилеа, «Мефистофель» Бойто и пр. А на бис спела онегинскую Татьяну на русском языке! Переполненный зал бесновался, не случайно после



первых гастролей в США в 40-х гг. ей дали прозвище Мисс Аншлаг! С тех самых пор аншлаги для Тебальди были нормой! И годы (а ей было 53) ее тоже не брали! И голос ее, который Артуро Тосканини после первой же репетиции назвал ангельским, сохранился.

Ленинград с 70-х гг. негласно именовался культурной столицей России. Может быть, еще и потому, что на его концертных площадках звучало много музыки, для которой Москва была почти закрыта: Эдисон Денисов, Владимир Сильвестров, София Губайдулина и, конечно, Альфред Шнитке! И вот грянул 1976 г. — двухсотлетие Большого театра! В начале июня Большой привез в Питер шесть опер и шесть балетов, естественно, хор и оркестр. После фестиваля «Белые ночи» опера Большого уехала в Киев, а балет Большого — кто бы мог подумать?! — в Новосибирск. Когда в начале июля я вернулся в Новосибирск, меня встретили огромные афиши: «Лебединое озеро», «Жизель», «Спартак». Но Плисецкую опять не взяли на гастроли, и Александр Годунов танцевал в «Лебедином» с Натальей Бессмертной.

Среди мероприятий, указанных на афишах Большого, меня особенно заинтересовало одно — конкурс знатоков балета, посвященный 200-летию Большого театра. В жюри Васильев, Лиела, Максимова, Тимофеева, Лавровский и др., председатель жюри — Асаф Мессерер. Главный приз — поездка в Большой театр на неделю за счет новосибирского хореографического объединения «Терпсихора», которое и организовало конкурс. Конкурс проходил в знаменитом кафе «Отдых», ныне снесенном. Народу собралась не одна сотня, причем из разных городов, даже из Владивостока, уж больно весомым был приз. Конечно, конкурс я выиграл, не на все вопросы ответил, но на большинство. А в финале помог мне Пушкин, в чье творчество я погружался в Ленинграде уже более года. Когда заведующая литературной частью ГАБТ Мария Абрамовна Чурова прочитала первую «балетную» строку Пушкина: «Театр уж полон, ложи блещут» и предложила участникам продолжить, рассчитывая, что будут вспоминать по строчке, я встал и прочитал всю строфу! И уже в сентябре провел незабываемую неделю в Большом театре, причем входил я туда исключительно со служебного входа!

Подводя итоги конкурса, президент «Терпсихоры» Геннадий Алференко торжественно принял меня в члены этого объединения, а потом назначил и вице-президентом. Когда после аспирантуры я вернулся в Новосибирск, мы с Алференко предприняли титанические усилия для того, чтобы сделать городское добровольное общество полноценным юридическим лицом. Таких в СССР практически не было. Но мы, бродя по инстанциям, как флагом размахивали постановлением Совнаркома РСФСР от 1939 г. «О местных добровольных обществах без вышестоящего звена». А «Терпсихора» таковым по уставу и была. Но вот с открытием счета в банке возникли сначала проволочки, а потом и проблемы. В итоге все уперлось в замминистра финансов РСФСР А. Бобровникова. Пришлось подключать тяжелую артиллерию. В книге друзей и почетных гостей «Терпсихоры» первая запись принадлежала Майе Плисецкой: «Желаю “Терпсихоре” не просто успехов, а процветания!» Вот мы и пришли в репетиционный класс Асафа Мессерера, где занималась Плисецкая. Дождавшись окончания занятий, мы поговорили с Плисецкой, и она тут же набрала номер приемной Министерства финансов РСФСР... После этого в приемной минфина нас приняли как дорогих гостей, подписали бумаги, еще и телеграмму отправили в отделение Госбанка СССР в Новосибирске. И счет нам открыли.



Вообще говоря, общество «Терпсихора» возникло в Новосибирском государственном университете в 1970 г. просто как клуб любителей сначала бального танца, а потом и классического балета. Отцы-основатели — старшекурсники Геннадий Алференко, Борис Мездрич, Александр Ботвинник и др. — создавали его как общество просветительское и гуманитарное. Мероприятия «Терпсихоры» были разнообразными: танцевальный «Ликбез», программа «Классический и современный балет», «Хоралли» — конкурсы знатоков балета. «Терпсихору» поддержал сначала Советский райком ВЛКСМ, а потом и горком ВЛКСМ, где первый секретарь Владимир Шамо́в оказался человеком просвещенным и начитанным. Вскоре «Терпсихора» стала одним из инициаторов фестивалей оперного и балетного искусства, автобусы в Академгородок стали с тех пор необходимым атрибутом вечерних спектаклей. Гастроли и творческие вечера звезд балета — тоже в большой степени инициатива «Терпсихоры». Поэтому и знали нас и поддерживали многие известные артисты балета: Плисецкая, Васильев, Лиёпа, Лавровский, Максимова, Гершунова, Бердышев... Итогом первого этапа жизни «Терпсихоры» стали, конечно, гастроли балета Большого театра. «Терпсихора» была здесь одним из авторитетных агентов влияния.

«Терпсихора» научила нас открывать любые двери, ибо цели мы преследовали благие. Дело было в 1981 г. Мы приехали на IV Московский международный конкурс артистов балета в Большом театре. Приехали в том числе болеть за нашу новосибирскую балерину Татьяну Кладничкину, которая после бронзы в Варне в итоге получила серебро в Москве. На этом конкурсе был вручен Гран-при Иреку Мухамедову. Но запомнился конкурс не только созвездием талантов на сцене Большого, но и встречами в закулисье. «Терпсихора» получила две аккредитационных карточки в пресс-центре конкурса, с ними дорога нам была открыта всюду.

Вот только одна встреча из многих, подаренных мне московским конкурсом. Георгий Михайлович Гречко — летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, говорил: «В человеке всегда живет мечта о совершенном движении, о гармонии перемещения в пространстве. Балет — высшая форма такой гармонии, поскольку основа здесь — музыка. Мне, в большой степени привыкшему к строгим техническим категориям, кажется идеальной формула Игоря Стравинского: “Классический балет — это торжество порядка над произволом”». «Ты откуда слов таких набрался?» — раздался знакомый голос. По лестнице поднимался Юрий Визбор, с ним мы недавно катались на лыжах в Чимбулаке, в Заилийском Алатау. Почти со всеми космонавтами Визбор был на «ты», может, еще и потому, что на орбите часто пели его песни. «Попал сюда случайно, и очень рад», — пояснил он. Тут подошел Гена Алференко и от имени «Терпсихоры» пригласил всех на чашку кофе с коньяком, даже Гречко не отказался. Он в те времена был председателем Федерации горнолыжного спорта СССР, и за столом разговор как-то сам собой зашел о горных лыжах, в том числе о том, что балетные редко катаются на лыжах из-за опасности травмы. И тут к нашему столу неожиданно подсел Борис Лавренюк, журналист, знаток балета, брат его танцевал в Большом. А поскольку рассказчик он был отменный, как и журналист, он сразу стал центром стола. Боря рассуждал о разных судьбах в искусстве, в частности в балете, на примере Галины Улановой и Майи Плисецкой. Борис рассказывал о виденном им в 1954 г. балете «Жизель», где танцевали Уланова и Плисецкая. После первого акта, где Уланова вдохновенно



исполнила сцену сумасшествия, прозвучали умеренные аплодисменты, но вот во втором, когда началась битва за Альберта между Жизелью и Миртой, по сцене летали искры, высекаемые несходством ролей, характеров, судеб... В зале царил гробовая тишина. Когда закрылся занавес, зал молчал еще несколько мгновений, пока не разразился бурей оваций. Задумавшись, Визбор заметил: такое явление, что впору песню об этом написать. «Так есть же у Высоцкого, — возразил ему Борис. — «А также в области балета мы впереди планеты всей!»» «Это не Высоцкого, это моя, — заметил Визбор, — но страна считает, что его, а я не обижаюсь». После чего Визбор и Гречко попрощались и ушли, а нам с Генной предстояла еще одна важная встреча.

В это время в Новосибирске шла «молочно-хореографическая война», как говорили злые языки. «Терпсихора» разыскала старинный особнячок на улице Чаплыгина и вознамерилась открыть там культурный центр по пропаганде лучшего в мире советского балета. Но ветшающий особняк принадлежал молочному заводу, там был устроен склад стеклотары. Письмо в поддержку инициативы «Терпсихоры», как выяснилось впоследствии, подписали многие звезды балета, начиная с Плисецкой. И вот мы (по совету Екатерины Максимовой) пришли к Улановой в знаменитую высотку на Котельнической набережной. Галина Сергеевна приняла нас в прихожей, прочитала письмо, посмотрела подписи и, возвращая письмо, коротко сказала: «Терпеть не могу околобалетной публики». С тем мы и попрощались. Тем не менее дом для «Терпсихоры» мы отстояли, а позже распоряжением главы администрации Новосибирска Ивана Павловича Севастьянова были выделены деньги на ремонт и реставрацию особняка. Дом стал украшением центра Новосибирска, а деятельность «Терпсихоры» постепенно приобрела поистине планетарные масштабы. Все приезжие гастролеры, артисты балета, балетные критики, режиссеры, хореографы — все побывали тут.

В 1979 г. в Новосибирске был поставлен балет «Сильфида» на музыку Шнейцгоффера. Балетмейстер Пьер Лакотт, восстановивший балет по сохранившимся рисункам его первых постановщиков, увидев в Москве нашу Людмилу Гершунову, не сомневался, где надо ставить «Сильфиду» в России. Три года балет шел на сцене с неизменным успехом. В 1981 г. надо было возобновлять и корректировать постановку. Лакотт прилетел в Новосибирск, но контракт не был подписан, министерство культуры не нашло денег. Однако беседа с Пьером состоялась. Он был очень разочарован тем, что в городе с такими балетными традициями «Сильфида» снимается с репертуара. Пьер рассказал нам о своей жизни в балете, о великих партнершах Иветт Шовире и Лиссет Дарсонваль — звездах «Гранд-опера».

А пока в Новосибирске состоялось еще одно важное событие: приезд великой кубинской балерины Алисии Алонсо, которому «Терпсихора» тоже поспособствовала. Нашим гостем однажды был Азарий Плисецкий, танцовщик и хореограф. Он много работал на Кубе, а женой его была известная кубинская балерина Лойпа Араухо. Помню встречу в Институте химии твердого тела в Академгородке. Азарий, словом владея не хуже, чем балетной техникой, обратился к аудитории так: «Вы занимаетесь химией твердого тела, а я физикой мягкого тела...» Азарий Михайлович также был гостем нашей с отцом знаменитой бани на улице Лермонтова, 59, где до того бывали Андрей Миронов, Марис Лиэпа и другие замечательные граждане России. Он рассказал о встре-

че в Новосибирске Алисии Алонсо, та — Фиделю Кастро, и вопрос о поездке был решен. Алисия прилетела не одна, а с замечательным танцовщиком Хорхе Эскивелем. Они не только вели творческие вечера в залах Новосибирска, но и танцевали па-де-де из «Лебединого» в зале Дома ученых. Какие прыжковые вариации показал там Эскивель! Все эти вечера правильнее было бы называть вечерами кубинского балета, где Алисия не только комментировала те или иные киносюжеты, но и показывала элементы балетных па, и это было особенно интересно и неожиданно.

А через год по приглашению «Терпсихоры» к нам прилетела этуаль «Гранд-опера» Лиссет Дарсонваль. Когда я вручал ей цветы на сцене Дома ученых, я представлял, как ее осыпали цветами после балетов Сержа Лифаря, Мориса Бежара, Джорджа Баланчина. Дарсонваль имела статус этуали с 1940 г. Мы раскопали про нее все, что можно было найти в печати. И за бокалом шампанского, правда не «Вдовы Клико», а «Советского», госпожа Дарсонваль удивлялась тому, как много знаем мы о французском балете и о ее артистической судьбе в частности. (Но это, замечу, — фирменный стиль «Терпсихоры»: мы знали все и обо всех. Вообще, отбор в «Терпсихору» был строгим. Мы, например, спрашивали претендента о том, какие бы десять романов тот взял с собой на необитаемый остров. Этот перечень позволял о многом судить.) А в конце разговора мадам Дарсонваль рассказала нам о важном событии: в 1983 г. художественным руководителем балетной труппы «Гранд-опера» стал Рудольф Нуриев — имя в СССР замалчиваемое. О нем не писали ни хорошо, ни плохо, вообще не писали. А во время обменных гастролей Большого театра с Лондонским Королевским балетом советская сторона поставила условие: снять из гастрольного репертуара спектакли Нуриева. Но англичане уперлись и отстояли танцовщика. Дарсонваль рассказывала о личных встречах с Нуриевым, о его магнетизме, который завораживал всех и в зале, и на сцене. Джером Робинс позже писал: «Нуриев вытащил труппу “Опера” из депрессии...» И через три года французский балет потряс всю Америку. Я видел поставленные Нуриевым в Париже «Баядерку» и «Дон Кихота», где очень заметно развернута сфера мужского танца. И заметно было, что постановщик старается не слишком отступать от заданного Петипа стиля спектакля. В России я выступления Нуриева (когда он приехал) не видел — и слава богу! Ибо выступал он уже будучи неизлечимо больным. А вот на могиле Нуриева на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа все члены «Терпсихоры» в разные годы побывали...

На этом я заканчиваю первую часть своих записок старого театрала. А впереди еще вселенная драматического театра, от которого впечатлений было не меньше, чем от театра музыкального. Да и девяностые годы, несмотря на кризис, запомнились выдающимися театральными музыкальными достижениями. Но об этом потом.



Татьяна КОНЬЯКОВА

ОЧАРОВАННЫЕ СИБИРЬЮ

Фильм «Вечный зов»

в судьбе Анатолия Иванова и Владлена Бирюкова

В середине 1975 г. на телеэкраны вышли первые серии киноэпопеи «Вечный зов». Успех фильма был огромный. Из библиотек исчезли все книги Анатолия Иванова, по роману которого снималось это кино. Двухтомник «Вечного зова» на черном рынке потом будет стоить столько же, сколько «агатовый» томик Анны Ахматовой. Тот самый, о котором Андрей Вознесенский писал:

Попробуйте купить Ахматову.
Вам букинисты объяснят,
что черный том ее агатовый
куда дороже, чем агат.

Одну из главных ролей в фильме — сотрудника ОГПУ — НКВД Якова Алейникова сыграл тогда никому не известный актер новосибирского ТЮЗа Владлен Бирюков. Роль «чекиста с человеческим лицом» круто поменяла его жизнь. Она принесла актеру не только всенародную любовь, но и Государственную премию, а также специальную премию КГБ СССР. Многие тогда не сомневались, что в фильм Бирюков попал благодаря рекомендации Иванова. Якобы в свой новосибирский период писатель был дружен с актером и потом устроил ему вызов на «Мосфильм». Но это было не так. Дружны они никогда не были, до фильма даже не были знакомы. И вообще очень разные это были люди — по характеру, по темпераменту, по возрасту, по статусу. Но общее у них, безусловно, было. Не случайно в канун нового тысячелетия новосибирцы, определяя, кто достоин носить звание «Гражданин XX века Новосибирской области», в числе 25 наиболее выдающихся земляков назвали Владлена Бирюкова и Анатолия Иванова.

Владлен Бирюков всю жизнь прожил в Новосибирске. После фильма «Вечный зов» сыграл еще около тридцати ролей в кино, но от предложений переехать в Москву отказывался. Для съемок выкраивал «окна» между репетициями и брал отпуска в своем родном театре «Красный факел», который всегда считал главным делом жизни.

Анатолий Иванов прожил в Новосибирске только десять лет, но потом всегда называл себя сибирским писателем и по своим творческим интересам оставался таковым. А город, где он получил путевку в большую литературу, и журнал «Сибирские огни», где были впервые опубликованы его произведения, всегда вспоминал с благодарностью, называя родной гаванью, из которой ушел



в самостоятельное плавание его корабль. Его эссе, посвященное этому периоду, так и называется — «Родная гавань». Столь поэтически-взволнованные строки вполне могли бы принадлежать перу не прозаика, а поэта:

...Я люблю смотреть на ночные корабли, стоящие у затихающих к вечеру пирсов. Приплывшие откуда-то из-за семи морей, побывавшие, может быть, в десятках и сотнях различных портов мира, вот стоят они теперь здесь безмолвно, в черной воде отражаются их ночные огни. И мне почему-то всегда кажется, что корабли в эти нечастые ночи отдыха вспоминают родные гавани, в воды которых они впервые сошли с заводских стапелей и закачались, неуклюжие пока, на тяжелых волнах...

Родная гавань есть у каждого писателя, каждый ведь начинал где-то. И чаще всего, так же вот неловко покачавшись на волнах открывавшегося перед ним литературного простора, уходит в самостоятельное плавание.

Потом будут другие гавани, то есть другие журналы, где автор станет печатать свои произведения. Но любой писатель всю жизнь, которая, как правило, бывает не очень-то усыпана розами, с нежностью вспоминает тот журнал, который опубликовал первое его произведение и тем самым благословил в тернистый, но желанный путь...

Таким журналом для меня являются «Сибирские огни».

У Иванова есть очерк «Очарованные Сибирью», его героем вполне мог бы быть и он сам.

Новосибирское время Анатолия Иванова

В Новосибирск Иванов перебрался в конце 50-х. Значительная часть его новосибирского периода пришлась на 60-е гг. — времена хрущевской «оттепели», больших начинаний и больших надежд.

Город был на подъеме. Бурно строящийся Академгородок делал его зоной особого внимания. За короткое время в сибирской столице с визитами побывали Ричард Никсон и Шарль де Голль, Урхо Кекконен и Иосип Броз Тито. Никита Хрущев приезжал ежегодно, иногда и по два раза в год. В 1962-м Новосибирск принимал Юрия Гагарина...

В 1956-м в Новосибирске открывается консерватория, в 1958-м — картинная галерея и театр музыкальной комедии — шестой по счету театр города, в 1960-м — театральное училище. В 1961 г. в Москве с триумфом проходит первая персональная выставка Николая Грицюка, которая называется «Новосибирск — сегодня»...

В 1968-м на сцене «Красного факела» появляется легендарный спектакль «Борис Годунов» — ставит его Арсений Сагальчик, музыку пишет Альфред Шнитке, оформляет Николай Грицюк. Роль Годунова играет Анатолий Соловьев, который к этому времени уже успел сняться у Тарковского в «Андрее Рублеве».

В городе, как и во всей стране, — поэтический бум. Создаются десятки литературных объединений. Самое известное из них — легендарное лито Ильи Фoniaкова, через которое пройдут многие новосибирские писатели и поэты. Для города Фoniaков — фигура столь же знаковая, как и Иванов. В Новосибирске они жили примерно в одно и то же время и уехали в один год. «При всех сложностях оттепельного времени, перемежаемого периодически большими или ма-



ленькими заморозками, — это было прекрасное время», — скажет потом Илья Фояняков.

Действительно, такого единения представителей разных искусств потом не будет уже никогда. Писатели читали и знали друг друга. Театры стояли в очередь за произведениями местных авторов. Газеты с удовольствием печатали стихи. На радио с успехом шли инсценировки литературных произведений. Новосибирское телевидение снимало художественное кино. Потом в разные годы будут делаться попытки вернуть ту атмосферу, но окажется, что нельзя дважды войти в одну реку.

В свете всего этого фантастически счастливая история первого рассказа Анатолия Иванова «Алкины песни» уже не кажется такой фантастичной.

«Этот рассказик кормил меня до-о-олго!»

Сначала был очерк о жизни и любви простой деревенской девушки Алки Ураловой. Потом рассказ «Алкины песни», который был напечатан в журнале «Сибирские огни». Затем инсценировка на новосибирском радио. Потом автору предложили написать на этот сюжет пьесу — по ней был поставлен спектакль, который более пяти лет не сходил с афиш новосибирского ТЮЗа. Далее Иванов создал либретто, по нему была поставлена опера «Алкина песня», которая стала первой сибирской оперой. Музыка к ней писал композитор Георгий Иванов, музыкальным руководителем и дирижером спектакля был Арнольд Кац. Позднее на новосибирском телевидении по опере был снят художественный фильм. «Этот рассказик кормил меня до-о-олго!» — смеялся Анатолий Иванов.

Незадолго до появления первой сибирской оперы на сцене театра музыкальной комедии была поставлена первая сибирская оперетта «У моря Обского» — о строителях и ученых Академгородка. Музыка к ней также сочинил Георгий Иванов, а автором либретто был будущий народный артист России, ведущий солист театра оперетты Иван Ромашко. Он помогал Анатолию Иванову в создании оперного либретто, поскольку вокальные номера требовали стихов. О тех временах Ромашко вспоминает так:

«Алкины песни» были настолько популярны, что я написал по этому поводу четверостишие. Прочел я его на открытии Дома актера:

Мне сказал хирург Мешалкин —
Личность знаменитая,
Что по всем приметам Алка —
Девка плодovitая.

Иванов смеялся от души. Тогда мы уже были с ним дружны. А познакомились на премьере «Алкиных песен» в ТЮЗе. Я подошел, поздравил его как актер автора. Оказалось, что он смотрел «У моря Обского», то есть мы как бы два драматурга, пошутили по этому поводу, обнялись.

Жили Ивановы в том же доме, что и композитор Георгий Иванов. И у нас достаточно часто бывали такие семейные встречи. Толя был человеком с купеческим размахом, жил на широкую ногу, любил компании, любил угощать. Мы все его, конечно, обожали. В городе он был очень знаменит.

И после его отъезда в Москву отношения продолжались. Он даже помогал мне устраивать наших новосибирцев в гостиницу «Юность». Была такая



гостиница — она принадлежала комсомолу, попасть в нее было невозможно, а Толя тогда уже был главным редактором журнала «Молодая гвардия». Он, кстати, очень поддержал меня с моей второй пьесой «Рябина красная», хотел, чтобы я вступил в Союз писателей. Из Москвы прислал мне большую рекомендацию в Союз — прислал телеграммой, на трех бланках!

С Георгием Ивановым у нас потом была идея написать еще и оперетту «Алкины песни». С Толей в Москве мы ее обсуждали, он идею поддержал, отдал мне пьесу. Но это уже были 90-е, когда все развалилось, и никому это не стало нужно...

«Дело в сущем пустячке...»

«Алкины песни» Иванов написал еще до переезда в Новосибирск, в селе Мошково, где он четыре года проработал сельским журналистом. Именно из Мошкова он привез в редакцию журнала «Сибирские огни» и свое первое большое произведение — повесть «Повитель» (иногда ее называют романом). К крупной форме, не раз говорил писатель, он пришел «неожиданно даже для самого себя». Начиналась «Повитель» с небольшого рассказа, тему которого писателю подсказала случайная встреча:

В колхозе одном встретил человека, сидящего в сенокосную пору в холодке. Смотрю — пьяненький, что-то рассказывает двум трезвеньким. Потом узнал, что это заместитель председателя колхоза (были тогда и такие должности), что он вообще пьяница, фамилия его — Бородин, что у него полдеревни родни, они-то его на отчетно-выборных собраниях и выкрикивают в заместители председателя и проводят голосованием. Колхоз же! Человек этот был злой, обиженный чем-то, плохо жил с женой (бабник), с сыном.

Я решил написать о нем, об этой семье небольшую повесть — конфликт сына с отцом. Что-то я написал, отнес в «Сибирские огни». Там почитали и спросили — а в чем, собственно, суть конфликта у них?

Вот этот конфликт я долго пытался изобразить, не помню уже, что придумывал. Повесть росла в объеме, из современности все больше углублялся в ранние годы Советской власти, а конфликта не было. Раза четыре я показывал повесть в «Сибирских огнях», и все мне ее возвращали для переделок...

И вдруг прочитал в газете «Советская Сибирь» сообщение, что на свалке в одной из сибирских деревень нашли выброшенный кем-то ржавый кулацкий обрез. Вот тут-то меня и осенило — кто хранил до сего времени, зачем хранил, почему решил разоружиться? Повествование пошло еще более в глубь времени, началось с 1915 года...

Кулацкий обрез стал той недостающей деталью, которая собрала разрозненные факты в единое целое. Рассказ превратился в объемное повествование, характеры и ситуации получили свое объяснение. Иванов потом будет не раз вспоминать, с какой бережностью и заинтересованностью отнеслись к его рукописи в «Сибирских огнях», как помогли ему доработать роман. И поименно называть членов редколлегии журнала — Сергея Залыгина, Виктора Лаврентьева, Афанасия Коптелова, Анатолия Никулькова и главного редактора Анатолия Высоцкого, которые, по его словам, сделали из него писателя.

Именно с «Повители» начался тот Иванов, которого мы знаем: с его мощными характерами, закрученными сюжетами, с его масштабом, размахом и его беспредельной любовью к истории. Отечественная история, считал он, неис-

черпаемый кладезь для писателя: «Ее катаклизмы породили типы и характеры неисчислимых оттенков и необозримых диапазонов, от величественных до безобразно мерзких...» Не случайно и в журнале «Молодая гвардия», который Иванов потом возглавит, будет так много истории. Журнал при нем приобретет репутацию издания патриотического, даже оппозиционного. Писателя потом будут не раз обвинять в консерватизме, национализме, даже шовинизме, но он будет держать удар и не сойдет с однажды выбранного пути.

Как редактор Иванов тоже начинался в Новосибирске. После переезда в город он работал редактором Западно-Сибирского книжного издательства и заместителем редактора «Сибирских огней». Теперь уже ему самому приходилось вершить судьбы тех, кто, как когда-то он сам, робко переступал порог журнала. Среди начинающих, как и во все времена, были и таланты, и люди совершенно безнадежные. И надо было брать на себя ответственность и принимать решения, чтобы не пропустить одних и не дать ложной надежды другим... Иванов вспоминал такой случай из своей редакторской практики:

Никогда не забуду один разговор в Новосибирске с не очень молодым писателем, выпустившим в свет две тоненькие книжечки. «Вот, — сказал он, — все, что есть в этом мире интересного и достойного искусства, я уже описал. И о чем дальше мне писать — не знаю, не понимаю...» Потом помолчал и добавил: «Хорошо было Джеку Лондону. Он поехал на Аляску, на Клондайк... На какой он там напал материал! Какие люди, страсти, драмы, трагедии... А экзотика! А у нас — что тут? Тихо все и мирно...» И еще, помолчав, вдруг спрашивает: «Слушай, ты толстые романы пишешь, может, у тебя много мусора после них остается? Может, есть у тебя какой неиспользованный образок, сюжетец? Подкинь, поделись по-братски...»

Я направил его в соседнюю деревню к бухгалтеру. Но земли, на которых совхоз расположен, принадлежали раньше, до революции, родному отцу этого бухгалтера. И вот он сейчас считает государственные доходы с этой земли.

— Ну и что? — спрашивает этот литератор.

И я понял после этого равнодушного «Ну и что?» — писатель в этом человеке умер, а может быть, никогда и не родился. Он по ошибке взялся за перо и тем испортил себе всю жизнь. Пера он все равно не выпустил, а путного до сих пор ничего не создал. Он обивает пороги издательств и редакций, всех обвиняет в бюрократизме, в непонимании его творений, в предвзятом к нему отношении. Всех, но только не себя. Безнадежен...

Ему уже бесполезно объяснять, что зря он завидует Джеку Лондону, что страсти, драмы и трагедии, а также экзотика, о которой он мечтает, в избытке вокруг него. Все это справа, слева, под ногами и над головой.

Следовательно, весь вопрос в следующем — кому дано, а кому не дано все это рассмотреть. Дело вот в таком существе пустячке.

Сам Иванов действительно из такого «сущего пустячка», как история скромного сельского бухгалтера со «строкой в биографии», мог бы развернуть целую эпопею. Его произведения так и рождались...

При всей необычности судьба Анатолия Иванова весьма типична для писателей его поколения — выходцев из деревень, часто интеллигентов в первом поколении, людей с невероятной жаждой знаний, невероятной работоспособностью и страстным желанием служения, именно служения, литературе. Большинство из них не заканчивали литературных институтов, а учились у жизни и по литературным образцам. Среди учителей и единомышленников по литера-



турному цеху Иванов называл Горького, Лескова, Шолохова (ему он посвятил свою позднюю повесть «Жизнь на грешной земле»), очень любил Шишкова. Несколько особняком в этом списке приоритетов стоит Голсуорси и его «Сага о Форсайтах». Однако сам факт появления этого имени не удивляет. Главные произведения Анатолия Иванова по своей сути саги, где в центре сюжета — судьбы сибирских семей или, как в «Вечном зове», — династий, зарождение и развитие которых происходит на фоне событий, определивших ход истории.

Ключ ко всем его романам, говорил писатель, надо искать на его малой родине, в селе Шемонаиха:

Я родился в 1928 году в Восточном Казахстане, граничащем с Сибирью. И село наше было типично сибирским, и я хорошо знал героев, о которых мне приходилось рассказывать, до мельчайших тайн и сокрытостей. У меня не было никакой внутренней потребности «дополнительно» изучать материал, ибо все, что было с героями, зримо, рельефно, вполне очевидно стояло перед моими глазами. Я знал и характерные словечки, которыми обменивались персонажи.

Окончив факультет журналистики Казахского университета, писатель несколько лет проработал в семипалатинских газетах, потом служил в армии и, наконец, был направлен в село Мошково.

Шемонаиха в его романах потом станет Шантарой. Река детства Уба — Светлихой и Громотухой. Высокий, с отвесными стенами утес, что стоит за Убой, его земляки до сих пор называют Марьиным — в честь героини романа «Тени исчезают в полдень» Марьи Вороновой, будто бы и на самом деле убитой кулаками на его вершине.

Жители Мошкова, впрочем, убеждены, что многие страницы романов Иванова написаны об окрестных деревнях, которые еще помнят Гражданскую войну, Колчака, коллективизацию и разгромы сельских храмов...

«До мельчайших тайн и сокрытостей»

Над своим главным произведением, романом «Вечный зов», писатель работал 13 лет. История трех поколений сибирской семьи Савельевых растянулась почти на шесть десятилетий, вместив революцию, три войны, годы коллективизации и годы репрессий.

Фильм «Вечный зов», который потом назовут самым длинным сериалом Советского Союза, снимался более десяти лет и выходил тремя сезонами. К каждой из 19 серий подходили как к отдельному художественному фильму. Иванов участвовал в работе до последнего кадра. С создателями фильма Владимиром Краснопольским и Валерием Усковым они понимали друг друга с полуслова, были связаны не только работой, но и дружбой. Те же режиссеры снимали фильм «Тени исчезают в полдень» и позднее работали над мини-сериалом «Ермак» по последнему крупному произведению Иванова. Они могли без церемоний позвонить писателю с Южного Урала или из Башкирии, где шли съемки «Вечного зова»: «В эту сцену надо бы парочку фраз поярче...» И он тут же по телефону им диктовал. Результат в итоге превзошел все ожидания. Некоторым актерам Иванов говорил: «Вы сыграли лучше, чем я написал».

Конечно, в фильме есть и советская риторика, и некоторая излишняя прямолинейность — Иванов был человеком своего времени, убежденно партий-



ным, — но все с лихвой окупается несомненными художественными достоинствами и романа, и фильма. Прежде всего, конечно, глубокими убедительными характерами и талантом Иванова-беллетриста — его умением писать увлекательно и быть понятным самому разному читателю. Он весь вкладывался в свои произведения, он создал свой мир, он искренне в нем жил, был увлечен своими героями. Жена писателя вспоминала такой случай:

Однажды мы вместе с ним смотрели момент, когда Анфиса наконец находит своего мужа Кирьяна Инютина, тот после ранения остался без ног, и я вижу: Анатолий Степанович сидит и плачет. Все-таки любила Анфиса Кирьяна, любила!

Конъюнктуру и заказ, как это иногда пытаются представить, на таком нерве, конечно, не создают.

Актеров в фильм подбирали долго и тщательно, искали и в Москве, и в провинции. Режиссерам было не важно, известный актер или нет, главное, чтобы попадание в образ было точным. И если они такого актера находили, то не останавливались ни перед чем. Так, по поводу Петра Вельяминова пришлось вести переговоры с КГБ. Актера режиссеры заметили в Свердловске. Коренной москвич Вельяминов провел десять лет в ГУЛАГе, и въезд в столицу был ему запрещен. В итоге он сыграл и Захара Большакова в сериале «Тени исчезают в полдень», и Поликарпа Кружилина в «Вечном зове». Сыграл великолепно, проникнув в характеры, выражаясь словами Иванова, «до мельчайших тайн и сокрытостей». Сегодня трудно представить, что на его месте был бы кто-то другой или чтобы Федора Савельева играл, например, не Вадим Спиридонов, а Анфису — не Тамара Семина...

Вадима Копеляна (Кафтанов) после фильма еще долго именовали «главным кулаком страны». А Владлена Бирюкова — «влюбленным чекистом». У фильма, кстати, была не совсем гладкая история с выходом на экран. Проблемы возникли, главным образом, из-за темы сталинских репрессий и образа Якова Алейникова. Иванову пришлось лично обращаться в Политбюро. Иван Ромашко вспоминал:

В Новосибирск после выхода «Вечного зова» приезжала большая съемочная группа фильма, был и сам Иванов, и режиссеры. На творческих встречах бывали моменты, у Бирюкова всерьез спрашивали, зачем он обидел Ивана? Зачем его посадил? Настолько жизненный был фильм, что экранный образ путали с реальным человеком. Тогда же мы впервые узнали, как Бирюков на самом деле попал в фильм. Оказалось, что совершенно случайно. Режиссер Владимир Краснополюский застрял в аэропорту в Уфе, чтобы скоротать время, пошел в местный театр. Там как раз гастролировал новосибирский ТЮЗ. Владлена Бирюкова он увидел в спектакле «Валентин и Валентина», в роли капитан-лейтенанта Гусева. Пробы Влад проходил уже на съемочной площадке...

Закономерные случайности Владлена Бирюкова

Бирюков любил повторять, что в его жизни многое происходило случайно. Он и в актерскую профессию попал на спор, о чем позже рассказывал так:



Однажды с другом мы приехали в Новосибирск. А там огромная такая афиша у оперного: «Школа-студия МХАТ объявляет прием абитуриентов для целинных театров». Друг мне и говорит: слабо тебе поступить. Поспорили на велосипед. На вступительных читаю отрывок из Теркина, прохожу на второй тур, на третий... Народу было — кошмарное дело! Осталось нас после третьего тура — восемь человек. Собирают нас, и профессор заявляет: «Это мы совершили большую ошибку». Стоим мы, восемь человек, зеленые, и нам такое говорят! Это же можно душу человека изуродовать! Меня так забрало — характер у меня резкий — я говорю: да много вы в этом понимаете! И ушел. В коридоре меня догнала Софья Болеславовна Сороко — в то время она была директором нашего театрального училища: «Мы вас, Владлен, берем без экзаменов». Велосипед я забирать не стал.

До этого момента знакомство будущего народного артиста с театром ограничивалось радиопередачей «Театр у микрофона» и кружком художественной самодеятельности при бердском радиозаводе, да и то записался он туда, чтобы иметь возможность бесплатно проходить на танцы.

Актриса Валентина Широкина, которая училась с ним на одном курсе, вспоминает, что уже тогда Бирюков заметно от всех отличался своей самодеятельностью, прямотой и тем, что был абсолютно естественен на сцене:

Мы все немножко так играли, старались быть на кого-то похожи, «звучко-дуйством» занимались. Пафосно, по-театральному говорили, подавали текст. Влад же был совершенно органичен, за его плечами всегда стояла правда, и она была с ним на протяжении всех лет его творчества. Наверное, он это черпал из той среды, из которой вышел.

Родился Владлен Бирюков в деревне Никоново Новосибирской области в 1942 году. Отец погиб на фронте. Детство, как и у многих послевоенных мальчишек, было полуголодным, но он из тех лет вспоминал только хорошее:

Детство — оно и есть детство. Это речка, пескари в речке, которых мы не удочкой ловили, а ведрами — ведро запустишь в воду, они туда набьются. Мы из деревни с маманей уехали в 49-м году. Мне было уже семь лет. И в школу я поступил в Бердске.

К матери он был очень привязан, буквально обожал ее. Любил возить домой друзей, она всех принимала, кормила. Суровая крепкая деревенская женщина, мудрая и немногословная, с хорошим чувством юмора. Бывало, молчит, молчит, потом что-нибудь скажет, он хохочет! Чувствовалось, что ему нравилось все, что она делала.

Настоящее имя Бирюкова не Владлен, а Владелен. Он не раз объяснял, что назван вовсе не в честь Владимира Ленина. Так нарекла его тетка — деды до революции хозяйствовали на Лене, в Бодайбо у них был золотой прииск. «Вот и решила тетушка назвать меня Владельцем Лены. Так что если взять за основу мои корни, то я самый что ни на есть посконный сибиряк».

В родную деревню, где у него остались двоюродные братья, Бирюков потом любил ездить в отпуска. Уже за месяц-полтора начинал мечтать, как они с братанами пойдут париться в бане, как потом «пойдут рыбалить». Гордился, что и топор держать не разучился, и стог сметать сумеет, чтобы ветром не разворошило и под проливным дождем не протек. Наравне с деревенскими работал

на сенокосе. Любил собирать грибы — до краев набивал груздями и лисичками багажник своего старенького жигуленка. В деревне его считали хоть и знаменитым, но своим. Когда Бирюков стал депутатом областного совета, он помогал землякам со строительством клуба.

Когда жизнь подарила мне кино, отношение ко мне, конечно, очень поменялось. Раньше к матушке приезжаешь: «А, артист приехал, ну, сыграй чего-нибудь». Вроде, прикинься, рубль дам. Ну, матери как-то не нравилось такое отношение, но она смалчивала. Когда вышел первый блок «Вечного зова», приезжаю в Бердск: «Здравствуй, Володя» (Володей меня там звали). И кино повлияло, и она, наверное, какую-то воспитательную работу провела. Конечно, матери было приятно, что сложилась у сына судьба.

После фильма молва нас тут же с Еленой Драпеко (Вера Инютина) и поженила. Хотя роман у нас был только на экране. И вообще, в жизни Елена Григорьевна (будущий общественный деятель и депутат Государственной думы. — Т. К.) совсем не похожа на свою героиню...

В роли влюбленного чекиста

Обычно театры не очень любят отпускать актеров на съемки, тем более если съемки длятся годами. Но с Бирюковым случай был особый. Иван Ромашко удивлялся:

Как бы его не отпустили сниматься, если это был фильм Иванова? Толя и в обком был здесь вхож, и вообще его в Новосибирске очень чтли и за честь считали, что новосибирский актер приглашен в такую серьезную картину. И успехом фильма гордились. Мы, конечно, по-хорошему завидовали Владу, что у него была такая замечательная возможность проявить себя. Вслед за «Вечным зовом» пошел фильм «Молодая жена» — мощная семейная драма. Молодые семьи тоже примеряли ситуацию на себя, тоже обсуждали.

Влад очень спокойно относился к своим титулам — хотя он и лауреат Государственных премий РСФСР, СССР, премии КГБ, премии МВД и еще там много всего. Когда они с Ивановым получили звание «Человек века» («Гражданин XX века». — Т. К.), мы, это было уже в 2000-м, смеялись: «Ты нос-то не задирай, ты человек прошлого века». В кино и платили неплохо. У Влада появилась «Волга» — у нашего актера «Волга»!

Он вообще очень к себе располагал, с первой встречи. Я тогда написал капустник и пригласил актеров поучаствовать. Они пришли с другом, оба тогда играли в ТЮЗе: «Мы желаем в капустнике участвовать». — «А что вы умеете делать?» Влад очки надевает, одного стекла нет, и он начинает глаз чесать — это, говорит, для начала. Ну, проходите, говорю. Он такой очень хороший парень, правильный, прочно на земле стоящий.

Нам с ним довелось играть в одном фильме. В начале 90-х у нас был такой режиссер — Юрий Кандеев, новосибирец, учился вместе с Шукшиным, судьба его сложилась трагически. Он делал фильм «Овен» по детективу Михаила Черненко «Кухтеринские бриллианты». Съемки проходили в Горно-Алтайске, на Телецком озере — замечательные места. Актеры в основном новосибирские, но были и москвичи — Майя Булгакова и актер Малого театра Александр Потапов, он потом еще Хрущева в нескольких фильмах играл...

У Владлена было несколько фильмов, которые снимались в Новосибирске. Был такой фильм «Тайга», где он играл с Андреем Болтневым. Там сюжет: в тайге упал самолет с большой суммой денег, два человека эти деньги нашли и очень по-разному в этой ситуации проявляются.



Андрей Болтнев несколько лет был актером театра «Красный факел», его жена, актриса Наталия Мазец, была родом из Новосибирска. Бирюков его хорошо знал, ценил и, когда режиссер Алексей Герман позвал Бирюкова на главную роль в фильме «Мой друг Иван Лапшин», предложил вместо себя Болтнева. Фильм вошел в анналы отечественного кинематографа. С Бирюковым, конечно, это было бы совсем другое кино, но тоже, наверное, было бы интересно.

«Вечный зов» не был первым фильмом Владлена Бирюкова, как это принято считать. Его дебютом в кино стала небольшая роль старшины Скорика в военной драме «Горячий снег» по повести Юрия Бондарева. Это был бесценный опыт и большая честь — уже хотя бы потому, что играть пришлось вместе с Георгием Жженовым, Анатолием Кузнецовым, Вадимом Спиридоновым и другими актерами, от имен которых захватывало дух. В фильм Бирюков и еще несколько новосибирцев попали благодаря тому, что снималась картина под Новосибирском. Снова счастливый случай?

Неумная натура

На самом деле, конечно, ничего случайного в жизни Владлена Бирюкова не было. Была адская работа, были выматывающие перелеты и переезды — совмещать кино и театр не так просто, были сомнения. Случалось, роли никак не шли и приходилось долго биться, пока что-то не начинало получаться. Но все это оставалось где-то там, а на сцене и на экране — и это свойство большого таланта — все происходило как будто само собой: вот вышел человек на сцену и немножко на ней пожил. Бирюков не относился к числу актеров, которые все время надевают маски, меняясь до неузнаваемости. Он всегда оставался Бирюковым, разным, но Бирюковым. Каждый характер он пытался найти в себе и как бы поворачивался к зрителю новой своей стороной. И это было здорово.

По своему амплуа он, конечно, социальный герой. Но он и в «Венецианских близнецах» Гольдони играл великолепно, и остросатирические роли ему давались, и в русской классике он играл много и сам пробовал себя в роли режиссера — ставил «На дне» Горького, а когда уехал актер, игравший Луку, играл в своем спектакле.

А какой это был Городничий в «Ревизоре»? Режиссером спектакля был Олег Рыбкин — признанный мастер эксперимента и эпатажа. На сцене у него были гастарбайтеры и вообще много творческого хулиганства. Но актеры, это чувствовалось, спектакль приняли, играли с удовольствием и куражом. Когда в финале на сцене появлялся Бирюков-Городничий с огромным барабаном, зал ревел от восторга.

«Он был такой немного хулиган, — вспоминают о нем актеры. — В нем был какой-то веселый дух, порох. С ним было интересно работать, он всегда искал новые ходы... От него всегда можно было ждать неожиданности».

На прогоне спектакля вместо классической фразы: «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие: к нам едет ревизор» — он мог заявить: «К нам едет режиссер!» — и режиссер-постановщик, напряженный из-за ответственности момента, едва не выпадал из ложи. Или на премьере вдруг начинал вставлять в текст фамилии чиновников, сидящих в первом ряду, — кулисы лежали, актеры на сцене едва «держали лицо», чиновники напрягались. Однажды актерам пришлось работать с не очень интересным ре-

жиссером, Бирюков долго к нему присматривался, приглядывался, а когда принесли костюмы, натянул ему на голову колпак: «Это вам от “Красного факела”».

Он всегда был такой — ершистый и ранимый, с повышенным чувством справедливости и готовностью отстаивать свою правду, невзирая на звания и чины. У него было свое видение образа, своя высокая планка, и он бунтовал, когда видел, что за режиссером, кроме амбиций, ничего нет. Бирюков никогда не был противником развлекательного театра, сам переиграл немало комедийных ролей, он понимал, что зрителю иногда надо просто расслабиться, отдохнуть, уйти в более разреженную среду. Но он был глубоко убежден, что театр не может быть только таким, что главное его предназначение — это глубина и смысл. И выходить на сцену можно только тогда, когда тебе есть что сказать — независимо, согласятся с тобой или нет, главное, чтобы слышали. Валентина Широкина вспоминала:

Актер — очень зависимая профессия. Мы зависим от режиссеров, от вкусов, от многих вещей. И не все способны вести себя так смело, как вел себя Влад. Он всегда говорил, что он думает, всегда имел свою позицию, свою точку зрения и никогда ни под кого не подлаживался...

Бескомпромиссный в профессии, для друзей он всегда оставался своим парнем, понимающим и компанейским, от которого веяло уверенностью, надежностью и уютом. К нему всегда можно было прийти посидеть, поговорить, выпить. Иван Ромашко добавляет штрихи к портрету:

Натура у него была неумная. Однажды мы с ним в Доме актера сидели: общались, выпивали, когда все закрылось, пошли на вокзал, сидели там, денег не хватило — заложили официантке мою шапку. На следующий день я ее выкупил. Его, конечно, везде узнавали, популярность у него была огромная...

В пик популярности, если надо было подписать какие-то документы, любил посылать Бирюкова: все двери перед ним распахивались, секретарши вытягивались в струночку и вопросы решались. Не раз он так помогал и своим коллегам в сложных бытовых ситуациях. «Владу это ничего не стоило — и делал он это с удовольствием», — вспоминают в театре.

Часто бывает, что о человеке и сказать-то особо нечего. Когда же речь заходит о Бирюкове, то историям нет числа: «Пошутить любил, за словом в карман не лез...», «Он был такой немного гусар, женщинам нравился...»

Женщинам он, действительно, нравился, женщин любил и умел за ними ухаживать. О себе рассказывал, что родился 8 марта (на самом деле 7-го, но как было не простить это маленькое лукавство). Официально женат был дважды. С первой женой Людмилой, оператором на радио, они прожили 22 года. Со второй, Татьяной, — 18 лет, она была с актером до последнего его дня. Был еще бурный служебный роман с одной из актрис театра, который попал на страницы газет — оборотная сторона известности. Он был очень привязан к своей дочери от первого брака Наде и внукам, которые жили в Москве. Мечтал, как привезет их в свою деревню Никоново. Журналисты не раз спрашивали жен актера, как они относятся к такой его популярности. Людмила отвечала деликатно, уклончиво, а Татьяна Петровна не таилась и парадных портретов не рисовала: «Было дело, застала с тетками, потом неделю вымаливал прощение, кофе в постель носил»...

А дальше — тишина...

В последние годы у Бирюкова практически не было ролей, к тому же актер узнал о своей болезни. «Может, в силу моего характера и ролей не дают, и на съемки не отпускают», — как-то обмолвился он. Он был распределен на роль в спектакль «Летят журавли», но повздорил с режиссером. А когда на проходной вывесили приказ отстранить Бирюкова от роли, размашисто написал: «Смерти моей хотите? Не дождетесь!» — и добавил пару крепких фраз. Такие столкновения он, хотя и держался, внутренне переживал глубоко и долго. Ролей в кино не было еще и потому, что не стало того кино, в котором был бы востребован Бирюков и в котором он действительно захотел бы сняться.

Актриса Анна Покидченко вспоминала, что, решив его поддержать, предложила найти какую-нибудь пьесу, чтобы они сыграли ее вместе. Он придумал: «Дальше — тишина...» Когда-то этот спектакль в Моссовете играли Плятт с Раневской. «Но я-то поняла, что он имел в виду, — с грустью говорила актриса, — так у нас ничего и не вышло, не смогла я этого принять, по натуре я человек очень жизнелюбивый».

Большим потрясением для поклонников актера стал выход большого фотоальбома о людях Новосибирска, который был издан Новосибирским фондом культуры, где почему-то не нашлось места для Владлена Бирюкова. Завеса над той странной ситуацией была приоткрыта уже после смерти актера, когда о нем был сделан фильм «Приближение». Открывался фильм словами президента фонда культуры Вячеслава Гаврилова. В них было и раскаяние, и покаяние:

Когда мы делали первый фотоальбом о Новосибирске, то подготовили в том числе и фотографии из жизни и деятельности Бирюкова. Но один чиновник от культуры в мэрии сказал мне: «Не надо Бирюкова показывать, ведет себя не очень правильно, с мэрией ссорится». Я тогда не знал Бирюкова...

И однажды была жаркая погода, я смотрю, в центре города идет Бирюков. Я к нему подошел, мы стали разговаривать, я сказал, что вот такая произошла история, и он со мной поделился, он объяснил, что на самом деле происходит, что он защищает интересы артистов. Я понял, что он человек очень прямой, серьезный, принципиальный. Я сказал, что мы сделали ошибку, и дал ему обещание, что в ближайшем издании мы ее исправим. У него был ближайший юбилей, я зашел за кулисы, поздравил его и вручил ему книгу — выполнил свое обещание...

Когда потом решался вопрос об учреждении в городе театральной премии, мы однозначно посчитали, что это должна быть премия Бирюкова. Были вопросы: почему именно Бирюкова, у нас есть другие театральные деятели. Ответ был очень простой: через Новосибирск прошло более двух десятков крупных деятелей кино: Акмеев, Солоницын, Болтнев, Назаров, Алферова, Матвеев, Машков — и еще можно называть. Тем не менее, все они в Москве, а Владлен прожил именно здесь всю свою жизнь. Ему было много предложений, но он не расстался с родным городом. И я горжусь, что был с ним знаком.

Он никогда не жаловался, но как-то в канун своего последнего юбилея — это было за два года до его смерти — обмолвился, что не уверен, будут ли вообще в театре отмечать его юбилей. Юбилей отмечали. И зал был полон. Актер, по обыкновению, купался в зрительской любви, хохмил, балагурил. Но в память больше врезалось не это, а его очень искренние, оголенные стихи. О чем? Да, в

общем-то, о банальных вещах, о том, что при любом раскладе надо оставаться человеком — уметь понимать и сострадать, какие бы ни были времена. Это не было жалобой или обвинительным монологом, это был скорее вопрос, адресованный самому себе:

А я стою в толпе людской,
почти кричу.
И страшно мне, что сам такой,
а не хочу...
Хочу я, чтоб растаял снег,
хочу тепла.
Мне в жизни нужен че-ло-век,
и все дела...

Через два года актера не стало. Его последней театральной ролью был Чебутыкин в «Трех сестрах». Знаменитого чеховского доктора актер играл так пронзительно и лично, как будто подводил итог и собственной жизни...

* * *

Многие актеры, ставшие знаменитыми благодаря какой-то одной роли, часто терпеть ее не могут. Так, у Юрия Назарова буквально начиналась идиосинкразия, когда говорили: «Это тот, который играл папу Маленькой Веры». Сам фильм «Маленькая Вера» Назаров тоже не любит. Владлен Бирюков, напротив, был очень благодарен Якову Алейникову и всегда с удовольствием вспоминал о фильме, который круто поменял его судьбу. И не раз его пересматривал.

Удивительно то, что «Вечный зов» и сегодня остается живым кино, а не просто реликтом — «свидетельством особого состояния нашей литературы и нашего телевидения определенной эпохи», как это иногда пытаются представить. Он достаточно часто идет по ТВ и имеет своего зрителя. И романы Иванова переиздаются. Почему люди смотрят советские сериалы? Да потому, что лучше их нет. И это, наверное, самая хорошая память о большом писателе и большом актере.



Михаил ГУНДАРИН

ИГРА В СОЦИАЛЬНОЕ

Опыт наблюдения

за художественной и документальной прозой

За документальную прозу нынче дают Нобелевские премии и «Большие книги». Между тем игра (иначе говоря, взаимодействие по признаваемым обеими сторонами правилам) ее авторов с читателями заведомо сомнительней, чем у простого беллетриста. Попробуем это доказать на примере работы авторов с такой субстанцией, как социальное. Кстати, сомнительность игры, возможно, как раз премиальные комитеты и прельщает... Впрочем, как и авторов.

1.

Итак, если долго не теоретизировать: социальное — относящееся более к социальной системе (нормы, правила, установления), чем к частным, внутренним обстоятельствам и соображениям героев. При этом оно может: а) выноситься автором за скобки как не имеющее значения для книги (в лучших русских романах — от Пушкина до С. Соколова — так не бывает), в противоположность — б) служить базовой доминантой (так не бывает тоже — сегодня разве что в виде шутки у Владимира Сорокина, вчера — ну, у советских авторов типа М. Бубеннова). Обычно имеем нечто среднее: психология, поведение героев, композиционно-сюжетный строй обосновываются как социальным, так и сугубо индивидуальным.

Вообще-то никакой литературе социальное не по зубам. Оно всегда разворачивается в настоящем, литература за ним просто не успевает. Литература — всегда прошлое. В какой бы социальной фазе ни ощущал себя автор, как бы ни пы-

тался он о ней написать, читатель узнает об этом немало времени спустя.

По этой причине мы и говорим о призраках, тенях, отражениях социального в художественных текстах. Писатель при желании может населить этими призраками свою прозу (с поэзией, пожалуй, все обстоит еще хитрее). Выступить медиумом, с той или иной степенью сноровки и удачливости. Конечно, на примере смерти Ивана Ильича можно рассуждать о вырождении царского чиновничества и недостаточном развитии системы пореформенного здравоохранения — но, думаем, такие рассуждения стали бы для автора неприятным сюрпризом. С другой стороны, сделав Каренина-старшего не просто чиновником, но бюрократом из высших, тот же автор не мог не рассчитывать на рецепцию этого обстоятельства читающей публикой. Но как было угадать ее силу и интенсивность? До сих пор ведь спорят по поводу «Карениной»: могут ли генералы страдать.

А вот суждение Елеазара Мелетинского о «Подростке» Достоевского

в духе «марксизма с человеческим лицом» — убедительности не отнимешь: *«Долгорукый заранее отрицает социальные причины, породившие его идею... Разумеется, в действительности “характер” его сам есть следствие этих социальных причин, что достаточно отчетливо доказывает вся его история жертвы “случайного семейства”.* Но, с другой стороны, не забудем, что Достоевский всегда боролся с формулой *“среда заела”* и делал за все ответственным прежде всего героя*.

Конечно, социальное нам с вами, читателям-обывателям, манифестируется во множестве форм и обличий. Их полный каталог — невозможен; дело запутывается еще и тем, что писатель тоже активно участвует в таких манифестациях самым фактом своей вовлеченности в литературный процесс (конечно, целиком социальный по самой сути). Однако даже не слишком внимательный наблюдатель может позволить себе суждение о «смене вех»: социальное сегодня снова в моде. Происходящее сегодня во внелитературной реальности слишком громко и слишком близко, чтобы его игнорировать. Собственно, и произошло-то — возвращение социального в его привычной для нас, читателей русских книг, осязаемой форме. Сначала на экраны новостей и ленты информационных порталов. Потом и на страницы книг. В художественной и документальной прозе — по-разному.

Вот кстати: упаси меня бог вдаваться в терминологические дебри. Хотите узнать, чем факт отличается от документа? И что пишут про это сорок тысяч умных людей? Не ко мне. Комментировать суждение, что документальная проза такова, что факты и документы не просто упоминаются, но и организуют ее целостную структуру, — увольте. С точки зрения читателя (хочу встать именно на нее), художественная — это то, чего

не было «на самом деле». Документальная — что было**.

Обратимся к авторам из той и из другой «команды», у которых отношения с социальным как минимум не прохладные, для которых социальное важно — в негативном, в позитивном ли ключе.

2.

Кажется, что еще и десяти лет не прошло с конца той эпохи, когда наша проза по мере возможности обходилась без социального. «Эпоха гламура», владевшая тогда отъезжающим социумом, оставила нам множество премированных книг, в которых была поэзия, туманные прозрения, психологические экзерсисы. Гламур, понятное дело, это верхушка айсберга счастливого потребления. Его эмпирии. Собственно, в тучные времена главной манифестацией социального именно потребление и становится. Тут (читатель уж, верно, заждался) с большой неохотой процитирую главного, может быть, интеллектуального героя ушедшей потребительской эпохи. «Общество потребления, — писал Бодрийяр — это еще и общество обучения потреблению, социального натаскивания на потребление, т. е. новый и специфический способ социализации»***.

Иное, более привычное нам социальное, кажется, в то время (рубеж 2010-х гг.) не давало о себе знать ни внутри переплетов, ни (как казалось тогда) на городских улицах. Вспомним Александра Иличевского (живописно-конфетных бродяг «Матисса»), кумира интеллигенции Михаила Шишкина с «Письмовником». Наконец, скандальный «Цветочный крест» букеровского лауреата 2010 г. Елены Колядиной — дикий, но обаятельный в своем роде цветок-манифест потребгламура, его «Улисс». А рядышком и Владимир Сорокин времен «ледяной»

* Мелетинский Е. М. Заметки о творчестве Достоевского. М.: РГГУ, 2001. С. 9.

** Интересующихся отсылаю, например, к не потерявшей до сих пор значения книге: Шик Э. Г. Документ, факт, образ. Новосибирск, 1973.

*** Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006. С. 45.

трилогии (в которой социальное должно было, кажется, съесть самое себя и объявить собственную кончину — как объявляли «конец истории»).

Тем сильнее — по явному контрасту — прозвучали, скажем, «Елтышевы», где автор использовал социальное, натурально, как джинна-разрушителя, с грехотом вынесшего из романа буквально все, что нельзя было объяснить горькой долей постперестроечной провинции. Тут своего рода крайний случай: убери у героев вот это основание — «среда заела», и от них самих ровно ничего не останется. Ибо, в отличие от автора «Подростка», Роман Сенчин ответственности на них самих, своих героев, не возлагает.

Если бы не наступила перестройка (или если бы она происходила не так, или если бы отцу семейства дали приватизировать служебное жилье) — все пошло бы иначе. Чистая «объектность» персонажей хотя и трогает читателя, но, полагаю, и раздражает тоже. Не «Антон-горемыка» все-таки, а Раскольников (а хоть бы и Версиков) дорог и памятен нам. Но зато за автора можно быть спокойным — поводов для новых манифестаций социального как базового принципа и повода для художественной прозы в России хватает всегда (см. «Зону затопления»).

Вспоминается предостережение В. Перцова конца 20-х гг. от чрезмерного увлечения тем, что мы назвали бы сейчас стопроцентной социальной обусловленностью текста. Правда, речь шла о критиках, которые, увлекшись, рискуют превратиться «в меланхоликов, в скучных историко-литературных фаталистов, которые все свои силы тратят на то, чтобы доказать более или менее ловко, что литературное произведение явилось последним звеном экономически-производственного ряда, что так было и иначе быть не могло»*. К писателям тоже относится...

* Перцов В. Марксизм(ы) в литературоведении // Электронный ресурс: <http://www.ruthenia.ru/sovlit/j/3388.html>

Думаю, на контрасте (гламура и социального) сыграл на рубеже 2010-х и Захар Прилепин, который впоследствии — со свойственным ему чутьем — пришел к вполне мирному сосуществованию социального и психологического (что, между прочим, вызвало недовольство ряда его прежних поклонников, с трудом осиливших «Обитель», в которой героям приходилось что-то решать и что-то делать исходя из внутренних, а не внешних обстоятельств).

Берем авторскую позицию, противоположную сенчинской, — отрицание социального как сколько-нибудь существенного фактора. Как тут не вспомнить Виктора Пелевина с его фирменным буддистским солипсизмом (в его версии избретенном, видимо, им самим). Строго говоря, Пелевин не то чтобы отрицает социальное как таковое, отправляя героев в безвоздушное пространство текста, — прямо наоборот: автор конструирует социальное сам, причем, как кажется, не без отвращения, и демонстрирует его публике с назидательными целями. Вспомним пророческий (иногда кажется — директивно-пророческий, не предсказавший, но предписавший будущее) роман «S.N.U.F.F.», где судьба несчастной Украины (так!) определяется воззрениями столь же несчастного Демиола на женщин и искусственный интеллект. А спасение, недоступное ему, происходит за пределами его мира и за пределами социального вообще, в утопически-девятом континууме. Полагаю, столь же отвратителен автору придуманный им социум и в «вампирической» дилогии.

Эта схема — «плохое социальное (плохое именно в силу того, что оно внешнее, претендующее на объективность своего существования) — индивидуальный путь спасения» — повторяется почти в каждой книге Пелевина. Может быть, особенно наглядно это противопоставление в романе «Любовь к трем цукербринам», где один из героев живет

в навязанном ему социальном мире (описанном здесь с особенным физиологическим отвращением), тогда как и он сам и все остальные могут сконструировать себе любой контекст. Некоторым это даже удается. И здесь мы попадаем в нечто находящееся за пределами социального — а именно в рай. Самый настоящий, причем описанный и с простотой (резко контрастирующей с изощренным описанием социальной матрицы-ада), и даже в нарочито примитивистской, лубковой манере. Ну вот как в песне про город золотой — с поправкой на фирменную иронию, любви здесь не противоречащую.

«Место встречи было именно таким, каким ожидал бы его увидеть взыскующий рая мистик углеводородной эпохи. Это была большая заросшая цветами поляна, в центр которой из просвета между кронами падал широкий солнечный луч. В луче стояли три зверя: подкрашенный хной и похожий на пьяного Черчилля лев, темно-синий бык, покрытый жмурающимися от мошек глазами, и огромный, в человеческий рост, золотой орел со строгим милицейским взглядом».

Да-да, те самые символы евангелистов. Забавно, что демиургом этого рая стала одна из «униженных и оскорбленных» мира сего — Надя (так!) из младшего обслуживающего персонала пафосного «либерального» офиса. Видимо, более высоко взобравшиеся по карьерной лестнице рай вообразить неспособны (или же недостойны). Такой вот своеобразный марксизм получается.

3.

Итак, социальное, как кажется, в сегодняшней прозе обрело свои новые якоря и механизмы. Оно ломится во все двери — и авторы охотно открывают их знакомым публике призракам.

Дальше вопрос, так сказать, построения интерфейса. Игрового поля, если иначе. В какой форме, в каком виде по-

казать социальное публике? Беллетрист может все, кроме как исключить из этой игры самого себя. И это, кажется мне, как-то честнее.

Радикальные эксперименты Лимонова и Довлатова, «втиснувших» себя в своих героев (и то уши торчали), сегодня как-то малоповторимы. По тому же пути пытаются идти некоторые авторы исторических книг, «объективируя» происходящее, прячась за документами — поддельными, само собой. Помогает редко, читателя не проведешь — а самого себя и подавно. Иди, беллетрист, играй честно.

Зато документалист себя из этой игры мнимо исключает, так сказать, на законных основаниях. Даже если появляется как комментатор (в «Зимней дороге» Леонида Юзефовича, например), то четко декларирует: мое дело сторона. Сами, читатели, разбирайтесь с фактами и делайте выводы.

Конечно, все не так. Конечно, и здесь автор и организует игру, и участвует в ней, пользуясь всеми преимуществами.

По-читательски обидно за живых некогда людей, которых автор оживляет снова, чтобы, оставаясь за кулисами, разыграть с их помощью некую идеологическую пьесу по своим правилам. А если прямой идеологической установки нет, то ведь еще обиднее — для чего оживлял? Делал призраками, если не сказать зомби?

Юзефович тут приведен не случайно, его случай — отрицание социального: *«Мы знаем, что во вселенной плавают миры, ограниченные временем и пространством. Они распадаются и умирают, но в этих равнодушных мирах, не имеющих цели ни в своем существовании, ни в гибели, некоторые их части одержимы такой страстностью, что кажется, своим движением и смертью преследуют какую-то цель».*

Метерлинка цитирует якобы реально существовавший человек, ставший героем

Юзефовича, этим заканчивается книга — стоило ли, правда, огород городить ради такой, в сущности, банальности (реально ли написанной, стилизованной ли автором — какая разница)...

Социальное, неизбежное при обращении к такой болезненной теме, как Гражданская война, у Юзефовича стало изящной статуэткой, которую можно поставить на любую полку. Поскольку социальное как причина происходящего и признак действующих лиц отрицается. Ну в самом деле — Пепеляев, белогвардеец — родом из мужиков. Красному Строду пуля НКВД досталась раньше, чем его бывшему противнику, могилы обоих неизвестны... Вместо социального анализа противостояния — плавающие в абсолюте миры. Чем не Пелевин — сравним фразу из «Цукербринов», играющую у Пелевина ту же роль *credo*: *«И рано или поздно я совершенно точно приеду в измерение, где никогда не было ни трех цукербринов, ни войн за мир, ни песен протеста, ни густо облепивших каждое человеческое слово шулеров. Странно — я точно знаю, чего там не будет. А вот каким этот мир окажется, пока неясно и мне самому...»*

Полагаю, «общепримираяющая», по выражению Высоцкого, позиция Юзефовича была бы приемлема, останься он автором романа — а не документального романа. То есть документальность здесь использована как способ особо убедительно продемонстрировать свою идею, подкрепить ее за счет живых в прошлом людей... Согласитесь, это проще, чем убеждать кого-либо в чем-либо исключительно силой своего пера. (О биографиях надо рассуждать особо — прямо к нашей теме это не относится — но, право слово, по отношению к читателю честнее «Пантократор солнечных пылинок» Льва Данилкина, чем «Пастернак» или «Окуджава» Дмитрия Быкова.)

Что уж говорить о Светлане Алексиевич! Если верить тому, что она преподнесла публике речи своих респондентов как есть, просто записав их, то получается, что нобелевским лауреатом стал писатель, *не написавший* ничего. Не просто ничего не выдумавший, но и в словесную оболочку ничего не облекший. Без всякого сомнения, это ярчайший пример постмодернистской игры. При этом Алексиевич занимает прямо противоположную Юзефовичу позицию: в ее книгах социальное как раз и является мрачным призраком, обрекающим героев-респондентов на жесточайшие муки.

Собственно, поиск респондентов и уж тем более монтаж их «голосов» Алексиевич производится согласно заранее заданной концепции. Во «Времени секонд-хенд» это, пожалуй, выглядит уже скандально, но еще в «Цинковых мальчиках» она писала: *«Более достоверны, скрупулезны обычные люди, но я-то ищу рассказчика, который не просто живет, а запоминает, как он живет, потому что у обыкновенных людей другой грех — они не слышат музыки бытия, не чувствуют потаенного течения в наших днях высшего смысла, не улавливают многоликой связи между событиями, между рациональным и иррациональным».*

Видел, не видел то, о чем говорю, со мной, не со мной было, — неважно, лишь бы «музыка бытия» в голове складывалась в правильную, с точки зрения автора, мелодию.

И если вдруг выяснится, что ни с кем Алексиевич не беседовала, что все это она наговорила себе сама — едва ли кто всерьез удивится. По крайней мере, в этом случае она может считаться писателем и отвечать за свои книги как автор, а не по принципу «мне сказали, я записала». Вести с читателем честную игру, отвечать за свои высказывания самостоятельно, а не прибегать к спасительному, как оказалось, и для авторов принципу «среда заела».

4.

Пример книг С. Алексиевич и Л. Юзефовича в части их «премиальной» судьбы (признание экспертной среды) и читательского внимания, примеры огромного множества других произведений свидетельствуют о важнейшей победе документальной прозы. Она преодолела (или почти преодолела) то, что можно назвать ее «первородным грехом»: как пишет А. А. Тесля, «документальная проза вторична по отношению к “художественной”... Автор документальной прозы сознательно создает текст, претендующий на нехудожественность — и находится по отношению к художественной в положении одновременного отталкивания и сближения»*.

Но документальная проза победила эту зависимость, пожалуй, только в со-

знании и с точки зрения автора, который, чувствуя себя равней беллетристу, теперь не отказывает себе ни в чем — в том числе и в наличии авторской позиции, скрытой или открытой (оставляем за скобками все же по-прежнему недопустимое сознательное искажение фактов). Документальная проза освободила себя от классического требования к «качественной» журналистике — отделения фактов от мнений (с журналистикой та же проблема, кстати). И работа с социальным здесь, конечно, только частный случай.

А ведь читатель, как представляется, продолжает верить документальному больше, чем художественному. И поэтому автор «документалки» оказывается в сложном положении: весь расклад подталкивает его к ведению нечестной игры с читателем... Как тут удержаться?



* Тесля А. Документальная проза: проблема и история жанров // Электронный ресурс: <http://www.rummuseum.ru/portal/node/2620>

Михаил ХЛЕБНИКОВ

СТРАННЫЕ ИДЕИ ДОКТОРА ЮГОВА

Известен совет Блока бойкому молодому критику: «Не лезьте своими грязными одесскими лапами в нашу петербургскую боль». Эти слова, адресованные К. Чуковскому, любят повторять представители либерального лагеря, укоряя поэта в русском национализме. В действительности же Блок выразил в этой емкой фразе одно из ключевых свойств отечественной культурной истории. Речь идет о «столицецентричности». Этим неловким понятием обозначим необходимость нахождения в пространстве столиц — центра жизни, вне которого невозможно было состояться, реализовать свой творческий потенциал и даже просто претендовать на скромное признание. Пребывание в провинции означало не просто отрезанность от ойкумены, но становилось знаком погружения в inferнальное зазеркалье русской жизни.

«Ужас обыденщины» (А. Блок) покрывал собой все географическое пространство русского государства, за исключением двух его столиц. Сибирь также находилась в этом пространстве, несмотря на объективный ряд преимуществ. Прежде всего, мы имеем в виду возможность использования образа границы, фронта — широко представленного в западной, чаще всего американской, литературе. Отечественному читателю были хорошо знакомы романы

Ф. Купера, М. Рида, К. Мая, авторы которых с разной степенью таланта и выразительности живописали картины освоения огромных малонаселенных территорий, столкновения сильных характеров, преодоления противостоящих героям сил природы. Но готовые западные образцы, популярные в России, не находили своего продолжения и развития на отечественной почве. Русские писатели первого ряда бывали в Сибири и писали о Сибири. Здесь можно и нужно назвать имена И. Гончарова, В. Гаршина, В. Короленко, А. Чехова. Но их пребывание в пространстве «русского фронта» носило весьма специфический характер.

Так, Чехов отправляется в полудобровольное путешествие в Сибирь и на Дальний Восток, выполняя своего рода негласную разнарядку — русский интеллигент обязан проникнуться, почувствовать и по возможности «выписать» страдания русского человека. Чехов выбирает место, в котором русскому человеку было, точно, максимально дискомфортно, — сахалинскую каторгу — и отправляется туда. Исполнив свой долг и написав не самую яркую свою книгу об «острове страданий» — «Остров Сахалин», классик практически полностью — за исключением нескольких путевых очерков — отказывается от использования полученных впечатлений в писатель-

ской практике. Несколько откровеннее писатель был в своих письмах, в которых отражено его настоящее, «нелитературное» отношение к Сибири и ее жителям. Показательны его слова о фактической столице Сибири Томске и его обитателях:

«Докладывают, что меня желает видеть помощник полицмейстера. Что такое?»

Тревога напрасная. Полицейский оказывается любителем литературы и даже писателем; пришел ко мне на поклонение. Поехал домой за своей драмой и, кажется, хочет меня угостить ею... Сейчас придет и опять помешает писать к Вам...

<...>

Вернулся полицейский. Он драмы не читал, хотя и привез ее, но угостил рассказом. Недурно, но слишком местно. Показывал мне слиток золота. Попросил водки. Не помню ни одного сибирского интеллигента, который, придя ко мне, не попросил бы водки. Говорил, что у него завелась «любвишка» — замужня женщина; дал прочесть мне прошение на высочайшее имя насчет развода. Затем предложил мне съездить посмотреть томские дома терпимости.

Вернувшись из домов терпимости. Противно. Два часа ночи.

<...>

Томск — город скучный, нетрезвый, красивых женщин совсем нет, бесправие азиатское. Замечателен сей город тем, что в нем мрут губернаторы».

Отметим, что в цитируемом отрывке явно слышны типично чеховские интонации, несколько корректирующие «правильные» очерки, в которых томищи безлики и пресно названы «хорошими людьми».

Не менее своеобразным было изображение Сибири в романе Толстого

«Воскресенье». Нехлюдов, главный герой книги, испытывает потребность в духовном перерождении и находит наиболее экстремальный вариант «очищения» в следующей формуле: «Отдать землю, ехать в Сибирь, — блохи, клопы, нечистота. Ну, что ж, коли надо нести это — понесу».

Сибирь понимается как место искупления, наказания за несправедливо прожитые годы, духовное равнодушие и эгоизм. Конечно, следует разделять авторскую позицию и «голос героя», которые не идентичны. Но, с другой стороны, позиция Нехлюдова очевидно выражает общественное сознание того времени.

Качественное изменение ситуации связано с событиями столетней давности — революцией и последовавшей за ней Гражданской войной, опрокинувшими традиционную социокультурную модель. Разгоревшийся конфликт неожидан для многих, даже для «знатоков народного быта», открыл тот пласт русской жизни и общества, который до этого присутствовал только формально, географически. Показательны страницы дневника И. А. Бунина, посвященные этой метаморфозе. Яростное неприятие революции связано во многом с неузнаванием этого нового антропологического типа: «*Вся Лубянская площадь блестит на солнце. Жидкая грязь брызжет из-под колес. И Азия, Азия — солдаты, мальчишки, торг пряниками, халвой, маковыми плитками, папиросами. Восточный крик, говор — и какие все мерзкие даже и по цвету лица, желтые и мышинные волосы! У солдат и рабочих, то и дело грохочущих на грузовиках, морды торжествующие».*

Вдруг оказалась, что Бунин, долгие годы щеголявший знанием деревенской жизни, столкнулся с целым континентом, не зная ни его границ, ни его обитателей, не понимая языка, на котором они говорят.

И в этом неузнавании он не был одинок. Произошедший реванш «провинции» носил многоуровневый характер. На первый план, естественно, вышло социально-политическое содержание. Выяснилось, что революция, начавшаяся и победившая в столицах, должна выстраивать новую систему отношений с периферией, находить язык и способы общения с ней. И здесь опыт предшествующей политической системы не мог быть востребован в силу его архаичности и непродуктивности в новых условиях. Зачастую инициатором коммуникации выступала именно провинция, стремительно изживавшая свой родовой культурный комплекс.

Если говорить о Сибири, то культурная жизнь получает здесь мощный толчок, хотя регион и является одним из центров Гражданской войны. Буквально из ничего возникают печатные издания: «Сибирский рассвет», «Красные зори», «Сибирский студент», «Творчество», «Искусство». Разумеется, что многие из них быстро уходили в небытие, не выдерживая организационных, издательских, финансовых трудностей. Среди оставшихся особое место занимают «Сибирские огни», возникшие в Новониколаевске благодаря энтузиазму молодых писателей В. Правдухина, Л. Сейфуллиной, М. Басова.

Вихревой поток истории в те годы захватил не только начинающих авторов. Неожиданный всплеск подлинной творческой активности демонстрируют литераторы второго ряда, по отношению к которым никто прежде не испытывал особых иллюзий. Именно тогда состоялся как писатель В. Я. Шишков, присутствие которого в литературе предреволюционных лет носило «необязательный» характер. Но в «постчеховском» возрасте он практически одновременно превращается в «обыкновенного» классика русской

литературы. Именно на страницах «Сибирских огней» увидели свет главы его «Угрюм-реки», без которой сегодня нельзя представить себе русскую литературу.

На страницах журнала разворачивались и нешуточные литературные бои. Авторы «Сибирских огней» не испытывали комплексов по поводу своего «окраинного» положения в советской культуре. Напротив, они активно вступали в дискуссию со столичными авторами и изданиями. Острая полемика вспыхивает между В. Зазубриным и авторами журнала «На посту», отличавшегося редкой политической ангажированностью. Заявляя о необходимости создания «пролетарской литературы», напостовцы с упоением громили «мелкобуржуазных» писателей, с энтузиазмом выискивая в их произведениях следы политической и эстетической крамолы. Некоторые их статьи лишь формально относились к публицистическому жанру, содержательно тяготея в большей степени к печатным доносам. С. А. Родов, один из лидеров напостовцев, даже приезжал в Новосибирск, чтобы на месте разобраться с непростой ситуацией. В начале литературной карьеры Родов писал стихи, в которых коряво, но от души выражал представление о своей роли в советской литературе:

Ловко метила вражья рука:

Убит офицером предгубчека.

Что радости? —

Конечно, расстрел.

Но заговор? Заговор цел.

И в полчаса собрался губком, —

Остановиться можно на ком?

Нужен товарищ теперь такой:

С добрым сердцем, железной рукой.

Но «железная рука» московского «классово правильного» критика оказалась бессильной. Вскоре после своего приезда, не найдя понимания, проиграв

несколько публичных полемических схваток, Родов возвращается в столицу. Однако нужно признать, что в отношении издательской политики «Сибирских огней» неистовые ревнители пролетарской литературы проявили известную зоркость и классовое чутье.

С одной стороны, журнал отвечал духу времени, в нем присутствовали тексты, продиктованные моментом и географической спецификой самого издания. Обратимся к содержанию «Сибирских огней» за 1928 г., представляющему для нас особый интерес. Там мы увидим историческое исследование В. Вегмана с актуальным подтекстом «Сибирские контрреволюционные организации в Сибири в 1918 году». В этом же номере читатель мог познакомиться с драматургическим творением монгольского писателя Банзаракчи, название которого весьма красноречиво и многообещающе: «Многочисленные преступления и ошибки монгольских сановников, князей, чинов и простолюдинов, совершенные во время великих мировых смут: монгольская революционная пьеса-хроника на злобу дня в 4-х действиях».

С другой стороны, даже знаток испытает немалое удивление, обнаружив среди авторов «Сибирских огней» Арсения Несмелова — одного из крупнейших поэтов русской эмиграции. Идеальный противник большевиков, участник Ледяного похода — трагического отступления-исхода белой армии зимой 1920 г., Несмелов не скрывал своего отношения к советской власти, занимая крайне правые позиции. Политические взгляды Несмелова не были секретом для читателей. Но его проза и поэзия регулярно появлялась на страницах «Сибирских огней» тех лет. Широкою популярностью получила его «Баллада о Даурском бароне», которую переписывали от руки многочисленные почитатели поэта в советской России.

Следует напомнить, что 1928-й — знаковый год для советской политической системы. Осенью 1927 г. в ходе празднования десятилетия революции в последний раз открыто проявила себя партийная оппозиция, сторонники которой прошли отдельными колоннами со своими лозунгами в Москве и Ленинграде. После этого к ней применялись лишь эпитеты «контрреволюционная», «фашистская», «буржуазная». Это был год фактического начала коллективизации, сопровождавшейся массовым недовольством и жесткими репрессиями. Не избегает репрессий и советская литература. Продолжаются и усиливаются пропагандистские кампании против Б. Пильняка, Е. Замятина, А. Платонова. Цензура все больше ограничивает творческую свободу писателей. В этой ситуации сибирская литература оказывается в неожиданно выигрышной позиции. Удаленность от политических центров, чувство внутренней свободы, возникшее в годы Гражданской войны, известная степень анархии позволяли проводить относительно независимую редакционную политику. Следствием этого «духа вольности» стала публикация в первых трех номерах «Сибирских огней» за 1928 г. произведения, о котором и пойдет далее речь. Следует сразу сказать, что текст этот прошел незамеченным. Его не заметили, к сожалению, читатели и, к счастью, «внимательные товарищи», интерес которых вряд ли мог обрадовать молодого автора.

Роман «Безумные затеи Ферапонта Ивановича» написан А. К. Юговым — писателем практически забытым. Его книги не переиздаются многие годы, отсутствует исследовательский интерес к его судьбе и творчеству. Поэтому следует сказать несколько слов о его жизненном и писательском пути. Родился Югов в 1902 г. в Оренбургской губернии в семье «сельской интеллигенции» —

отец его был волостным писарем. Начиная учиться в курганской гимназии, а среднее образование завершил уже в Новониколаевске. Выбрав профессию врача, он в 1920 г. поступил на медицинский факультет Томского университета, откуда через год перевелся в Одесский медицинский институт. В Одессе в 1923 г. в журнале «Силуэты» состоялся его полноценный литературный дебют: по рекомендации Багрицкого там была напечатана поэма Югова «Летчики». Это был первый и последний опыт автора в поэзии. Вскоре он переходит на прозу, публикуя в 1926 г. рассказ «Повествование жизни Макара Мартецова» в журнале «Красная Новь» — издании, имевшем заслуженно высокую репутацию среди читателей. Увлечение литературой не дает ему в срок закончить обучение, поэтому диплом врача он получает лишь в 1927 г. После чего неожиданно возвращается в Сибирь и устраивается на работу во Всесибирский детский городок, находившийся неподалеку от Кольвани. Профессиональную врачебную деятельность Югов совмещает с литературной: после работы он пишет текст, который должен сделать его профессиональным писателем, — роман «Безумные затей Ферапонта Ивановича».

Здесь необходимо сделать важное замечание. Временной отрезок между возвращением Югова в Сибирь и публикацией текста представляется слишком коротким, чтобы считать роман продуктом исключительно сибирского периода творчества писателя. Подтверждением этому является сам текст романа. Сюжетные провисания и общая структурная неряшливость свидетельствуют не только об отсутствии достаточного профессионализма, но и о том, что молодой писатель использовал «домашние заготовки», не слишком аккуратно «вшивая» их в текст романа. Иногда в процессе чтения

возникает ощущение, что автор искусственно вводит отдельные эпизоды, слабо связанные с основной сюжетной линией. Их единственная задача — довести объем текста до «романа». Возникает вопрос: что должно компенсировать указанные недостатки и поднять текст до собственно романного уровня? Внимательное чтение «Безумных затей Ферапонта Ивановича» позволяет определить то главное, ради чего автор позволил себе написать формально «неудачный роман»: Юговым на первый план выдвигается *идейная* составляющая произведения.

Действие романа начинается в последние месяцы перед падением Омска, когда войска адмирала Колчака пытались безуспешно остановить или хотя бы притормозить наступление красных. Ощущение безнадежности ситуации на фронте рождает особое состояние в тылу: отчаяние, парадоксально соединенное со слепым ожиданием чуда, озлобленность, желание уйти от действительности. В одном из многочисленных омских кафе происходит инцидент между капитаном Яхонтовым и «невзрачным господином», которого капитан намеренно оскорбил. «Невзрачный господин» неожиданно легко разрешает ситуацию, не давая возможности инциденту перерасти в открытый конфликт. Яхонтов, заинтересованный таким поворотом, приглашает незнакомца в отдельный кабинет для разговора. В ходе разговора выясняется, что собеседником нервного капитана является Ферапонт Иванович Капустин — профессиональный психиатр и идейный сторонник белого движения. Политически мотивированный психиатр делится с капитаном своими представлениями о причинах поражения белых, среди которых — отсутствие в рядах белого воинства настоящего лидера:

«— ...Георгий Александрович, ну, возьмем настоящий момент: скажите,

разве пользуется наш новый главнокомандующий хоть каким-нибудь авторитетом в глазах армии и населения? разве читает кто-нибудь его приказы, где он обещает не сдавать Омска и пишет о пятнадцати казачьих полках, брошенных к Тоболу?! Ну, скажите, — кто еще? — Каппель, Пепеляев, вы скажете? Но, во-первых, действительно ли они — вожди, а во-вторых — их губит обоим этот отвратительный душок демократизма... Ну?! Кто дальше? — в позе вызова остановился Капустин перед офицером.

— Дитерихс... Вы о нем подумали? — тихо сказал Яхонтов, взглянув на него.

— Дитерихс? — изумился Капустин, — что ж... да и об нем думал в свое время, но, по правде сказать, для меня он всегда был довольно серой фигурой, как, должно быть, и для военных. Нет! знаете, здесь нужен могучий и, главное, двухголовый диктатор, так, чтобы одна голова была военной, другая — гражданской. А ваш Дитерихс... мне приходилось от компетентных лиц слышать, что он и в военном-то отношении довольно посредственная фигура».

Не выносит Капустин «отвратительного душка демократизма» и в области своих профессиональных занятий, говоря о необходимости заменить понятие «коллективная психика» понятием «сборная психика». Исходя из сказанного, Ферапонта Ивановича можно отнести к крайне правой части белого движения, делавшей ставку на мобилизационно-репрессивную модель преодоления кризиса антибольшевистского фронта. Яхонтову предлагается сделать совместный первый шаг в правильном направлении: «ударим им в психику». С этой целью капитану торжественно вручается таинственная тетрадь, содержащая рецепт коварного

«удара». На выходе из кабинета спасители белого воинства сталкиваются с различной — некоей Аннет...

Сразу откроем секрет таинственной тетради ученого Капустина. Он несколько обескураживает отсутствием размаха и стратегического масштаба — в сравнении с замыслами Ферапонта Ивановича. В тетради исследователь ссылается на компенсаторную природу ощущений человека, которые при некоторых условиях могут получать дополнительную стимуляцию. Если человека поместить в темное помещение, то спустя некоторое время он начинает различать в темноте очертания отдельных предметов, зрение приспособляется к новым условиям. Исходя из своего, мягко говоря, тривиального открытия, Капустин предлагает подготовить несколько частей колчаковской армии к ведению ночных боевых действий. Белые воины, изолированные от дневных солнечных лучей, получают качественное преимущество, способное переломить ситуацию: «Итак, “ночные дивизии”, обладающие зрением ночных птиц и кошек, находятся на фронте. Представьте, какие данные доставит штабу ночная разведка таких молодых. Но этого мало — вот утомленный дневными боями противник расположился на отдых и вдруг... планомерно и с полной ориентировкой наша армия обрушивается всей своей массой на противника в одну из темнейших ночей, когда, как говорится, хоть глаз выколи!

Разгром! Паника! Психический шок!

Бегущий противник рассчитывает, по крайней мере, что ночь спасет его от преследования, — напрасно!.. Ночные бойцы работают не вслепую!.. Разгром совершен».

Покоренный поистине суворовским напором Капустина, Яхонтов запирает собственный батальон в вагоны с заколо-

ченными окнами, рассчитывая на появление в скором времени бойцов со зрением «ночных птиц и кошек». Сам капитан также присоединяется к эксперименту, не выходит из квартиры, поддерживая связь с внешним миром через своего денщика. Скучающего денщика навещает Аннет — горничная из кафе, в котором состоялась судьбоносная встреча капитана и психиатра. Через некоторое время капитан покидает место своего добровольного заточения, на него совершается нападение, револьвер офицера дает две осечки подряд, у раненого Яхонтова забирают ту самую тетрадь, в которой прописаны «разгром, паника, психический шок». Нетрудно догадаться, что напавшие — омские подпольщики, в число которых входит и Аннет, «внедренная в близкое окружение» капитана.

Ферапонт Иванович, как уже понятно читателю, так и не дождался воплощения своего проекта. Более того, красные сами используют полученные сведения, что приближает как падение Омска, так и общий крах белого движения. Отчаявшийся психиатр предпринимает попытку самоубийства. После несостоявшегося суицида Капустин с женой отправляется заведовать детской колонией. К ним присоединяется денщик Яхонтова, потерявший капитана, ногу и веру в победу белого движения.

Описывая детскую колонию, Югов использует свой непосредственный опыт работы во Всесибирском детском городке. И избегает при этом какой-либо сентиментальности в изображении ее обитателей. Соответствующая глава называется просто: «Идиоты, имбецильчики, дебилики». Автор вскользь безо всякого осуждения замечает о возможности применения эвтаназии в отношении умственно отсталых «воспитанников». С этой идеей согласен и молодой фельдшер, в котором можно увидеть

авторские черты. К счастью для «имбецильчиков», Капустин вскоре впадает в депрессию, роковым завершением которой становится самоубийство.

Параллельно в Омске разворачивается вторая сюжетная линия. Мы видим идущих по мосту Яхонтова и его жену Елену — ту самую «Аннет», подпольщицу периода колчаковской оккупации города. Елена не только спасла раненого Яхонтова, но существенно продвинулась в его идеологическом перевоспитании. На бывшем капитане буденовка, он служит в штабе Красной Армии. Между супругами время от времени возникают политические споры, в которых автор уже позволяет себе определенные вольности. Елена, говоря о Гражданской войне и природе советской власти, демонстрирует весьма неортодоксальное понимание политэкономии: *«Когда она кончила, развернув перед ним неотразимую для его сознания идею, что советская власть приняла на себя все вериги старой России во внешней политике, а в том числе и вековечную злобу Великобритании, — он вскочил, весь трепещущий и обновленный.»*

— И так, значит, это — псевдоним?!.

— Как?! — не поняла Елена.

— Как? Очень просто: знаешь, когда человеку неудобно почему-либо подписываться своей фамилией, и он выбирает псевдоним?..

— Знаю, конечно, но при чем тут?..

— Но, ведь, ты только что сказала сейчас, что РСФСР — это то же самое, что Россия, и, понимаешь, это мне очень нравится. Для меня это целое открытие. Я никогда не думал так».

Следует напомнить читателю о таком полузабытом явлении двадцатых годов, как «устряловщина», названная

по имени Н. В. Устрялова — начальника пресс-бюро правительства Колчака. Очувшившись в эмиграции, Устрялов пересматривает свои прежние политические взгляды и приходит к выводу, что победа в Гражданской войне красных была единственным шансом для сохранения исторической России. Белое движение, в силу своей раздробленности и столкновения амбиций его «вождей», не могло противостоять идеологически целостной позиции большевиков. Один из знаков слабости белых — обращение за помощью к иностранным государствам, фактический призыв к интервенции, что перечеркивает все лозунги о патриотизме и борьбе за «единую и неделимую Россию». Югов приводит в качестве символа национального предательства марширующих по омскому мосту «союзников России», которым выдает откровенно нелестные характеристики:

«Аккуратные в бою, умеющие думать только по прямой линии чехи.

В шубах с фальшивыми воротниками, подавившиеся своим собственным языком, стоеросовые англичане.

Нелепые в Сибири, в серых крылатках, тонконогие оперные итальянцы.

Голубоштанные завсегдатаи кафе-шантанов французы.

Сухие, закопченные, не понимающие шуток сербы.

Спесью и грубостью нафаршированные поляки.

Пристыженные белизною сибирского снега суданцы.

Вскормленные шоколадом, консервированным молоком и литературой «Христианского Союза Молодежи» — вихлястые американцы.

Легкие на ногу картонные румыны.

Маленькие похотливые японцы.

Входящие в это разношерстное воинство преследовали различные цели, но их объединял один общий момент: среди

этих целей не значилась реальная помощь России. Отношение к идеям Устрялова со стороны советской власти было неоднозначным. С одной стороны, «устряловщину» рассматривали как один из факторов дробления единого антисоветского фронта русской эмиграции и потому оказывали финансовую и организационную помощь (издание газет, журналов). С другой стороны, комплекс идей Устрялова вступал в конфликт с базовыми принципами коммунистической идеологии, в которой отвергалась идея национального государства. Напомним подзабытые строки «агитатора и горлана»:

*Мы живем,
зажатые
железной клятвой.
За нее —
на крест,
и пулю чешите:
это —
чтобы в мире
без России,
без Латвий,
жить единым
человечьим общежитьем.*

Отсутствие «Латвий» сторонники Устрялова, будучи продолжателями русской имперской традиции, воспринимали спокойно. Но это, безусловно, не относилось к существованию исторической России. Поэтому на «внутреннем фронте» двусмысленные, «политически неоднозначные» взгляды Устрялова и его сторонников старались особо не проговаривать и тем более не пропагандировать. Но в романе Югова эти «нежелательные идеи» находят четкое и последовательное выражение, выделяющееся на фоне несбалансированного, «расхлябанного» сюжета, о чем мы уже говорили, и небрежно прописанных, почти пародийных, характеров.

Но вернемся к нашему несовершенному сюжету. «Трепещущему и обновленному» Яхонтову, увы, недолго пришлось радоваться своему политическому перерождению. Однажды утром проснувшись Елена обнаруживает его мертвым. Следствие устанавливает, что бывший капитан был задушен. Расследование преступления заходит в тупик, так как комната была закрыта изнутри и в ней, помимо Яхонтова и Елены, никого не было. Проведению нормальных следственных действий препятствует также неожиданный всплеск преступности в городе, заставляющий органы правопорядка действовать в авральном режиме. Криминальная активность имеет свою спецификацию. Преступления делятся на «политические» и «хулиганские». Первые — убийства коммунистов, вторые — изнасилования. Сыщики резонно считают, что преступления не связаны между собой в силу явного различия мотивов. Оперативные действия не приводят к положительному результату — преступления продолжают.

Елена с комсомольцами отправляется в детскую колонию, над которой они берут шефство, и остается там на ночь. В темноте кто-то начинает с ней разговаривать, хотя в комнате Елена одна. Этот «кто-то» неожиданно представляется Ферапонтом Ивановичем Капустиным. Следует исповедь «горячего сердца» несостоявшегося самоубийцы и, увы, состоявшегося убийцы.

Капустин начинает свой длинный рассказ с детских воспоминаний. В центре их — сексуальные переживания Ферапонта, выросшего в кулацкой семье, в которой царствовала строгая патриархальная мораль. Раннее сексуальное созревание не имело естественного разрешения. Ферапонт предается греху онанизма. Он рассказывает, как наблюдал

за спящей стряпухой Аграфеной — «рыхлой, добродушной бабой сорока лет». В нем борются два начала: желание овладеть доступной во сне Аграфеной и страх наказания за «посягательство».

Последующая жизнь Капустина — хроника борьбы с иссушающим жаром вождения. Борьба идет с переменным успехом. Он хорошо учится: заканчивает гимназию и поступает в университет. Во время учебы в университете бессознательное берет реванш — студент Капустин пускается «во все тяжкие». Затем вновь вверх берет социальное начало: Ферапонт расчетливо женится на дочери своего профессора и приступает к планомерному строительству карьеры психиатра. Но вмешавшаяся история вносит коррективы, Капустин, не имея сил и желания начинать все заново, оказывается выброшенным на социальную обочину. Пресловутая «Черная тетрадь» оказалась последней вспышкой социальной активности. Находясь в детской колонии, Ферапонт Иванович разрабатывает план бегства. Это не примитивная эмиграция — дорога, по которой отправились миллионы его соотечественников. Капустин хочет сбежать из общества как такового.

Теоретическая часть, посвященная обретению героем дара невидимости, не отличается большой вразумительностью. Автор приводит списки ученых, ссылается на весьма сомнительные достижения индийских йогов и на другие «неоспоримые факты науки». Если попытаться сделать выжимку, то смысл открытия Капустина сводится к «отрицательной галлюцинации». В отличие от «положительной галлюцинации», создающей образы предметов, не существующих в действительности, «отрицательная галлюцинация» стирает из восприятия реальные объекты. Механизм реализации данной галлюцинации приводится в дей-

ствие с помощью телепатии. Таким образом Ферапонт Иванович вывел себя за рамки социального, сделавшись для общества невидимым. Став обладателем столь редкого дара, изобретатель совершает такие поступки, каких не мог бы совершить, являясь пусть крохотным, но различным индивидуумом. Дадим слово самому герою: *«В один из моментов глубочайшего самоанализа мне вдруг сделалось ясно, что вся моя научная, “кипучая”, плодотворная, всеми восхваляемая деятельность была лишь презренным паразитом на моей неизрасходованной половой энергии... Елена, я знаю, это дико вам слышать. Вы ничего, возможно, не знаете о том, что в каждом человеке под ничтожной пленкой сознания колышется неисследимый и темный океан вожделений».*

Капустин с удовольствием погружается в «темный океан» наслаждений, становясь тем самым «половым хулиганом», совершившим многочисленные изнасилования. Его жертвами становятся зрелые женщины, что предполагает стремление Ферапонтом Ивановичем изжить «комплекс Аграфены». Показательно, что и убийства коммунистов совершает он же, не получая, впрочем, от этого большого удовлетворения, так как эти преступления связаны с его прошлой социальной личностью.

Между тем ход беседы человека-невидимки с Еленой кардинально меняется. Капустин, проявляя не свойственную ему до этого широту сексуальных предпочтений, предлагает ей интимную близость. Елена интересуется, возможно ли в результате их близости рождение невидимого младенца? Изобретатель «отрицательной галлюцинации» авторитетно заявляет о высокой вероятности подобного исхода, привычно ссылаясь на данные науки. Елена прислушивается к голосу науки... Утром она обнаруживает рядом

с собой Капустина и даже видит его. Во время сна телепатическое воздействие невозможно, с горечью говорит ей Ферапонт Иванович. Елена демонстрирует предельное пренебрежение к будущему отцу ребенка-невидимки: *«Неужели вы с вашей тщедушной фигуркой, с вашей отвратительной лысиной могли подумать, что вас может полюбить хоть какая-нибудь женщина?! Хотите знать, ради чего я отдалась вам? — Слушайте: я хочу иметь от вас невидимого ребенка! Вы — гнилье, контрреволюционер, ваша душа — грязное “индивидуальное” болото. Вас не перевоспитать. Но, благодаря вам, я буду иметь невидимку-сына. Он не будет похож на своего отца и заниматься всевозможными пакостями. Я воспитаю его, как должно. И когда он вырастет — мой невидимый сын — он один без всяких армий, без единой капли крови совершит всемирную революцию!.. Слышали?! А теперь убирайтесь к черту! — крикнула с пафосом Елена, указывая на дверь».*

Капустин спокойно уходит, рассудив, что его «миссия» выполнена — он снова погрузился в «темный океан вожделений». Любая стихия грозит опасностью — особенно тем, кто считает, что научился управлять этой силой. Следование бессознательным инстинктам губит Ферапонта Ивановича. Поиск постоянного сексуального удовлетворения приводит к тому, что у него не остается сил на создание «отрицательной галлюцинации». Органы правопорядка легко выходят на его след. Следствие длится недолго: *«Конвоиры отвязали Ферапонта Ивановича и подняли его с кресла. Он упирался и оборачивался в сторону чекиста, пытаясь сказать что-то.*

Его увели.

В два часа пополудни Ферапонта Ивановича расстреляли».

На этом заканчивается история Феррапонта Ивановича Капустина. Но продолжается жизнь других героев романа. В положенный природой срок Елена рождает. Роды проходят на квартире у частной акушерки Акулины Петровны. Последняя выполняет свою работу под дулом пистолета: Елена вынуждена ей угрожать, так как в процессе родов выясняется, что младенец, как и обещал Капустин, невидимый. Ошибка вышла в одном — вместо запланированного мальчика на свет появляется девочка. Возникает естественная трудность в уходе за невидимым младенцем: *«Акулина Петровна догадалась, наконец, обозначить голову невидимки чепчиком, ножки — кисейными туфельками, а рот, нос и глаза — небольшими пятнышками из губной помады»*.

Появление на свет «невидимой девочки» вырастает до символа, имеющего несколько измерений. Во-первых, оно вносит коррективы в планы на будущее, озвученные Еленой. При внимательном чтении можно прийти к выводу, что только чудо — рождение будущего «невидимого бойца пролетарского фронта» — способно претворить в жизнь идею о мировой революции. И без того фантастическое допущение становится химерическим в полном смысле этого слова, учитывая насмешку природы, обманувшей ожидания Елены. К тому же возникает законный вопрос: а для кого, собственно, должна совершиться эта революция? Вспомним смачные характеристики, которые автор дает интервьюам, но которые относятся скорее к этносам и нациям как таковым («похотливые», «нелепые», «спесивые», «грубые»). Сама природа выступает против «мировой пролетарской революции».

Во-вторых, отец девочки — Феррапонт Иванович — в известной степени является одновременно и преступником

и жертвой. Один из неизбежных моментов любой революции — стремительное крушение цивилизации, когда темные потоки высвободившегося биологического начала легко смывают тонкую «пленку культуры». Капустин, как и многие другие, долгие годы балансировал между следованием социальным нормам и удовлетворением темных инстинктов. И безразлично, на какой стороне находиться: и красные и белые начинают с того, что переступают через запреты, освобождая себя от «бремени» морали и культуры.

Роман о трагических похождениях психиатра и невидимки Ф. И. Капустина написан не советским писателем. И не антисоветским писателем. Он создан человеком, который, в силу своего дарования и, откровенно говоря, еще скромных литературных навыков, смоделировал собственный вариант крушения общества и стремительного одичания человека, существующего на развалинах старого мира в отсутствие нового мира, символом которого и выступает невидимый младенец. Однако последующая писательская судьба А. К. Югова свидетельствует о том, что автор в конечном итоге «увидел» становление и взросление вполне «зримого» нового человека. Его многочисленные исторические романы на тему становления советской власти и классовой борьбы («Бессмертие», «Шатровы») написаны уверенной рукой профессионала, однако несколько не выходят за рамки представлений о «крепком советском писателе».

Казалось, что «хулиганская выходка» молодого писателя забыта как читателями, так и самим автором. Но тяга к мистификациям, литературному озорству не прошла с годами. Подтверждением тому становится вышедшая в 1972 г. книга «Думы о русском слове». Семидесятилетний писатель в ней неожиданно выступает в качестве непрофессиональ-

ного историка, поражающего широтой обобщений и смелостью открытий. Он выдвигает оригинальную теорию о славянском происхождении небезызвестного Ахиллеса, который становится у него русским таврическим князем и во главе своей дружины участвует в осаде Трои. При этом Югов ссылается на авторитет дореволюционного академика В. Г. Василевского, версию которого он сам называет «смелым и безоговорочным суждением». Писатель идет существенно дальше своего предшественника и предлагает новый взгляд на происхождение названия Керчи, которое производит от слова «корчий», что на древнерусском языке означало кузнеца. Из этого делается вывод о происхождении знаменитых доспехов Ахиллеса, выкованных древнерусскими кузнецами. Автор не скрывает своего желания «удревнить» историю русского народа, возвести ее к античным временам. Особенно издевательскими

выглядят на этом фоне ритуальные ссылки писателя на К. Маркса, который никогда не скрывал своей патологической русофобии.

Сегодня на фоне «открытий» сторонников «новой хронологии» подобные утверждения воспринимаются достаточно спокойно. Но в начале семидесятых годов прошлого века подобная публикация не могла пройти незамеченной. Критические отзывы последовали со стороны как профессиональных историков, так и публицистов «демократического толка», формально упрекавших писателя в забвении классового подхода. Сегодня мы видим, что «идеологическая слепота» автора преследовала его с молодости, с его первого — незамеченного — романа, который также был «неправильным». Но, как показывает жизнь, «неправильные» тексты гораздо больше говорят о личности автора и духе времени, чем «правильные».



Елена ПАПКОВА

О «МЕМУАРАХ УЧЕНОЙ ДАМЫ» Л. П. ЯКИМОВОЙ

— Зачем ты читаешь чужие воспоминания? — спросила меня взрослая дочь. — Ведь это скучно.

Задумавшись над этим вопросом, я поняла, что чужие воспоминания, может быть, самое интересное из того, что я могла бы сейчас прочитать.

«Мемуары ученой дамы» Л. П. Якимовой опубликованы в № 4—6 журнала «Сибирские огни» за 2017 г. Отдельная большая часть их, с подзаголовком «Из воспоминаний об Академгородке», напечатана в сборнике «III—IV Литературно-краеведческие Ивановские чтения. 2015—2016. Статьи, материалы, сообщения» (Новосибирск, 2017). На этих научных чтениях, организованных заведующей Городским Центром истории Новосибирской книги Н. И. Левченко и посвященных писателям с фамилией Иванов, жившим в Сибири, я и познакомилась с Людмилой Павловной. И уже после личной встречи — с ее мемуарами.

Заглавие сразу представляет героиню этого текста — главного научного сотрудника Института филологии СО РАН, доктора филологических наук, автора семи монографий по истории

русской литературы и более 300 научно-теоретических и литературно-критических статей, посвященных творчеству А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, И. А. Гончарова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. П. Чехова, Л. М. Леонова, Вс. В. Иванова и других писателей. При этом героиня воспоминаний «свой карьерный рост» соизмеряет «с интересами семьи» (в филологической науке явление нечастое). Живя в век Интернета, она по-старинному любит писать от руки письма и получать их, ведет дневник. Старомодно-изысканное слово настраивает на определенное отношение к написанному тексту: это не современная гендерная литература, но повествование о своем времени, увиденном через призму женской глубинной мудрости.

«...Я пишу о реальном времени, в которое жила и которое самой хочется увидеть, не впадая ни в хулу, ни в похвалу его», — такое отношение к ушедшему XX веку — а большая часть жизни автора мемуаров пришлось на этот трагический век, полный революционных потрясений и мировых войн, — в современной жизни не часто встречается. У Л. П. Якимовой оно проявляется во всем. Например, в описании коммуналь-

ной квартиры в двухэтажном деревянном бараке в городе Горьком, где поселились родители, приехав на одну из великих строек социализма, и где родилась будущая «ученая дама». Коммуналки, как замечает автор, в литературе принято представлять как нечто «отталкивающее и непереносимое», но в памяти мемуаристики эта «детская родина» (А. Платонов) осталась не такой. Реальное время предстает и в подробном рассказе о 1968 году и «Письме 46-ти» — самой значительной акции политической оппозиции ученых новосибирского Академгородка. Л. П. Якимовой удалось найти тот искренний верный тон, который сочетает в себе открытость и доброжелательное любопытство к людям с внутренней принципиальностью по отношению к таким категориям, как национальное достоинство, и неприятием «достижения истины негодными средствами». Рассказывая о «подписантах», она не боится вступить в диалог с авторами многих мемуарных и прочих текстов, «с исторической правдой не соприкасающихся». Позиция мемуаристики: «...и недоумевала по поводу закрытости судебных процессов над диссидентами и вообще недостатка гласности в стране, и меня угнетала избыточность цензурного досмотра в науке, и мне тяжело было терпеть редакторское насилие над текстом своих работ, но чтобы искать защиты от законов своей страны у другой большой державы, жаловаться на свои национальные беды Америке в тщетной надежде, что “заграница нам поможет”, это всегда считала предосудительным...» — вызывает безусловное уважение и воскрешает в памяти слова А. С. Пушкина из известного письма к П. Я. Чаадаеву 1836 г.: «...я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек

с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Неверно, однако, было бы сказать, что главная черта этих мемуаров — полемичность по отношению как к диссидентам, «безоглядно выражающим свою неприязнь к стране, в которой живут», так и к людям, подобным запомнившейся однокурснице Рите Е. — бывшей детдомовке. Забота государства превратила ее в человека, который всегда был «в первых рядах гонителей всякой идеологической ереси: потенциальная готовность обличать пережитки и разоблачать врагов пришлась ко времени, ибо враги у советской власти не переводились». Скорее, автору близки люди другого склада — не те, кто «сотрясает основы жизни», а те, кто созидает. Думается, центральным в «Мемуарах ученой дамы» является стремление рассказать о «неутомимо-бескорыстных» тружениках, участниках общего дела.

Общим делом связаны преподаватели кафедры историко-филологического факультета Горно-Алтайского педагогического института, куда, совершив неожиданный для себя поступок, определивший ее жизнь и навсегда связавший ее с Сибирью, приехала молодая выпускница нижегородской аспирантуры, стремящаяся «как можно больше взять от сферы культуры, чтобы было что отдать другим, было чем поделиться». Со страниц мемуаров встают своеобразные, неординарные люди, представители национальной интеллигенции. Таковы, например, сестры Т. М. и Е. М. Тоцаковы, которые занимались проблемами истории и этнографии Горного Алтая. Интересна «колоритная фигура» А. К. Мери: он «прошел

жизненный путь, отмеченный крутыми поворотами советской истории, на своей судьбе испытал колебания, зигзаги и сломы идеологической линии правящей партии, познав и взлеты, и падения». Показательны слова автора мемуаров, сказанные о И. Я. Красновском: «Именами таких безвестных тружеников улиц не называют, но дело Ивана Яковлевича все живет, даже не в памяти и воспоминаниях, а в том неуловимом веществе духовности, которое он стремился заложить в умы и сердца своих студентов, ставших потом учителями».

Своего рода кульминацией рассказа о людях «общего дела» являются воспоминания о новосибирском Академгородке — «самом лучшем в мире месте человеческого обитания, идеально оборудованном для гармонического сочетания труда и быта». Наукограду посвящены части мемуаров Якимовой, напечатанные в шестом номере «Сибирских огней» и в сборнике Ивановских чтений. Жизнь и взаимоотношения людей там, как показывает мемуаристка, идеальными не были, но разворачивались в «неповторимом духовном климате», под знаком «нацеленности на большие начинания». В этой части воспоминаний можно найти и описание быта жителей Академгородка, с необычными улицами, которые назывались не именами вождей и революционеров, как во всех городах страны, а «дышали атмосферой жизнотворной романтики»: улица Ученых, Золотодолинская, Морской проспект, бульвар Молодежи; и рассказ о духовной атмосфере ИИФФа — Института истории, филологии и философии, — с его необычным «человеческим содружеством», «нацеленностью на успех».

С захватывающим интересом читаются страницы о дерзкой большой работе сибирских ученых — создании «Очерков русской литературы Сибири», о борьбе

за воплощение этой идеи с руководителями Академии наук из Москвы, опасавшимися проявления национализма и областничества. «Сегодня настало время вспомнить имена участников того научно-духовного действия, тем более что многие из них в разное время — одни давно, другие совсем недавно — ушли, как говорится, в мир иной...» — пишет Л. П. Якимова, называя имена ученых, вузовских преподавателей, писателей из разных городов Сибири, поддержавших проект. Целая страница имен. О некоторых ученых, как, например, о Ю. С. Постнове — «главном лице в нашем деле», — рассказ более подробный, личный.

При всех битвах и перипетиях, что пришлось перенести, «время это вспоминается светло и благодарно»; «сибирским Ренессансом» называет его автор мемуаров, ибо тогда «в Новосибирске собирались настоящие знатоки, филологи самого высокого класса, безупречные профессионалы, не просто досконально знавшие литературную сибиряку, но горячо любившие ее, чувствующие ее душой». И сама Людмила Павловна, урожденная нижегородка, беспредельно благодарная городу, «откуда есть пошла» ее жизненная дорога, предстает в этих воспоминаниях как человек, очарованный Сибирью, не устающий восхищаться «нестандартностью архитектурного облика сибирских городов, неповторимыми особенностями их культурно-исторической атмосферы, своеобразием их человеческого климата».

Все мемуары пишутся «о времени и о себе». Различно отношение авторов к себе и времени. У Л. П. Якимовой оно мудрое: «Это много позднее целым десятилетиями стали давать наименования — оттепельные шестидесятые, застойные восьмидесятые, шальные и роковые девяностые, — а тогда я, да и все мы, со-

ветское большинство, просто жили: радовались, горевали, плакали, смеялись, работали, растили детей... не сознавая, что просто живя, создаем Историю...»

Сейчас, видя, как уходят в прошлое многие достойные уважения черты прежней жизни: отношение к книгам как к богатству, к преподавателям как духовным ориентирам, к науке как бескорыстному служению, — люди старшего поколения все больше тревожатся за будущую жизнь. Есть эти ноты и в представляемых читателю мемуарах, автор которых «вглядывается в наше время как переход от неизвестно чего к неизвестно чему, как новое историческое безвременье». Но есть в них и внутренняя уверенность в том, что основное в

русской жизни неистребимо и неугасимо. Так, рассказывая о своих родных, Л. П. Якимова напишет: «...вся мамина родня являла собой нечто единое и нераздельное, представляя собой ту часть мещанско-обывательской городской среды, которую после революции настойчиво переплавляли на советский лад, но которая прочно хранила память о прошлом времени и через десятилетия оставалась верной своим генетическим корням».

«Мемуары ученой дамы» — это та хорошая книга, которая вселяет надежду, что жизнь продолжится, и продолжится, несмотря ни на что, гармонично и правильно. Хочется надеяться, что в скором времени она будет издана полностью.



Сергей КУДРЯШЕВ

ПОЧЕМУ?

На Западной Украине мне довелось побывать дважды: в 2010 и в 2012 году.

Видел ли я там бандеровцев? Столкнулся ли с русофобией? Такие вопросы задают все, кому я рассказываю о своих поездках. Мои ответы просты. Живых бандеровцев я не видел, хотя не сомневаюсь в их существовании. Ну что поделать... Не в тех кругах вращался. Да, ветераны УПА почему-то не маршировали по просторным улицам города Кузнецовска Ровенской области, в котором я прожил несколько месяцев. Если же говорить о русофобии, то страх перед ней отпал в первый же день приезда. Компания подвыпивших молодых ребят (первые «западенцы», которых я встретил на остановке, выйдя из вечернего автобуса) услышала мое обращение на русском языке: «Пацаны! Не подскажите, как пройти до микрорайона Перемоги? Я не местный, только что прилетел из Сибири». Такой внезапный ход оказался очень эффективным. Ошарашенные «пацаны» долго не могли поверить, что видят живого сибиряка. После бурных обсуждений вся компания вызвалась проводить меня на другой конец города (как оказалось, я вышел не там). Моя речь не вызвала никакой агрессии и непонимания.

Ребята оказались на удивление дружелюбными и любопытными. Как живет в тайге? Неужели у вас зимой мороз аж (!) под 30 градусов? Мои ответы по-

разили их в самое сердце. Я стал не только первым увиденным ими сибиряком, но и лектором, который поведал удивительные вещи. Оказывается, помимо тайги в Сибири есть и степи, а «под 30» бывают не только морозы, но и жара. Мало того — Новосибирск, откуда я приехал, является одним из крупнейших городов России, а в его Академгородке есть ученые, которые занимаются решением мировых проблем.

Один из парней прервал мои откровения неожиданным криком: «А! Я же читал вашего писателя!» Привыкнув к тому, что современная молодежь (известная мне по искутимским и новосибирским школам) мало читает, я ожидал услышать об одном из хрестоматийных русских классиков. Однако украинский парубок радостно выпалил совсем другое имя: «Самохин!» Я не поверил своим ушам.

— А что же ты у него читал?

— Несколько книжек! В одной много рассказов смешных. В другой — про то, как он купил дачу. Но больше всего понравилась как раз про Сибирь, как туда люди переселялись.

Путем наводящих вопросов удалось установить, что речь шла о сборнике юмористических рассказов, вышедшем в 1988 г., а также о повестях «Так близко, так далеко...» и «Рассказы о прежней жизни». Эти книги были одними из самых читаемых в библиотечке его мамы.

Обсудив творчество Николая Яковлевича, мы вышли к искомому микрорайону. К самому дому, где жила подруга, к которой я и приехал в гости. Прощание с «проводниками» было бурным. Хором прокричав «Хай живэ Сибир!», ребята пошли обратно.

Созвонившись с подругой по домофону, я поднялся в квартиру. Уже в коридоре до меня долетел отрывок песни, знакомой с детства: «Над грозой торжествует радуга, а над смертью торжествует жизнь». По телевизору шел фильм «Вечный зов».

* * *

Общаясь с подругой Аленой (молодая украинка белорусского происхождения, всю жизнь прожившая в Кузнецовске), я выяснил, что сибирская литература действительно вызывает неподдельный интерес у некоторых молодых украинцев. Сама Алена любит произведения Николая Самохина, Ильи Лаврова и Владимира Сапожникова. А вот книги более маститых сибиряков Виктора Астафьева и Валентина Распутина почему-то востребованы меньше.

Именно любовь к сибирской литературе и стала поводом для нашего знакомства. Случайное общение в социальной сети (обсуждения в одном из пабликов «ВКонтакте», посвященного литературе) привело к тому, что спустя несколько месяцев я купил билет на самолет Новосибирск — Киев, желая встретиться с прекрасной и необычной девушкой.

Что же привлекло Алену в произведениях моих земляков? По ее словам, это искренность, естественность, правда. Всего этого ей не хватает в современной литературе (как русской, так и украинской). Мало того — Алене захотелось побывать именно в той Сибири, о которой писали, например, Лавров и Сапожников. Особый интерес вызвал Академгородок.

«Городок был чистый, новенький, зеленый, деревья стояли даже среди тротуаров, и где-то слышалась кукушка. Гурнов остановился и послушал кукушку, удивляясь, что ей не мешает уличный шум. Впрочем, и шум был покойный, мягкий, почти деревенский. Гурнов то садился и сидел где-нибудь на лавочке, устроенной в тени столетней сосны, то снова шел неведомо куда. Был воскресный вечер, по тротуарам текла нарядная толпа, на траве лежали тени, и всюду было много детей и цветов» (В. Сапожников, «Кассиопея»).

К сожалению, моя подруга так и не побывала в Сибири. Помешало здоровье и проблемы бытового характера. А там и Майдан, окончательно обрубивший возможности приезжать друг к другу...

* * *

Мои путешествия на Украину (упорно не хочу говорить «в Украину», веря Дитмару Эльяшевичу Розенталю) вызвали у меня немало вопросов, которые заставляют мучиться и по сей день

Почему некоторые украинцы больше любят Сибирь, чем многие мои земляки? Почему случайный украинский «гопник» знает и любит произведения Самохина, одного из самых талантливых наших писателей, в то время как с ними практически не знакомы школьники Искитима и Новосибирска? Почему девушка Алена, воспитательница детского сада в Кузнецовске, зачитывается произведениями, в которых запечатлена атмосфера Сибири шестидесятых-семидесятых годов, а современные студенты НГУ (с которыми я знаком) почти не интересуются историей Академгородка?

Ответов у меня нет. Но почему-то стыдно, когда, изучая аккаунты сибирской молодежи в той же социальной сети, в графе «Любимые книги» я не вижу имен и фамилий своих талантливых земляков...

Людмила БОГОМОЛОВА

ОБРАЗЫ БЕЛОЙ СТОЛИЦЫ В ТВОРЧЕСТВЕ НИКОЛАЯ МАМОНТОВА

После полугодовой службы в белой армии в конце января — начале февраля Николай Мамонтов приехал в Омск, ставший к тому времени столицей белого движения.

Что собой представлял Омск в 1919 г., мы узнаем из воспоминаний современников: директора пресс-бюро отдела печати Верховного правителя России Н. В. Устрялова и служившего с ним журналиста Вс. Н. Иванова, управляющего военным министерством в правительстве А. В. Колчака барона А. П. фон Будберга, генерал-майора английской королевской морской пехоты Томаса Генри Джеймсона, антрепренера И. М. Камского, а также омских литераторов: Вс. В. Иванова, Л. Н. Мартынова, А. С. Сорокина, Н. И. Анова и др.

Из-за огромного наплыва беженцев, а также из-за столичного статуса население Омска выросло к 1919 г. в несколько раз (со 140 тысяч в 1917 г. — до 600 тысяч в 1919 г.). По свидетельству писателя Н. И. Анова, «на Любинском проспекте попеременно с интервентами сновали толпы москвичей, петроградцев, самарцев. Много было чехов, англичан, американцев, французов, сербов, поляков. Сибирская столица жила шумной веселой жизнью» [1]. «Тут можно было видеть великолепные туалеты, отлично сшитые френчи, фуражки всех ведомств, безукоризненные панамы, портфели, ослепительное белье...» — вспоминал ан-

трепренер И. М. Камский, прибывший в белую столицу в начале лета с целью договора об аренде городского театра на зимний сезон 1919—1920 гг. [2].

Особой гордостью омских гостиниц «Россия» и «Европа» были рестораны с музыкой и дорогими закусками, обслуживавшие гостей до двух часов ночи. Здесь же, на Дворцовой улице, располагался элитный ресторан «Аполло». Высокие военные чины были завсегдатаями в летнем и зимнем ресторанах в загородной роще, куда приезжали со своими дамами на казенных автомобилях.

В феврале при гостинице «Европа» открылось кабаре «Летучая мышь» под дирекцией Б. М. Ревазова, правда, ничего общего не имевшее с одноименным московским кабаре. Купив входной билет за 10 рублей, можно было посмотреть на сцене ресторана концерт-монстр, в программе которого были характерные танцовщицы, исполнители злободневных куплетов, русских песен, цыганских романсов.

Омские газеты «Сибирская речь», «Заря» и «Русь» ежедневно печатали рекламу кинофильмов, спектаклей, концертов. «Переполненный до краев пришим населением, Омск стал жить уличной жизнью. Как когда-то в столицах, все местные кафе, миниатюры, театрики и картинки всегда переполнены, и держателям их нет нужды рекламировать и зазывать публику. Она, публика, сама

идет, более того — сама ищет такие места, где бы можно было забыть, отмахнуться от нависнувшего над русской землей кошмара гражданской войны, обнищания, мародерства и т. п.» [3].

По всему городу были расклеены зазывные афиши кинотеатров «Гигант», «Сфинкс», «Кристалл-Палас», «Одеон», «Саргон», электротeatра «Прогресс»: «Замечательная по постановке и игре картина фабрики Ермольева с участием любимицы публики О. В. Гзовской “И тайну поглотили волны”», «На днях ответ на романс “У камина” “Позабудь про камин, в нем погасли огни...”», «Выдающийся боевик “Роковой талант” из жизни преступной театральной богемы». Несмотря на то что за вход на зрелищные мероприятия взимался так называемый военный налог, залы кинотеатров всегда были полны народа.

В «Гиганте», «Кристалл-Паласе» и «Одеоне», расположенных близ Любинского проспекта, после сеансов выступали артисты театров миниатюр. В них процветали танец, шансонетка, разыгрывались пьесы, построенные на анекдоте, житейской ситуации или на теме адюльтера (например, пикантные фарсы «В замочную скважину», «Фиговый листок», маскарад-сцена «Ей стыдно!», шарж «Блондиночки, брюнеточки, рыженькие!!!» и пр.). Основу спектакля в театрах миниатюр составлял дивертисмент с конференсом. Местная публика любила смотреть обозрения «Омск и омичи» — шутки, скетчи, оперетты, миниатюры на злобу дня («Нашел квартиру в Омске», «Омский демон», «Ба! Знакомые все лица!», «Омск ночью», «Омские проказники»). Интимный театр миниатюр, возглавляемый режиссером И. М. Арнольдовым, располагался в кинотеатре «Кристалл-Палас». Зрителям запомнился «великолепный физиономист и танцор, король жеста и движения, блеск и огонь маленькой сцены» юморист Ф. П. Пружанов. Ценивший превыше

всего коммерческий успех, Арнольдов продолжал ставить оперетки типа «Сюрприз под кроватью» или скетч «Женщина ночью» вплоть до взятия Омска частями Красной армии.

В «Гиганте» в зимний сезон 1918—1919 гг. работала комедийно-опереточная труппа Я. С. Гальского. Ставились комедии, «вызывающие базарный смех». В «Одеоне» после каждого сеанса шел дивертисмент «при благосклонном участии артистов Коммерческого Клуба». После окончания в полдесятого вечера сеансов, в «Одеоне» по особым билетам работало до двух часов ночи кабаре, где выступали «лучшие артистические силы Омска, Самары, Казани и др. городов».

Белую столицу захватил настоящий танцевальный бум. В элитном Коммерческом клубе всегда был аншлаг, если благотворительные спектакли, художественные концерты-балы и вечера шли «при танцах». Музыкальные вечера в Гарнизонном собрании также сопровождались танцами. И даже в цирке «Спорт-Палас» после выступлений клоунов Франца и Коко выступали артисты кабаре с танцевальными номерами.

С наступлением теплого сезона омская публика стала посещать летние сады: в мае открылся «Аквариум», в начале июня — сад «Аркадия» (бывший сад Губаря). По вечерам здесь играли духовые оркестры Сибирского казачьего войска и 43-го Сибирского стрелкового полка. При ресторанах имелись роскошно оборудованные ложи и отдельные кабинеты. 20 мая открылся сезон в летнем театре сада «Аквариум». Под руководством Я. С. Гальского здесь ставились оперетты и комедии с участием артистов омских театров, с большим успехом проходили концерты популярнейшей исполнительницы старинных романсов и русских песен М. А. Каринской и оперного певца-баритона С. Д. Рокотова. 14 июня состоялось грандиозное открытие театра-варьете и открытой сцены в саду «Аркадия» «при уча-

стии самых артистических сил столичных театров, прибывших с востока Сибири».

Объявления летних театров пестрели именами заезжих гастролеров. Здесь были свои кумиры, свои этюды: исполнители салонных танцев Лия и Джимми и модных американских танцев Оль-Оль и Жорж Энрико, «интернациональная певица Люлю Сепп», опереточная премьерша Ваңда Нолич, премьер Венской придворной оперетты Фреди Сакслъ, «французская Этюаль М-ль Фиери» и т. д. Были многочисленные салонные куплетисты, особенно любимые дамами. Они выступали во фраках, с хризантемами в петлицах, в цилиндрах и белых перчатках.

На главной сцене столичного Омска — в городском театре — в зимний сезон 1918—1919 гг. выступала труппа Г. К. Невского с русскими и зарубежными классическими пьесами. Невскому приходилось ставить и много случайных пьес, отвечая желанию части публики забыть о том, что идет война. После Великого поста на легкий жанр перешла и труппа Коммерческого клуба.

20 марта на сцене городского театра состоялся премьерный показ в Омске пьесы «Ставка князя Матвея» при участии автора С. А. Ауслендера. Незабываемыми событиями в культурной жизни Омска стали весенние гастроли драматической актрисы М. И. Жвирблис, летом — гастроли драматической труппы В. Л. Глинской, концертные спектакли артистов Пермского и оперной труппы Екатеринбургского городских театров.

На зимний сезон 1919—1920 гг. городской театр был сдан в аренду авторитетному в театральной среде антрепренеру П. П. Медведеву. 10 ноября в белой столице состоялся последний спектакль труппы — «Закон дикаря» по пьесе М. П. Арцыбашева.

Пройдя тяготы фронтовой жизни, Мамонтов окунулся в беззаботную атмосферу жизни белой столицы, посещая

театры, кафе и летние сады. Сохранившееся благодаря стараниям писателя А. С. Сорокина наследие художника раскрывает перед нами картины праздной жизни Омска 1919 г.

Особый интерес в этом отношении вызывает работа с условным названием «Кафе». В правой части композиции изображена надменная дама и мужчина, склонившийся к ее руке для поцелуя. Слева чуть в глубине два театральные персонажа — арлекин и юноша — разыгрывают галантную мизансцену. Работа не подписная и не датированная, на оборотной стороне имеется экслибрис А. С. Сорокина, но авторство Мамонтова бесспорно. Никто из его собратьев-художников по студии А. Н. Клементьева не был так горячо увлечен выразительностью в передаче позы, жеста, многочисленными деталями костюма и обстановки. В одном сомнение — в кафе происходит это действие или, быть может, в театре? Правая часть композиции слегка затемнена, за спиной дамы угадываются складки тяжелой занавеси, закрывающей вход в ложу. Ее фигура изображена под углом к сцене и на одном с ней уровне, т. е. так, как смотрят спектакль из литерной ложи бенуара. На даме — шатенке с рыжеватым отливом — декольтированное платье с большим бантом на груди, пышной юбкой, похожей на цветок колокольчика. Ее спина чуть откинута назад, а почти горизонтальное направление юбки позволяет предположить у ее ног скамеечку, подаваемую в театре дамам для комфортного времяпрепровождения. Мужчина — во фрачном костюме с белой бабочкой. На барьере ложи рядом с кастровым цилиндром — миниатюрная театральная сумочка-мешочек типа «помпадур», затянутая тесемкой. Внешний облик и манеры изображенной пары выдают в них высокопоставленных особ. Персонажи на сцене освещены, их маленькие эфемерные фигурки обведены тонким контуром и слегка тронуты акварелью. Мог ли художник сочинить подоб-



Н. Мамонтов. Танец. 1919. ОГИКМ

ную сцену? Или же он находился в зрительном зале? Просматривая репертуар омских театров 1919 г., можно предположить, что действие на картине Мамонтова происходит на небольшой и уютной сцене театра Коммерческого клуба, где в марте-апреле шла опера-буфф «Бокаччио» на музыку Франца фон Зуппе.

Другая композиция Мамонтова — «Танец», по всей видимости, осталась незавершенной. Она тоже не подписана, но имеет отгиск печатки Сорокина. В тускло освещенном помещении огненно-рыжая блондинка в декольтированном еп соеиг (под сердце) платье и ее партнер с повязанным на голове платком исполняют неудержимое аргентинское танго. Танго всегда шло под аккомпанемент его неизменной спутницы — шестиструнной гитары, в сопровождении скрипки и мандолины. Эти инструменты мы и видим в руках музыкантов, фигуры которых едва различимы. Аргентинское танго «Макс Линдер» в белой сто-

лице исполнялось на сцене Интимного театра «единственными в своем жанре танцовщиками Оль-Оль и Жоржем Энрико». Некоторое время назад эта работа вызывала у автора статьи сомнения относительно принадлежности ее руке Мамонтова. Дело в том, что в синей тетради, куда музейными сотрудниками Западно-Сибирского краевого музея в 1935 г. была занесена опись коллекции А. С. Сорокина, эта работа приписывалась Георгию Белоуско — театральному художнику и омскому приятелю Мамонтова. Сомнения развеялись после внимательного изучения двух рисунков художника. На обороте листа с эскизами театральных костюмов из коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея (ОГИКМ) имеется беглый набросок танцующей пары. Фигура сидящего справа музыканта в композиции «Танец» в точности повторяет позу, одежду и ботинки на высоком каблуке музицирующего Владимира Тронева [4].

Н. Мамонтов.
Сад «Аквариум».
1919. ООММИ



Многие наброски, зарисовки и композиции выполнены Мамонтовым летом в популярном увеселительном заведении Омска — саду «Аквариум». Обеспеченные жители города, искавшие приятного и веселого досуга, с открытием сезона заполнили прогулочные аллеи и столики «Аквариума». Ежедневно здесь проходили гуляния по разнообразной программе. По воскресеньям и праздничным дням — оркестры военной музыки. На летней сцене давали представления опереточные артисты и артистки, каскадные певички, рассказчики, куплетисты, комические певцы и т. д.

Вероятно, Мамонтов часто посещал сад, занося свои впечатления в небольшой блокнот. На трех небольших листах, хранящихся в Омском областном музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля (ООММИ), худож-

ник набросал тушью фигуры беседующих, прогуливающих горожан, словно иллюстрируя слова очевидца: «Нарядная гуляющая публика заполняла тенистые аллеи, а дамы демонстрировали перед своими кавалерами платья и шляпки» [5].

Среди анонимных жанровых зарисовок пастелью на темно-серой бумаге, хранящихся в ОГИКМ, две — «За столиком» и «Сад «Аквариум»» — могли быть исполнены Мамонтовым. В них та же тема отдыха горожан в летнем саду. Обе зарисовки имеют мягкий характер линий, фигуры обведены черным мелком. В остальных анонимных пастелях подобные приемы отсутствуют. Благодаря реставрационным мероприятиям по раздублированию зарисовки «За столиком» удалось рассмотреть ее оборотную сторону, где легкими прихотливыми лини-

ями карандаша в сочетании с параллельной штриховкой намечен сложно ритмизованный пейзажный мотив в духе Мамонтова. Почерк надписи на лицевой стороне листа «Сад «Аквариум»» идентичен почерку Мамонтова.

К рассматриваемому кругу произведений можно отнести и небольшую сюжетную композицию, выполненную гуашью, с условным названием «Ночной город» (ОГИКМ). Влюбленная пара, сидящая на садовой скамье под ярким фонарем, заинтригованно смотрит в сторону моста, где на фоне ночного неба и сверкающих на воде огней города различим силуэт патрульной машины, свет фар которой высвечивает в темноте встречный экипаж.

В саду «Аквариум» выполнены два листа с набросками театральных костюмов. На одном из них изображены тушью четыре мужские фигуры (ОГИКМ), две нижние — в фас и со спины — облачены в сюртуки по моде 1820-х гг. Помета «Ленский» указывает на их принадлежность к опере «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. На обороте листа с изображением музицирующего Тронева также имеются наброски театральных костюмов: легкими касаниями карандаша художник изображает одного во фраке, другого — в уже знакомом нам сюртуке. Эти наброски имеют рабочие пометы, касающиеся костюма, прически, аксессуаров, что характерно для театрального художника. Документальных свидетельств о работе Мамонтова в театре нет. Но вот что важно отметить: омские театры в это время испытывали сильную нужду в костюмах и декорациях. Гастролировавшие труппы привозили, как правило, свой реквизит. Только театр Коммерческого клуба имел своего художника — П. Е. Белова, всегда стильно оформлявшего постановки. Остальные театры



Н. Мамонтов. Набросок головы актера в гриме. 1919. ОГИКМ

(прежде всего летние) вынуждены были заимствовать костюмы и декорации из разных спектаклей. Поэтому объявление, сделанное дирекцией Я. С. Гальского о наличии у труппы летнего театра сада «Аквариум» в новом сезоне собственных костюмов, бутафории и новых декораций [6], позволяет выдвинуть версию об участии Мамонтова в этой работе.

На близость художника к омской театральной среде указывают два миниатюрных наброска головы актеров, выполненных в театре (ОГИКМ). Их грим и тюрбаны отсылают к пьесе с восточным колоритом. Быть может, перед нами Ваяй-паша и Мурза — персонажи популярной в те годы оперетты В. П. Валентинова «Тайны гарема»? В рецензии на спектакль отмечались «тщательная и красивая постановка» и исполнители главных партий — Гальский, «очень музыкально и красиво проведший партию Мурзы», и г-н Васильчиков, который, «как говорят в артистической среде, “ударил по гриму” и был очень хорош» [7].

Мамонтов был знаком и с музыкантами, выступавшими на открытой сцене



Н. Мамонтов. Наброски музыкантов. А. Судаков. Васька. 1919. ОГИКМ

сада «Аквариум». Их графические изображения он попарно разместил на четырех листах бумаги приблизительно одного размера и качества. На некоторых из них указаны фамилии (И. Лагунов, А. Судаков, Воронов). О том, что это музыканты духового оркестра, свидетельствуют надписи, характеризующие тембр их инструментов: тенорист, альтист, кларнетист. Надпись под одним наброском —

«каптенармус» (заведующий ротным хозяйством) — говорит о военном статусе оркестра. Среди рисунков есть также изображение коротко остриженного, широкоскулого Васьки. В оркестры казачьих войск допускались подростки 14—15 лет, поэтому можно с уверенностью говорить о том, что Мамонтов изобразил музыкантов духового оркестра Сибирского казачьего войска.



Н. Мамонтов. Наброски музыкантов. И. Лагунов. Кларнетист. 1919. ООМИИ



Н. Мамонтов.
Портрет А. Сорокина без очков.
1919. ООММИ

Одного из музыкантов — тенориста — художник нарисовал дважды. Он единственный, кто изображен с музыкальным инструментом в руках. При сравнении этого наброска с «Портретом Антона Сорокина без очков» неизвестного автора бросается в глаза целый ряд общих признаков: характер штриховки, моделирующей профиль лица, короткий штрих, подчеркивающий мочку уха, аналогичная обводка контура усов и бровей. Почерк надписи «Антон Сорокин без очков» идентичен почерку Мамонтова. Этот портрет подтверждает факт знакомства художника и писателя в 1919 г.

В композиции, известной по публикациям как «Ночное кафе» (ОГИКМ) [8], Мамонтов в мельчайших подробностях показал, как развлекалось высшее общество белой столицы. После спектакля глубокой ночью респектабельная публика перетекла в фешенебельный ресторан «Аквариум», к ним присоединились не успевшие переодеться актеры летнего театра. Во всем царит атмосфера беззаботного веселья. На сцене рядом с девушкой самозабвенно отплясывает негр-денди. Фигура официанта с выправкой во фраке говорит о высоком статусе заведения. Его вниманием завладел вошедший в ресторан важный чиновник с супругой. Поддавшись шумному веселью, дама делает мах ногой с подскоком, пытаясь повторить вслед за танцовщицей трюк с юбкой. Взлетевший подол платья обнажил стройные ножки и нижнюю юбку из французского батиста. Мамонтов наблюдателен и ироничен, от его пристального взгляда не ускользает ни одна

деталь: от изысканных дамских нарядов и театральных костюмов до шампанского в ведерке со льдом, тропических растений и оранжево-желтых китайских фонариков. Картина Мамонтова — яркая иллюстрация к воспоминаниям антрепренера И. М. Камского: «Кто хоть раз после двенадцати ночи был в омских ресторанах и погребках, тот надолго сохранит в памяти лица, положения и общую картину виденного. В общем, рестораны были средоточием всей жизни и деятельности Омска» [9].

В марте Мамонтов написал яркую лубочную картину «Электрик», возникшую



Н. Мамонтов.
Владимир Троинов.
Набросок.
1919. ООММИ



Н. Мамонтов.
Игорь Славников.
Набросок.
1919. ООММИ

не без влияния примитива и кубофутуризма. Образ бравого казака на фоне разомкнутого пространства мещанского домика с геранью на окне, граммофоном, комодом уникален для его творчества. Картина стала своего рода откликом на знакомство Мамонтова с искусством и личностью Давида Бурлюка, в марте 1919 г. посетившего Омск во время своего сибирского турне.

В студии А. Н. Клементьева, куда Мамонтов пришел после мобилизации из армии, он сблизился с Владимиром Троновым, Виктором Уфимцевым и Борисом Шабль-Табулевичем. Во время совместных походов на пленэр в загородную рощу им выполнены три живописных этюда (все — в коллекции ОГИКМ). Два из них воспроизводят участок рощи с водоемом, обнесенным дощатым забором. Мотив один, взят почти с одной точки, но в разное время года — летом и осенью. По этим пейзажам заметно, как тяготился Мамонтов учебными заданиями.

Неоднократно художник изображал своих друзей-сверстников — Владимира Тронова и поэта Игоря Славнина. Осенью настроение в его работах резко меняется. В лицах портретируемых им людей читаются чувства усталости, растерянности, подавленности, безысходности. Мамонтов по памяти сделал наброски с антрепренера и актера П. П. Медведева и В. М. Римского-Корсакова — брата генерала колчаковской армии Е. М. Римского-Корсакова, взятого в плен в Омске 14 ноября. К этому времени следует отнести и че-



Н. Мамонтов. П. П. Медведев. По впечатлению.
1919. ООМИИ

тыре графических женских портрета, выполненных на качественной бумаге и композиционно близких друг другу. Это образы двух неизвестных молодых женщин с повязанными вокруг головы шарфами, матери художника и, вероятно, его знакомой — мадам Зильберт.

В ходе исследовательской работы омских специалистов выявлено свыше сорока графических и живописных произведений Мамонтова, созданных в белом Омске. Наряду с письменными свидетельствами, оставленными современниками, они являются бесценными источниками, хранящими зримые образы канувшей эпохи.

Примечания

1. Цит. по: Новиков С. В. На изломе вечности: Отзыв на рукопись книги А. А. Штырбула «Дожить до сентября: Судьба поэта Юрия Сопова» / Гражданская война на востоке России: объективный взгляд сквозь документальное наследие. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Омск, 12–13 ноября 2014 года). — Омск, 2015. С. 99.
2. Камский. Сибирское действо. — Петроград, 1922. Путевые наброски, относящиеся к жизни Сибири в 1919 году. URL: http://it-acad.univer.omsk.su/omskarchive/section5_3.html (дата обращения: 04.08.2017).
3. Город без театра // Наша заря. 1919. № 119. 6 июня.
4. См.: Богомолова Л. Художник Владимир Тронов // Сибирские огни. 2017. № 10. С. 183.
5. Цит. по: Лосунов А. М. Г. К. Чукреев и его воспоминания о Первой мировой войне и белом Омске / Гражданская война на востоке России: объективный взгляд сквозь документальное наследие. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Омск, 12–13 ноября 2014 года). — Омск, 2015. С. 89.
6. Заря. 1919. № 103. 17 мая.
7. Заря. 1919. № 128. 18 июля.
8. См.: Еременко Т. В. Коллекция «Худпрома» в собрании ОГИК музея / Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. № 10. — Омск, 2003. С. 90; Николай Мамонтов. Сны пилигрима. — М., 2008. С. 32.
9. Камский. Сибирское действо. — Петроград, 1922. Путевые наброски, относящиеся к жизни Сибири в 1919 году. URL: http://it-acad.univer.omsk.su/omskarchive/section5_3.html (дата обращения: 04.08.2017).



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 2017 ГОД

ПРОЗА

- Аржаникова Марина. Солистка. Рассказ. — 2.
Байбородин Анатолий. Песня журавлиная моя. Рассказ. — 4.
Башкуев Геннадий. Сложная пара. Рассказ. — 5.
Бердичевский Валентин. За креслами. Рассказ. — 6.
Бимаев Анатолий. Вор. Рассказ. — 7.
Бренников Николай. Дурак, или Люди лета 1920-го. Повесть. — 9.
Бронников Андрей. Голубок не улетит. Рассказ. — 2.
Бурлаченко Сергей. Дни рождения. Рассказы. — 4.
Бушуева Мария. Демон и Димон. Роман. — 10, 11, 12.
Волобуев Вадим. Свеча в ночи. Рассказ. — 10.
Гербер Денис. Шведский бог. Рассказ. — 9.
Горбачева Юлия. Мимолетности. Миниатюры. — 3.
Гребенников Алексей. Дух бобра. Рассказ. — 1.
Еселевич Владимир. Ворона. Рассказ. — 8.
Злобин Владимир. Гул. Роман. — 3, 4, 5.
Катерова Татьяна. Записки переводчицы, или Петербургская фантазия. Повесть. — 7, 8.
Кирилин Анатолий. Белая дверь. Повесть. — 1.
Копнинов Валерий. Старые песни о главном. Рассказ. — 10.
Косых Ирина. Все прощено. Рассказы. — 1.
Крюков Владимир. В дороге. Рассказы. — 8.
Куксинский Алексей. Юла. Рассказ. — 4.
Кулишкин Георгий. Томаськино счастье. Рассказ. — 7.
Куницын Владимир. У зеркала. Миниатюры и эссе. — 1.
Лобанова Елена. Миссис зрительских симпатий. Рассказ. — 11.
Максименко Виталий. Поймать ветер. Рассказ. — 1.
Михайлова Ирина. Подвиг. Рассказ. — 12.
Михеева Светлана. Открытое море. Повесть. — 12.
Некрасова Марина. Улица желтых фонарей. Рассказ. — 1.
Неклюдов Андрей. Всесильные советы Карнеги. Рассказ. — 2.
Никифоров Петр. «Мы, бывалоча, лавливали...» Рассказы. — 2.
Одинцов Алексей. «Я умру, но ты не бойся». Рассказ. — 6.
Поляков-Катин Дмитрий. Не закончится летний день. Рассказ. — 6.
Прашкевич Геннадий. Хромой пастух. Сендушная сказка. — 5.
Прокопов Евгений. Байки о новосибирских художниках. Миниатюры. — 5.
Прокопьев Сергей. Песня жизни бабушки Полин. Мини-повесть. — 12.
Проталин Борис. Дурак из сарая. Сибирские побасенки. — 7.
Разиня Данило. Путь Карлюты. Рассказ. — 11.
Рехтер Наталия. Жанка, Жанна, тетя Жанна. Рассказ. — 6.
Романов Андроник. Джекпот. Рассказ. — 8.
Рубина Мария. Золушка и Людмила Улицкая. — 5.
Сапрыкина Татьяна. Бог Ефимыч. Рассказ. — 1.
Селиверстов Александр. Кукла. Рассказ. — 6.
Скрудзь Татьяна. Мера привязанности. Рассказы. — 1.

- Смолёв Владимир. Кубайкино наследство. Рассказ. — 8.
 Федорищева Юлия. Сказка для крестника. Рассказ. — 7.
 Чурус Татьяна. Нездешний свет. Рассказы. — 2.
 Юркина Елена. Счастливчик. Рассказ. — 6.
 Юрченко Лада. Другой путь у меня. Рассказ. — 6.

ПОЭЗИЯ

- Аникина Ольга. Облепиховый свет. Стихи. — 4.
 Антонов Андрей. Веселья тихая страница. Стихи. — 5.
 Артюхов Евгений. Новый Иерусалим. Стихи. — 3.
 Ахпашева Наталья. На дне ночного неба. Стихи. — 5.
 Базилевский Михаил. «И этот слух, настроенный на шепот...» Стихи. — 1.
 Безрукова Елена. Внутренняя сторона снегопада. Стихи. — 6.
 Берязев Владимир. Путешествие сквозь пустыню. Стихи. — 4.
 «В структуре нот». Молодые поэты Новосибирска. Стихи. — 2.
 Грицман Андрей. Взгляд на иную жизнь. Стихи. — 11.
 Делаланд Надя. Смысл облаков. Стихи. — 5.
 Денисенко Александр. Колхозная лошадь Звезда. Стихи. — 8.
 Домрачев Василий. День ангела Светланы и Василия. Стихи. — 9.
 Домрачева Ольга. Чей-йа. Стихи. — 4. Лубочный сон. Стихи. — 9.
 Елагина Елена. Радио для глухонемых. Цикл стихотворений. — 12.
 Ерхов Евгений. «Вдоль огневого рубежа». Стихи. — 2.
 Захаров Владимир. «Петуния у монастырских стен...» Стихи. — 1.
 Злыгостева Татьяна. «Петуния у монастырских стен...» Стихи. — 1.
 Игнатъев Олег. «Под ширью голубою...» Стихи. — 2.
 Казарин Юрий. Зимняя вода. Стихи. — 9.
 Козлова Мария. От Яузы до Сходни. Стихи. — 10.
 Колесник Любовь. День энергетика. Стихи. — 11.
 Комаров Константин. «Страх в Астрахани и в Казани казни...» Стихи. — 6.
 Косогов Владимир. Расписание на утро. Стихи. — 4.
 Крюков Владимир. Луговая страна. Стихи. — 2.
 Кузницына Наталья. «Темная стихла река...» Стихи. — 11.
 Кулаков Сергей. Сорокоднев. Стихи. — 3.
 Куницын Игорь. Суп из яблочек. Стихи. — 12.
 Легеза Дмитрий. Доктор Франк. Стихи. — 5.
 Ливинский Станислав. Кукушка. Стихи. — 7.
 Лушников Андрей. О хлебе неземном. Стихи. — 7.
 Люблинская Лидия. Старый Петербург. Стихи. — 1.
 Маркович Яков. Бумажный кораблик. Стихи. — 9.
 Метельков Антон. «Сад металлостов». Стихи. — 8.
 Миллер Лариса. «Пока способны дни меняться...» Стихи. — 12.
 Муханов Игорь. «Там, где Ноев стучит молоток». Стихи. — 6.
 Нервин Валентин. Ангелы боли. Стихи. — 8.
 Пивоварова Юлия. День рыболова. Стихи. — 3.
 Полянина Ольга. «Черемуха в затопленном лесу...» Стихи. — 10.
 Родин Сергей. Дневное начало. Стихи. — 8.
 Руденко Александр. Краденые кони. Стихи. — 10.
 Рыпка Ирина. По ту сторону. Стихи. — 12.
 Рысенков Василий. Заповедник туманов. Стихи. — 1.
 Свирская Людмила. «До яблочной глуши...» Стихи. — 6.
 Трошкина Рита. О смысле бабочки. Стихи. — 7.

- Шевченко Ганна.** Вечерний город. Стихи. — 10.
Шереметева Майя. Барс в снежных яблоках. Стихи. — 7.
Шкуро Сергей. В ожидании снега. Стихи. — 3.

ДРАМАТУРГИЯ

- Богданова Елена.** Красная польня. Трагикомедия. — 6.
Кармалита Кристина. Обряд развенчания. Комедия в двух местах. — 10.
Сенчин Роман. Проект. Пьеса в шести картинах. — 2.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Макарова Нина.** Доверенное лицо. Из дневника редактора. — 4.
Рожков Виктор. Наследники Киприана. Повесть. — 7, 8, 9, 10, 11.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Заплавный Сергей.** Город на реке чистоводной. Историческое повествование. — 1, 2.
Кирилин Анатолий. Окнами на солнце. — 11.
Коньякова Татьяна. Очарованные Сибирью. Фильм «Вечный зов» в судьбе *Анатолия Иванова и Владлена Бирюкова.* — 12.
Котегова Валентина. Ради чего живем. Воспоминания первостроителя новосибирского Академгородка. — 1.
Красильникова Екатерина. Старо-Еврейское кладбище в Омске. Дневник некрополиста. — 10.
Куклин Сергей. Сибиряк в Сиаме. — 9.
Муратов Петр. Как это было. Три истории из недалекого прошлого. — 2.
Книга как путь в бизнес. Записки «интеллигента»-предпринимателя. — 8.
Науменко Виталий. Там, где я не был. — 2.
Никонов Вячеслав. «Люблю России честь...» Пушкинские уроки лидерства. — 5.
Распутин Валентин. Возвращение России. Интервью 1990 года. Беседовал *Анатолий Байбородин.* — 3.
Седых Владимир. Коммунизм в дебрях сибирской тайги. — 8.
Симонов Сергей, Капустин Вадим. Юрий Замятин, «сибирский метеор». — 3.
Ситнова Ангелина. Соболевы: незримая рука судьбы. — 6.
Тихонов Александр. Тара: навстречу истории. — 3.
Чернов Юрий. Суслиный луг. — 7.
Шапошников Александр. Записки старого театрала. — 12.
Якимова Людмила. Мемуары ученой дамы. — 4, 5, 6.

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Васильев Константин.** По стопам Робинзона Крузо, который не заметил в Сибири слона и пил воду, разбавленную водкой. — 4.
Горшенин Алексей. Воспевая и славя жизнь. К 100-летию со дня рождения *И. М. Лаврова.* — 8.

Гундарин Михаил. Игра в социальное. Опыт наблюдения за художественной и документальной прозой. — 12.

Махнанова Ирина. Лучившийся жизнью. Борис Пантелеймонов: дополняя образ. — 7.

Михеева Светлана. «Как некий местный лейтмотив...» О поэте Вячеславе Тюрине. — 10.

Папкина Елена. О «Мемуарах ученой дамы» Л. П. Якимовой. — 12.

Хлебников Михаил. «Буду жить и есть крошку». О дневниках А. К. Гладкова. — 3. Странные идеи доктора Югова. — 12.

Ярцев Владимир. Мой Плитченко. — 11.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Поздняков Борис. Две судьбы. — 3.

Федорищева Юлия. Новосибирская летопись Владимира Шамова. — 10.

Ярцев Владимир. «Я с каждым годом все ранимей...» — 9.

ИЗ ПОЧТЫ «СИБИРСКИХ ОГНЕЙ»

Кудряшев Сергей. Почему? — 12.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ «СИБИРСКИХ ОГНЕЙ»

Беляева Светлана. Художественные миры Якова Яковлева. — 7.

Богомолова Людмила. Архив «короля сибирских писателей». — 2. Николай Мамонтов в Барнауле. — 3. Образы белой столицы в творчестве Николая Мамонтова. — 12. Художник Владимир Тронов. — 10.

Голикова Светлана. Томск в графике Вадима Мизерова. — 1.

Муратов Павел. Монументалист Василий Кирьянов. — 5. Художник Лев Серков. — 11.

Сливцова Ирина. Акварельная родина Валерия Булатова. — 9.

Сокольская Татьяна. Дневник художника. — 4.

Тригалева Наталья. Тойво Ряннель. — 6.

Федорищева Юлия. Из наследия Первой Всесибирской выставки 1927 года. — 8.



АВТОРЫ НОМЕРА

Богомолова Людмила Константиновна родилась в 1961 г. в Омске. Окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Искусствовед, старший научный сотрудник Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. Член Союза художников России. Живет в Омске.

Бушуева Мария (Китаева) — прозаик, критик, автор нескольких книг, многочисленных публикаций в журналах и сетевой периодике. Окончила Высшие литературные курсы и аспирантуру Литературного института им. Горького. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Гундарин Михаил Вячеславович родился в 1968 г. Окончил факультет журналистики МГУ. С 1991 г. преподает в вузе, кандидат философских наук, доцент. Автор нескольких книг стихов и прозы, критических статей. Член Союза российских писателей. В «Сибирских огнях» публикуется впервые. Живет в Барнауле.

Елагина Елена родилась в 1947 г. в Ленинграде. Литературный и арт-критик, теле- и радиожурналист. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Зарубежные записки», «Звезда», «Знамя», «Нева», «Новый мир», «Сибирские огни» и многих других. Автор восьми поэтических книг. Стихи переводились на многие европейские языки. Лауреат поэтической премии им. Ахматовой, а также премий журналов «Звезда» и «Нева». Живет в Санкт-Петербурге.

Коньякова Татьяна родилась в Новосибирске. Окончила филологический факультет Томского государственного университета. Более 20 лет проработала в газете «Вечерний Новосибирск». Очерки печатались в альманахах, журналах и коллективных сборниках. Автор (в соавторстве) документальных книг «Такая короткая долгая жизнь» и «Грани многогранника». Живет в Новосибирске.

Кудряшев Сергей родился в 1982 г. в г. Искитиме Новосибирской области. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Работает преподавателем русского языка и литературы. В «Сибирских огнях» публикуется впервые. Живет в Искитиме.

Кунцын Игорь Николаевич родился в 1976 г. в Печоре. Окончил Архангельскую государственную медицинскую академию, учился в Литературном институте им. Горького. Публиковался в журналах «День и ночь», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Крепцатик» и др. Автор книг «Некалендарная зима» (2008), «Портсигар» (2016). Живет в Домодедове.

Миллер Лариса Емельяновна родилась в 1940 г. в Москве. Окончила Минский государственный педагогический институт иностранных языков, работала преподавателем английского языка. Автор многих книг стихов и прозы. Стихи переводились на английский, голландский,

норвежский, шведский языки. Член СП СССР (с 1979 г.), Русского ПЕН-центра (с 1992 г.). Участник объединения духовных поэтов «Имени Твоему» (с 1988 г.). Живет в Москве.

Михайлова Ирина Евгеньевна родилась в 1986 г. в Люберцах. Окончила Литературный институт им. Горького. Публиковалась в журналах «Пролог», «Кольцо А», «Зеленый бульвар» и др. Член Союза писателей Москвы. Работает школьным учителем русского языка и литературы. Живет в Москве.

Михеева Светлана Анатольевна родилась в 1975 г. в Иркутске. Окончила Литературный институт им. Горького. Поэт, прозаик, эссеист. Автор нескольких книг прозы и стихов. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Волга», «Сибирские огни», «Юность» и др. Участник ряда литературных фестивалей. Член Союза российских писателей. Живет в Иркутске.

Папкова Елена Алексеевна — старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, кандидат филологических наук. Сфера научных интересов: русская литература 1920-х гг. Автор более 40 печатных работ. Публиковалась в журналах «Вопросы литературы», «Сибирские огни» и др. Живет в Москве.

Прокопьев Сергей Николаевич родился в 1952 г. в г. Куйбышевка-Восточная (ныне Белогорск) Амурской области. Окончил Казанский авиационный институт. Работал инженером в КБ ПО «Полет», главным редактором многотиражной газеты. Автор 18 книг прозы. Публиковался в журналах «Москва», «Сибирские огни», «Литературный Омск» и др. Член Союза писателей России. Живет в Омске.

Рыпка (Плотицына) Ирина Алексеевна родилась в 1981 г. в Нижнеудинске. По образованию медицинская сестра. Печаталась в журналах «Новая реальность», «Буквица», «Белый ворон», «Этажи», в альманахе «Иркутское время». Живет в Нижнеудинске.

Хлебников Михаил Владимирович родился в 1974 г. Кандидат философских наук. Автор книг «Теория заговора. Опыт социокультурного исследования» (2012) и «Теория заговора. Историко-философский очерк» (2014). Живет в Новосибирске.

Шапошников Александр Арсеньевич родился в 1948 г. в Новосибирске. Доктор экономических наук, профессор Новосибирского государственного университета экономики и управления. Автор более 200 научных работ и монографий, а также художественно-документальных книг «Собрание пестрых глав» и «Разрешите вам напомнить о себе». Живет в Новосибирске.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области
Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 20.11.2017 г. Дата выхода № 12 за 2017 г. в свет 22.12.2017 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.